ВЛАДИМИР КРАСИЛЬЩИКОВ

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

ВЛАДИМИР КРАСИЛЬЩИКОВ

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Повесть о Серго Орджоникидзе

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1987

ББК 84Р7
К78

Герои романов и повестей Владимира Красильщикова «Один из них», «Дороге навстречу», «Это они зажигают свет», «Иначе нельзя», «Вечный огонь», «Всему голова», «Хлеб-соль» — современные рабочие.

В нескольких сборниках, выпущенных Политиздатом, публиковались рассказы В. Красильщикова о соратниках Ильича. Затем — в серии «Пламенные революционеры» — вышли повести «Интендант революции» об А. Д. Цюрупе и «В начале будущего» о Г. М. Кржижановском.

«Звездный час» — новая повесть писателя, посвященная Г. К. Орджоникидзе — Серго, как его называли родные и товарищи по партии, стахановцы и пионеры, маршалы и академики. Большое место в повести занимает образ В. И. Ленина. Писатель стремится показать становление Серго под воздействием Ильича, их дружбу и борьбу за партию, за революцию, за индустриализацию.

$К \frac{0505030103-120}{079(02)-87} 156-87$

РАЗУМ ГОВОРИТ — НЕЛЬЗЯ, СЕРДЦЕ ГОВОРИТ — НАДО

Тысяча девятьсот тридцать седьмой год. Февраль — семнадцатое. Двадцать три часа по московскому времени. Жить остается меньше суток.

Истекал рядовой рабочий день. Начался он по обыкновению не спозаранку — после одиннадцати, зато и не кончался еще до полуночи. Кроме деловых приемов и совещаний, сколько бумаг перелопатил! Телеграмма на завод имени Буденного: прекратить отставание в поставке паровозных пружин. Телеграммы Ижорскому заводу и заводу имени Ленина: обеспечить прокатку труб. Разрешение летчику Петрову обменять легковой «газик» на «эмку». Поздравление мастеру Надеждинского металлургического завода Малыгину: рад вашему успеху, привет! Отказ в просьбе Главоргхимпрома о деньгах на восстановление сгоревшего архива: если дубликаты сохранились, для чего тратить полтора миллиона? Доклад о капитальных работах по Главредмету. Приветствие строителям судовых двигателей: «Перед работниками Коломенского завода имени Куйбышева стоит важнейшая задача построить в этом году дизелей 188 тыс. л. с. безукоризненного качества и тем самым усилить обороноспособность...» Параллельно, вновь и вновь,— возвращение к тезисам доклада на пленуме ЦК, который предстоит послезавтра.

Серго расстегнул крючок и верхнюю пуговицу кителя, тяжело откинулся на спинку кресла. Он был бледен. И зная это, умея видеть себя со стороны, с иронией, что доступна лишь широким натурам, подумал: «Самочувствие в соответствии с английской шуткой: если вам за пятьдесят. вы проснулись и у вас ничто не болит, значит, вы умерли». Невесело усмехнулся. Нет, он не роптал, не жаловался, хотя трудно сказать. что́ у него не болело по утрам. Но врачи говорили, будто в последнее время ему лучше. И раз врачи говорят, так и быть по сему. Ну а если серьезно, чувствовал он себя в самом деле получше. Со времени последнего приступа грудной жабы прошло больше трех месяцев, и — тьфу, тьфу! — сердце вроде не давало знать о себе ноюще-колкой болью. Так что на вопросы товарищей о здоровье он с улыбкой, выдававшей затаенную надежду, отвечал: «Спасибо, дорогой! Некогда себя чувствовать». Однако сейчас он не мог избавиться от гнетущего чувства приближения беды. Бед и невзгод выпало ему немало: никогда не знал он матери — она умерла через шесть недель после его рождения. И до чего ж справедливо говорят мудрецы, что последствия смерти матери сказываются постепенно, как сиденье на камне,— всю жизнь... Потом — смерть отца, чужой дом, учеба на казенный счет по незавидной привилегии круглого сироты. Потом аресты, тюрьма бакинская, тюрьма батумская, тюрьма сухумская и кутаисская, ссылки его — кавказца! — в Сибирь, к полюсу холода, подполье, этапы, нелегальные переходы через границу, каторжная тюрьма Шлиссельбург — три года в ножных кандалах, казни товарищей, отступления и поражения на гражданской войне, недавняя трагическая гибель старшего, любимого брата.

Внушительно грузный, он легко оторвался от кресла, метнулся к окну, словно ему вдруг не хватило воздуха

и простора. Ни единого прохожего в проулке, куда обращены оба окна. Как всегда, молчалива и упрекающе строга старинная церковь, залитая светом слева, с площади Ногина. Косицы поземки. Студеная пронизывающая ночь. Ветер безошибочно находит лазейки в громадных оконных рамах, шелестит отклеившейся полоской бумаги. Там, за широкими зеркальными стеклами, страна и земля, народ и народы. Там, в мире, лежащем за инделым окном, кроме великого множества друзей и сотрудников у него немало врагов. Первый из них — Гитлер. Страна еще не воевала с Гитлером, а он, народный комиссар тяжелой промышленности, уже скрестил свою сталь с его, Гитлера, сталью в Испании. И сталь Гитлера оказалась лучше, крепче — одолевала нашу.

Гитлер... В своей программе-библии говорит:

— Мы, национал-социалисты, сознательно подводим черту под внешней политикой Германии довоенного времени. Мы начинаем там, где Германия кончила 600 лет назад... Мы кладем конец вечному движению германцев на юг и запад Европы и обращаем свой взгляд к землям на Востоке... Мы переходим к политике будущего — к политике территориального завоевания...

Представились улицы Берлина, давно любимые, вот так же заснеженные сейчас, ярко освещенные. Хотя нет — не ярко. По среднеевропейскому времени уже далеко после девяти вечера. И в чем, в чем, а в расточительности немцев не упрекнешь — не станут они вот так палить фонари, как мы, над пустой площадью. Электричества производим меньше, чем надо; а расходуем... Завтра же поставить вопрос бережливости предельно жестко. Погоди, завтра выходной. Ну так послезавтра! На пленуме!

Гитлер... Грозящая опасность вновь обратила к делам. Что сделано за минувший день? Что не удалось? Что главное на завтра? Конечно, сталь, особенно качествен-

ная — и на завтра, и на послезавтра, и на послепослезавтра. Сталь и еще раз и снова сталь — на будни и на праздники.

Молодцы твои «агенты», Серго: малость перехитрили Гитлера. Он засылает к нам разведчиков в войска, а мы у него на решающих производствах держали своих Тевосянов, Емельяновых, Ванниковых. Совсем недавно в этом кабинете Емельянов с радостной улыбкой докладывал, как выполнил очередное задание: выведать, что немецкие ученые считают правильнее строить — мартены или конвертеры. Рассказывал, как Рохлинг, матерый волк индустрии, знающий, какую овцу когда хватать, проболтался, что конечно же конвертеры. Не умолчал Емельянов и о том, что германские промышленники следят за нами так же, если не пристальнее, чем мы за ними. Рохлинг, например, отлично знает европейскую металлургию и прежде всего нашу. По поводу каждого из наших заводов делает такие замечания, что осведомленность его обескураживает. Естественно! Как же иначе? Немцы не теряют время даром, готовятся...

Вернулся к рабочему столу. Самолетные часы на нем показывали уже восемнадцатое февраля. Переложил страницу календаря, подвинул его на строго отведенное место. Сел. В пачке бумаг под рукой без труда отыскал сводку о выплавке металла за шестнадцатое. Да, можно — нужно залюбоваться этой сводкой. Отлично знал, что суточная выплавка стали опять выше пятидесяти тысяч тонн, но хотелось вновь и вновь увидеть эти выстраданные пятьдесят — хотя бы на бумаге.

Как хорошо, как здорово! Изо дня в день по пятьдесят. И как это мало для такой страны, для того, чтоб не бояться Гитлера!

Вошел Семушкин. Серго понимающе поднял взгляд:

— Устал? Выгоняешь?

— Зинаида Гавриловна второй раз уже звонит.

— Еду. Только... Набросай, пожалуйста, телеграмму Гнедину, пусть приедет и покажет свой новый краситель. Да! Вот еще: девятнадцатого на десять часов закажи пропуск профессору Гальперину — до пленума надо успеть доспорить о проблемах Кемерова. И еще. Не вздыхай так, пожалуйста. Последнее: напиши в Киев, директору завода «Большевик». Безобразие, понимаешь! Какое невнимание, неуважение к ветерану труда! Пусть помогут старому кадровому рабочему Гончарову и доложат мне, что сделали.

Обвел взглядом рабочий кабинет. Как хорошо в нем! Эти часы на столе, этот бюст Карла Маркса рядом и этот неохватный стол для приглашенных. Стулья с клеенчатыми подушками вдоль стены, книги в шкафу, карта Европы... Уходить не хочется. Сколько здесь прожито-пережито взлетов, падений, звездных часов?! Сколько бдений, одолений, свершений?! Когда, откуда начался твой, Серго, путь сюда? Из ильичевой школы в Лонжюмо? Или с Пражской конференции, организованной по его заданию? Или от бесед с ним в Разливе? От совместных дел в Октябре? А может, с той беды, что не забыть, не избыть,— с прощания, с клятвы доделать недоделанное им?..

И НА НЕТ СУД ЕСТЬ

Москва. Саратовский вокзал. Глухая ночь. Лишь два фонарика тускло теплятся в стылой мгле. Поземка по перрону. Пар, трескучий на морозе, вдоль короткого состава. Призывный — в путь, в путь — запах угольного дыма. Но век бы не пускаться в тот путь. В обледенелом, прошитом стужей вагоне томятся язычки свечей. Молчат товарищи. Стараются не глядеть друг на друга, больше в пол смотрят, будто никак не разглядят въевшиеся в него подсолнечную лузгу да махорочный пепел.

Прячут лица в поднятые воротники, в надвинутые, с опущенными наушниками, малахаи, в заиндевелые башлыки, а Серго — в туго застегнутую на клапаны, видавшую виды буденовку.

Понуро стучат колеса — понуро стучит сердце. Скоро, должно быть, рассвет, но небо кажется иссиня-черным — синее пустыни полей, чернее леса, чернее тебя самого.

Скрипят розвальни — по снегу, по снегам, в которых, кажется, тонет все живое, цепенеет вся земля. В горку, сквозь поле, сквозь лес. Кто-то изнемог, бухнулся в сено. Кто-то присел рядом на край саней. А Серго шагает и шагает, словно пробивает склоненной головой тьму. Впереди мигнул огонек, исчез в еловом лапнике, снова мерцает. На лесистом взгорье открывается усадьба. Остановились перед въездом. Неспешно, по-прежнему ни слова, прошли через флигелек во внутренний двор. За ним высится легкий и светлый средь лесной черноты дом с колоннами.

Остекленная дверь ведет в тепло, тишину, покой.

Сквозь эти вот схваченные морозом окна Ильич еще позавчера смотрел. В эту просторную комнату приходили к нему деревенские дети — стоит украшенная елка: свечи с восковыми слезинками. А в этом кресле, у этого пюпитра, на этой качалке старался выздороветь. Трудно представить его в кресле-коляске. И так не хотелось представлять. Не уберегли! Э-эх! Но как было его уберечь? Рвался вперед. Впереди всех. Врачи предупреждали. Да и сам лучше врачей знал, но работал по шестнадцать часов в сутки, работал...

Так хотел отдохнуть у нас на Кавказе! Все для него приготовили. Не смог оторваться от дел... Нет! Обязаны мы были его щадить. Непростительно взвалили ношу. А он... Кто-то из писателей сказал о нем, что он — единственный в Европе правитель, который по праву занимает свой пост. В чем секрет его? В бескорыстии?

В трудолюбии? В том, что жил половиной души в будущем?

Гениальность — тяжкий крест: ответственность, страдание от окружающего непонимания, от того, что видишь дальше и глубже других, а тебе не верят. И Ломоносов, и Ньютон, и Эйнштейн возбуждали недоверие. Но Ломоносов, Ньютон, Эйнштейн посвятили себя точным наукам, легко ли, трудно ли — можно проверить, а тут... Нужны жизни нескольких поколений... Еще в шестнадцатом никто из виднейших социалистов Европы не верил ему, когда он убеждал, что в России будет революция, а до революции оставалось меньше года. Нетрудно представить, как это мучило его. Не было горше муки и обиды, чем неверие друзей, да еще на чужбине. Помнится, Надежда Константиновна не раз говорила о том, что Ильич совсем не выносит неволи.

Рабочий кабинет в Кремле — кабинет ученого. Недаром так к месту пришлась подаренная Хаммером бронзовая обезьяна, задумавшаяся над человеческим черепом, сидя на книгах Дарвина. Сколько раз бывал ты, Серго, в том кабинете: и по делам войны, и по делам мира, и «так просто» — по делам души. Все встречи поражали, становились как бы ожидаемой неожиданностью. Вот! Видится. Не слишком уютно Председателю Совнаркома. На ногах валенки. Жалованье — три миллиона четыреста тысяч, всего на миллион больше, чем у рабочего. Трамвайный билет стоит двадцать пять тысяч рублей... Принимает просвещеннейших людей со всего света — без переводчика. Говорит по-английски, по-французски, по-итальянски, по-немецки, что, однако, не мешает ему писать в анкетах, будто этими языками владеет плохо. Как «плохо», диву даются на конгрессах Коминтерна: только что говорил с немцами на родном их языке, а уже толкует с французскими товарищами по-французски. Как всегда, под рукой словарь Даля — так ценит меткое, точ-

ное слово! А когда разволнуется, читает словарь военно-морских терминов. Пятьсот газет и журналов получал. Библиотека — восемь тысяч томов на девятнадцати языках — занимает не только специальную комнату, но и кабинет и квартиру. Почти в каждой книге белеют закладки. И все же книжником Ильича не назовешь: очень уж пристрастен интерес к людям, к действию.

Всегда вставал, если в комнату входила женщина. Матери целовал руку. Умел слушать и выслушивать. Любил шахматы. Любил, когда сестра на рояле Вагнера, Бетховена играла. Не терпел панибратства. При врожденной веселости и склонности к юмору, а вернее, благодаря им не принимал плоские анекдоты: «Пошло, глупо, грязно». Жил с высоким достоинством и превеликой скромностью. Перед возвращением из Швейцарии в Россию продали с Надеждой Константиновной все, что нажили, за двенадцать франков — шесть тогдашних рублей. Лампочка в кабинете — шестнадцать свечей, при ней думал, боролся, страдал и праздновал пять лет.

Всегда перед усопшим чувствуешь смутную вину, а тут вина была определенная. В двадцать первом, едва освободили Тифлис, Серго добился создания Кавказского бюро ЦК, возглавил его, посвятил себя тому, чтобы Азербайджан, Грузия, Армения, Дагестан, Горская Республика, Нахичевань стали советскими. Возродить нефтепромыслы и хлопководство! Финансы и торговлю! Создать систему ирригации и обводнения! Борьба с малярией! Электрификация!

— Никакая из Кавказских республик,— говорил Серго,— не могла бы справиться с теми огромными экономическими и политическими затруднениями, в которых они находятся, без помощи российского пролетариата, без помощи Российской социалистической республики.

Однако далеко не все в Кавбюро так думали и поступали. Националисты подрывали единство партийной

организации. Серго был беспощаден к ним. Но и они не оставались в долгу — организовали травлю. Ленин вступился:

— Решительно осуждаю брань против Орджоникидзе.

И раньше, на Десятом съезде партии, когда при выборах в ЦК делегаты Кавказа дали отвод, Ильич не колеблясь встал на защиту — и Серго был избран громадным большинством голосов.

Все так, но... Когда ты, Серго, избил одного из противников... Фу! Гадость какая! Вспоминать тошно. А что поделаешь? Было. Не стерпел провокации.

Понятно, националисты не преминули воспользоваться этим для усиления нападок на самого Орджоникидзе и на партию. И хотя Серго искренне признал недопустимость срыва, Ленин осудил его. Тяжело больной, продиктовал секретарям:

— Если дело дошло до того, что Орджоникидзе мог зарваться до применения физического насилия... то можно себе представить, в какое болото мы слетели...

Орджоникидзе был властью по отношению ко всем остальным гражданам на Кавказе. Орджоникидзе не имел права на ту раздражаемость, на которую он и Дзержинский ссылались. Орджоникидзе, напротив, обязан был вести себя с той выдержкой, с какой не обязан вести себя ни один обыкновенный гражданин...

Нужно примерно наказать тов. Орджоникидзе (говорю это с тем большим сожалением, что лично принадлежу к числу его друзей...).

«Принадлежу к числу его друзей...» Чем сильнее любил Ильич, тем труднее и опаснее задания давал, тем строже спрашивал, тем с большей силой восставал на неправду — неправоту...

Крута, ох, крута лестница в Горках! Серго лишь теперь почувствовал, как закоченел на четырех верстах от станции, как болит поясница... Отчего товарищи под-

нимаются так шумно? Тише! Нельзя здесь шуметь сейчас.

Надежда Константиновна сидит на диване в полутемной проходной — у раскрытых дверей его комнаты. Почему-то именно теперь приходит в голову, что только за годы эмиграции написала она тысячи нелегальных писем — и тебе, Серго, не одно в том числе. Жена. Единомышленник. Товарищ... Непривычно жестко, резко лицо, что называется закаменело. Запали глаза. Скулы будто свело. Но... просто, деликатно отвечает сжимающему ей руки Серго:

— В последние дни жизни смотрел киноленту о производстве тракторов на заводах Форда. То и дело просил замедлить показ — так жадно вглядывался!

«О производстве тракторов... Так жадно вглядывался...»

Тут же представилось: вот усаживается Ильич в той комнате внизу, которую только что миновали... Небольшой экран на стене освещается. На нем электрические машины поднимают ковши с огнедышащей сталью, переносят громоздкие отливки к молотам, ковочным прессам, станкам, подают готовые части к конвейеру. Рослые, не изведавшие голода и войны рабочие собирают тракторы. На глазах сотворяется чудо рождения чудо-машины. Рамы обрастают моторами, колесами, оживают. Дыхнув клубами дыма, готовые тракторы выкатывают из цеха.

«Пожалуйста, Иван Николаевич,— говорит киномеханику,— помедленнее... Нельзя ли замедлить показ?» — Вглядывается Ильич. Вглядывается. Завидует. Надеется. Верит: мы сделаем лучше...

Когда часть заканчивается, Ленин просит: «Иван Николаевич, не в службу, а в дружбу, еще разок — на бис, так сказать».

И вновь перед ним рождаются тракторы, тракторы... И видит — видит наши тракторы с нашими плугами на

наших полях. Из России нэповской будет Россия социалистическая. Невозможное могут только люди...

До последнего вздоха держал в голове весь мир, о благе Отечества пекся. Страдал от его убожества и невежества. Терзался его бедами и бедностью. Обдумывал, как помочь:

— *Разрыв* (пропасть) между необъятностью задач и нищетой материальной и нищетой культурной. Засыпать эту пропасть... Чего не хватает? Культурности, *уменья управлять...* Три великие вещи сделаны и завоеваны неотъемлемо. Четвертая и главная: **фундамент социалистической экономики?** *Нет еще.* Переделывать многажды, доделаем... Не злоупотреблять декретами... переорганизациями... Скромная работа культурная, культурно-хозяйственная. **Проверка исполнения!!!**

Скорбно, но свободно дышит Серго в его комнате: ни кликушества вокруг, ни показного отчаяния. Лишь трагическая простота непоправимости. Оттого, верно, здесь так величественна сразу ощутимая тишина. Оттого стиснуты губы всех приходящих сюда.

Как живой! Совсем не изменился. Только лицо непривычно спокойно. Разве это не бессмыслица говорить «умер» о бессмертном, о том, кто при жизни стал легендой, опровергнув истину «пока человек не умрет, его дéла не видно»?

Бывал Серго на пышных похоронах еще мальчишкой. Часто за катафалками несли на подушечках ордена, а тут... Нет у Ленина орденов. У тебя-то вот есть орден Красного Знамени... А что, если?.. Дотронулся до своего ордена, невольно погладил. Но ведь Горбунов прикрепил собственный орден на груди Ильича. Стоп! Это повыше всех орденов будет... Конечно!— Ильич больше любого причастен к тому, что родился Союз республик...

Снял, прикрепил Ленину свой значок члена ЦИК СССР.

Уже рассвело. Красный гроб, чуть покачиваясь, проплывает над лестницей. Слышно, как стонет ветер за окнами. Вынесли — без оркестров, без пения. Опустили на утоптанный снег. Кажутся особенно неуместными, язычески нелепыми воинские почести, профессиональное усердие фотографов и кинооператоров. Закрыть бы стеклянную крышку, а то снежинки падают на его лоб, на глаза — падают и не тают.

Плачут красноармейцы, крестьяне. Надежда Константиновна и Мария Ильинична. Здесь Сталин и Троцкий, Калинин и Каменев, Дзержинский и Зиновьев, Бонч-Бруевич, Луначарский, Рыков, Томский, Фрунзе, Шляпников, Кржижановский, Бухарин, Молотов, Литвинов, Цюрупа, Ракоши, Орджоникидзе. Многих непримиримо, грозно разведет судьба. По-разному исполнят они завещанное Лениным, иные предадут его дело, иные, фарисействуя, прикроют его именем наготу собственного отступничества, иные восстанут друг на друга, брат на брата, но сейчас... Горькие слезы чисты...

Теснясь, нестройно двинулись по аллее, которая вдруг стала узка. Напирают, сдавливают толпы народу. Неудобно нести, тяжело — до чего ж тяжело! Но вот и простор дороги через поле. Снег — докуда хватит глаз. Опережая скорбную колонну, скользят розвальни: крестьянин сбрасывает еловый лапник — мягчит путь Ильичу.

За красным гробом черная лента вьется по белому полю от леса до станции. Кругом на холмах мужики, бабы, ребятишки, переставшие озоровать. Старики подпирают бороды длинными посохами:

— Окромя хорошего, ничего от его не видали.

Мороз. Пусть мороз! Пусть ветер! Пусть светопреставление — Серго с непокрытой головой. Несет Ленина — и мысль о том, что на этаком морозе не грех бы и покрыть голову, не приходит ему. Вся жизнь — с Ле-

нным, по Ленину... И всей оставшейся не хватит, чтобы выполнить загаданное им, доделать недоделанное.

— Серго, милый! Изведешь ты себя. Дать лекарство?

— Спи, Зинуля. Ничего.

— Какое там ничего! Опять про каучук думаешь?

При слове «каучук» он вздрагивает, будто его ударили. Поворачивается на другой бок, делает вид, что старается заснуть. Да где уж?..

Ильич предупреждал, что без тяжелой промышленности, без ее восстановления мы не сможем построить никакой промышленности, а без нее вообще погибнем как самостоятельная страна. Мечтал о ста тысячах тракторов. Но попробуйте строить тракторы, автомобили, аэропланы без каучука. Без шарикоподшипников, которых тоже нет! Без качественных сталей, совершенных станков, алюминия!.. По плану ГОЭЛРО хотим удвоить довоенное производство, но пока это лишь далекая цель, мечта. Об Урало-Кузбассе, Волго-Доне, металлургических заводах Курской аномалии, тоже загаданных при Ильиче, пока только мечтаем... А ты-то на что? Языком мастер, а делом левша? Ох, поясница!.. Только не поддаваться болезни. Работа — лучшее лекарство, и злость в работе — доброе начало. Если ты прав — ты и силен, будь слугой совести и хозяином воли.

— Знаешь,— говорит он,— мы решили так увеличить добычу золота, чтобы купить побольше нового оборудования. Посылаем Серебровского в Америку. Пусть посмотрит, подучится. Золотая промышленность у нас в совершенно неорганизованном состоянии. Вот бы Александр Павлович поднял, как он уже поднял Азнефть.

— Целая эпоха нашей с тобой жизни — в Баку. Как он? Здоров?

— Да прихварывает, видно. Но не жалуется. В том же, только перелицованном пиджаке, застегивает на дамскую сторону. Наш нефтяной король, можно сказать, а теперь еще и золотоносный...

— Все вы одинаковые: лишь бы работать, работать.

— Знала, за кого шла. Цюрупа вон в разгар голода миллионами пудов ворочал — и падал от недоедания в обмороки. Тяжко, Зинуля!

Да, как никогда, было тяжко. В двадцать пятом, сразу после смерти Ленина, Четырнадцатый съезд партии решил держать курс на индустриализацию. В двадцать шестом — Серго избран кандидатом в члены Политбюро, утвержден председателем Центральной Контрольной Комиссии партии, назначен народным комиссаром Рабоче-крестьянской инспекции, заместителем председателя Совнаркома, Совета Труда и Обороны.

— Несомненно, что Рабкрин представляет для нас громадную трудность...

Нам надо во что бы то ни стало поставить себе задачей для обновления нашего госаппарата: во-первых — учиться, во-вторых — учиться и в-третьих — учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом...

Только тогда мы в состоянии будем пересесть, выражаясь фигурально, с одной лошади на другую, именно, с лошади крестьянской, мужицкой, обнищалой, с лошади экономий, рассчитанных на разоренную крестьянскую страну,— на лошадь, которую ищет и не может не искать для себя пролетариат, на лошадь крупной машинной индустрии, электрификации, Волховстроя...— так мечтал Ильич.

Так мечтает Серго. Не раз перечитывает последние ленинские строки, точно с живым Ильичем советуется.

— Ваше главное достоинство?
— Гордость.
— Ваша главная слабость?
— Гордость.— И все-таки он не может скрыть гордости от того, что доверена ему работа, какую Ильич поставил наиважнейшей, наинужнейшей. Гордится и радуется, а больше того страшится: вдруг не свезу?..

Не унимаются, наглеют оппозиционеры. Устраивают нелегальные собрания, демонстрацию против ЦК и Советской власти в Ленинграде. Их тайная типография выпускает листовки. Вызванный в Центральную Контрольную Комиссию Каменев заявляет, что у него нет к ней ни малейшего доверия. В письме на имя Серго Троцкий предупреждает, что в случае интервенции и приближения вражеских войск к Москве оппозиция будет добиваться свержения существующей власти...

Трудно. Бюрократизм, хаос, ляпанье — три наистрашнейшие зла. Равнодушие, наплевательство, халатность. Казнокрадство, взяточничество, вредительство. Кому, как не председателю Центральной Контрольной Комиссии — наркому Рабоче-крестьянской инспекции, встать стеной? И он встает. И ненависть придает силы. И любовь окрыляет. Но нужно еще знание, умение. Учась, он работает — работая, учится. Недруги издеваются:

— Торжество материализма упразднило материю — штанов нет.

К сожалению, да. Древние полагали, будто мир держится на трех китах. Три кита истинной жизни — хлеб, металл, энергия. Только они могут одолеть нищету, голод, страх. Но не хватает хлеба для энергии и металла. Не хватает металла для энергии и хлеба. Не хватает энергии для металла и хлеба. Как разорвать заколдованный

круг — вырваться из убожества крестьянских хозяйств, где соха и лукошко — не лубочные символы, нет, основные орудия производства? На том же уровне техника добычи угля и нефти, металлургия, машиностроение... А вот про это уж лучше не вспоминать! Но он вспоминает, едва просыпаясь среди ночи: в стране, раскинувшейся на полсвета, нет станкостроения, автомобильной, тракторной, химической промышленности, авиационной!.. Как сердце щемит! Ну и пусть щемит. Сдохнуть лучше, чем знать все это. Ох! Никогда не перестает болеть поясница — Шлиссельбург не дает себя забыть, сырые казематы, невские туманы, ладожские метели. Обидно. И жаль себя... Нечего прислушиваться к болячкам. Нечего роптать. Разве можно теперь что-то исправить? Слава богу, руки, ноги на месте.

Работа, работа: по утрам, с утра до вечера, по вечерам до ночи. А ведь Серго болен. И товарищи тревожатся за него. Анастас Иванович Микоян пишет ему:

— Тебе надо раз и навсегда отремонтировать свое здоровье — много сил от тебя потребуется и в дальнейшем. Нас пугают, что твое здоровье не позволит быть на съезде. Прямо я не представляю, как обойдемся без тебя.

Но Серго, превозмогая недуги, участвует в съезде партии: выступает с обширным докладом о работе Центральной Контрольной Комиссии и Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции, опровергает доводы тех, кто не верит или не хочет верить в возможность построить в стране социализм, а то и мешает строительству. Претит ему всякая пошлость, и тем более политическая. Несовместимы Серго и склока, столь свойственная скандальным выпадам оппозиционеров. Они убеждены: ни уломать, ни запугать Серго не удастся. Имя его произносят с ненавистью. Что ж, Ильич повторял: мы слышим звуки одобренья не в сладком ропоте хвалы... Кого бранят сто человек, тот стоит ста человек.

Пятнадцатый съезд партии в декабре двадцать седьмого решает приступить к разработке пятилетнего плана.

Если до этого дел у Серго было «по горло», то теперь «выше головы». И не только надо, но и хочется — так хочется! — работать. Что, если в Германии к власти придут фашисты?.. Но ведь еще па старинных немецких монетах чеканили с одной стороны «мир кормит», с другой — «раздор разоряет», еще старая немецкая пословица гласит: кто торгует, тот не стреляет. И Бисмарк, которого немцы почтительно величают железным канцлером, завещал им никогда не воевать с Россией. Говорил, как медленно русский мужик запрягает знаменитую тройку. Но не обольщайтесь! Когда он садится на козлы, то преображается, и никто его догнать не может. Бисмарк предупреждал: «Не гневите русских, добивайтесь того, чтобы иметь Россию дружественной или по крайней мере нейтральной». Все так, разум должен возобладать. А если нет? Нельзя оказаться неготовым к войне. Страшнее других та опасность, которую не предусмотрели, с которой не боролись. Никто за нас не построит индустрию, никто не подарит нам современный флот, авиацию, танки. Лучше пролить пот, чем слезы.

Надо, надо... Откуда силы берутся? Железное здоровье? В письме Ярославскому, близкому другу еще по якутской ссылке, Серго пишет:

— Дорогой, милый Емельян! Все перепуталось: у меня все время болела правая почка, а врачи утверждают, что правая здоровая, а левая больная. Вот дай им вырезать левую, а правая будет продолжать болеть. Ну, к чертям всех их, лучше оставить все как есть. Будем надеяться на свой организм.

Однако организм подкачал: беда, как на Кавказе говорят, между бровью и глазом — левая почка поражена туберкулезом, надо ее удалять, иначе захватит и правую, и тогда...

В сопровождении заведующего отделением Серго идет по больничному коридору. Все тот же защитного цвета китель, в котором ходил на работу, на празднества, те же мягкие сапоги до колен, так же набит портфель, будто и не на операцию снарядился. Желтовато, слишком желтовато лицо, не раскрасил и февральский морозец. Полноват, вернее, одутловат. Шевелюра обрита. Усы будто сникли, даже кончики не загибаются. Только орлиный нос по-прежнему величественно горделив, да крупные глаза не меркнут — ни боли в них, ни переутомления. Настороженно ступает. Не так страшно на войне было. Расписывают ужасы контрразведки. Пустяки по сравнению с буднями любой больницы. Так надеялся не попасть сюда! И вместе с тем — до чего ж хитро сплетен человек! — словно жжет интерес к Федорову Великолепному, словно не терпится свидеться с ним на операционном столе...

Минувшим летом Серго отдыхал в Гаграх. Среди главных достопримечательностей там слыл Сергей Петрович Федоров, бывший лейб-хирург, друг и советчик царя, ныне заслуженный деятель науки. В двадцать первом был обвинен в контрреволюционной деятельности и арестован — отстояли благодарные пациенты и ученики, прежде всех Максимович. По обыкновению Федоров отдыхал на своей черноморской вилле. Поскольку отдыхать в собственном смысле он не умел, то почти каждый день оперировал в местной больнице. О Федорове Серго был наслышан еще с тифлисской фельдшерской школы, где преподавали все, что касалось почек, по Федорову. Он почитался отцом отечественной хирургической урологии, разработал оригинальную методику и технику операций, создал инструменты, помогавшие исследовать каждую почку в отдельности, признанные теперь во всем мире. Главный труд Федорова — без малого в тысячу страниц — «Хирургия почек и мочеточников» — Серго прочи-

тал, надеясь найти поддержку и избежать операции. Увы, не нашел — напротив, лишний раз убедился в опасности болезни.

Светила хирургии со всего света приезжают посмотреть, как Федоров делает операции. Патриарх европейских медиков Каспер признался: «Я был учителем профессора Федорова — я стал его учеником». В Гаграх Федоров внимательнейшим образом исследовал Серго. С откровенностью и прямотой, которые считал обязательными в отношениях с больными, объявил: «Ни курорты, ни лекарства не помогут».— «Это приговор?» — спросил Серго.— «Надежда на помилование. Да, очень опасно. Да, очень рискованно. Но чем скорей оперировать, тем лучше».

В Москве вновь делали исследования, и результаты были разноречивы. Федоров настоял, чтобы Серго исследовали у Каспера. В берлинской клинике подтвердилось: левая почка поражена палочками Коха. И все же крупнейшие московские профессора советовали воздержаться от операции: сердце у наркома далеко не богатырское. «Отвечать боятся, мать их!..» — яростно посетовал Федоров и написал в Москву, что «повременить» — преступление, спасти Серго может только срочная операция. Убежденность большого ученого, беспощадный самоконтроль, размашистая открытость и страстно заинтересованное отношение к больному подкупали Серго сильнее, нежели искусность и опытность. В докторе Федорове было что-то от того типа талантливо одаренных русских, что готовы и способны устоять на краю, стать у последней черты насмерть, одолеть, чего бы ни стоило. Не убоявшись ответа, по доброй воле ленинградский хирург приехал в Москву, взвалил на себя риск за судьбу Серго.

Можно бы отвести душу больному — покапризничать, попенять на что-то, придраться к чему-то. Ничуть не бывало. Ни в облике, ни в повадках-манерах ни намека на

саповную исключительность. С мягкой улыбкой советует провожатому:

— Называйте просто «товарищ Серго».

Врач косится на портфель в руке народного комиссара:

— Придется оставить.

— Не могу, дорогой. Надо кое-что доделать.— И опять ни надутости, ни начальственной недоступности: просто «надо».

Доктор уже знает, что это не напускной демократизм — это стиль поведения человека, твердо уверовавшего: кто задирает голову, тот спотыкается. Ведь когда в связи с предстоявшей операцией в больнице вознамерились ввести особый режим, заменить часть персонала привезенным из Ленинграда, сюда пришел помощник наркома, от его имени попросил не устраивать бум, никого не дергать, доверять своим. И «свои» с облегчением вздохнули.

Расположившись на кровати, Серго принимается править стенограммы своих выступлений. Заслышав шум приближения по коридору «самого», прячет листы с карандашом под подушку.

Когда профессор входит в палату, нарком, переодетый в больничное белье, полулежит на кровати, отвечает улыбкой на улыбку, оглядывает шестидесятилетнего атлета, с трудом вместившегося в белый халат. Прежде всего — усы, вороные, с проседью, острые кончики лихо торчат кверху: должно быть, холит, спит в пауснике. Нет, прежде всего — руки мастера, тяжелые, сильные, широкие. Волосатые короткие и толстые пальцы не вяжутся с осанкой мага, породистостью барина.

— Ну-те-с, батенька, повернемся, ляжем на брюшко, выдохнем... Еще-с... — Начинает ощупывать, сверкая розовой лысиной, источая запахи дорогих духов и сигар.

Ох, неуютно в этих каменных руках! Больно! Обидно от того, что ты становишься как бы предметом неодушевленным, не сам собой распоряжаешься — лежащего, беззащитно обнаженного, тебя трогают, тобой помыкают. Ты — больной. Твоя судьба — в руках другого буквально.

«Как тесен мир!» — думал между тем Федоров, сноровисто проникая в глубину наркомова нутра пальцами, будто прислушиваясь к ним. В двадцать первом, когда Максимович, один из любимых учеников бывшего лейб-хирурга, ходатайствовал за учителя перед непреклонным Дзержинским, в кабинете Железного Феликса оказался Серго. И заступничество его, возможно, предрешило то, что сейчас Федоров мог сидеть у постели Орджоникидзе. Вдобавок Сергею Петровичу просто нравился этот вдохновенно-сокрушительный жизнелюб. Федорову, слывшему ценителем изысканных блюд, не порывавшему дружбу с царским поваром, нарком представлялся обаятельным хозяином дома. Широкий и открытый, он, казалось, непрестанно тебе радовался, потчевал тебя. Улыбался, тешился, коли угощение по душе. Рвался обласкать тебя, осчастливить. Чем ближе Федоров узнавал Серго, тем больше содрогался при мысли, что может и не спасти его. Проверяя себя, прикидывая завтрашний путь руки со скальпелем, трепетал в предчувствии возможной беды. Ликовал в предвкушении победы. Вновь давал себе клятву: не сфальшивлю, не промахнусь, вырву.

Обо всем, что Федоров чувствовал и переживал, Серго, конечно, догадывался. И тоже думал: «Как тесен мир! Неужели я спасал его, чтобы он спасал меня, чтобы ему при этом ассистировал тот самый Максимович? Есть что-то неприятное в этом, какой-то привкус корысти, что ли: ты — мне, я — тебе... Чепуха! Прекрасно, что было, как было. Безгранично, всемогуще добро. Завидую Федорову. Мог бы и я стать таким вот медиком?

Возможно. Ни богатству, ни власти, ни славе не завидую, а талантам... Грешен! В них — доброта, мудрость, любовь жизни...»

— Что за книга? — Федоров кивнул в сторону тумбочки.

— В Берлине купил. «Звездные часы человечества». Цвейг.

— Владеете немецким?

— Продираюсь кое-как со словарем. Замечательный писатель. Несколько миниатюр — каждая стоит эпопеи. Вот, пожалуйста, трагедия Наполеона — мог победить при Ватерлоо, но упустил возможность победы. «Мариенбадская элегия» — о Гёте, который семидесяти четырех лет влюбился в девятнадцатилетнюю девушку, сделал предложение, был отвергнут, чуть не умер с горя. Осмеянный, всю страсть отдал работе. Я кое-что выписал... Вот: «Снова вся любовь его... обращается на старейших спутников юности — «Вильгельма Мейстера» и «Фауста». Через несколько лет завершен и этот труд». Каково? А? «Немецкая поэзия не знала с тех пор более блистательного часа...» Далее — миниатюра «Открытие Эльдорадо». В процветавших владениях Иоганна Августа Зутера обнаружили золото: «Кузнецы бежали от наковален, пастухи от стад, виноградари от лоз, солдаты побросали ружья — словно одержимые, кинулись добывать золото. Золотая лихорадка! Орда, не признающая иного права, кроме права сильного! В одну ночь Зутер стал нищим; как царь Мидас, захлебнулся собственным золотом». Здорово написано, правда? Наконец, трагедия английского капитана Скотта. В девятьсот двенадцатом шел к Южному полюсу наперегонки с Амундсеном, вопреки чудовищным трудностям достиг и первое, что увидел, был норвежский флаг над полюсом. Подкошенные разочарованием, без керосина, без пищи, Скотт и четверо спутников погибли на обратном пути. Но... последний отрывочек:

«Подвиг, казавшийся напрасным, становится животворным, неудача — пламенным призывом напрячь силы для достижения доселе недостижимого; доблестная смерть порождает удесятеренную волю к жизни, трагическая гибель — неудержимое стремление к вершинам. Ибо только тщеславие тешится случайной удачей и легким успехом, и ничто так не возвышает душу, как смертельная схватка человека с грозными силами судьбы,— величайшая трагедия всех времен, которую поэты создают иногда, а жизнь — на каждом шагу». Прекрасно! «Смертельная схватка человека с грозными силами судьбы»... Этой замечательной книге, по-моему, не хватает лишь одной, быть может, главной трагедии — об Ильиче. Трибун, мыслитель, вождь, лишается способности говорить, писать... И все-таки говорит, пишет, сражается...— Вдруг Серго перебивает сам себя: — Прирежете завтра?

— Идите вы, знаете куда! — Федоров крестится.— Сказал бы, да положение врача не дозволяет. Типун вам на язык.— Снова крестится.— На всякий случай. А вдруг он там есть? — Кивает на потолок.— Тьфу, тьфу! Не верю ни в какую хреновину, а все же. Постучим по дереву, благо всегда под рукой.— Шутовски усмехаясь, стучит пальцем по лбу, передразнивает кого-то: — «хирург божьей милостью», «чародей», раз даже вычитал о себе «джигит». Пошляки, мать их! Но завтра мой звездный час.

— И мой?

— Ваш — впереди, молодой человек. Будьте уверены. Почитаю арабскую мудрость: «Коли не знаешь, как поступать, не поступай вовсе». Я — знаю. И они знают.— С достоинством мастерового поднял над головой руки так, точно меч победителя нес. Немного смутился напыщенности, свел к шутке: — Руки хирурга — его лицо. Конечно, и задница необходима потерпеливее. Ну и голова, понятно, не вредит. Знаете, какое у меня главное прозвище? «Счастливая рука». Это вам не «джигит».

— У самого Пирогова, помню, есть статья «Рассуждение о трудностях хирургического распознавания и о счастье в хирургии». И, по-моему, это относится не только к хирургии.

— Именно! И тем более. Пожалуйте-ка сюда ваши книжечки, переводики с портфельчиком... Да-с, насилие. Без препирательства!

— Сдаюсь. В интеллектуальном споре побеждает тот, у кого лучше развиты бицепсы...

— Спать! Выспаться! И мне тоже. Au revoir [1]. До завтра.

«До завтра»... Надо еще дожить до него. В тоске, в отчаянии метался Серго по кровати и не спал, не спал — не мог заснуть. Мама! Мама! Как тяжело тебе, верно, было умирать?! Не так часто за всю свою жизнь он обращался к матери, которую знал только по дагерротипному снимку. И не было у него с младенчества привычки говорить «мама!» в моменты потрясений восторгом и ужасом, но сейчас...

Мама!..

До чего хорош, однако, доктор Федоров! Вообще, что ни говори, а везло тебе в жизни на людей, жизнь твоя — сплошная череда встреч с добротой, мудростью, любовью. Достал припрятанные листы, карандаш. Принялся вновь за стенограммы. Работать! Заглушить любые скорби и болести! Сосредоточить усилия духа на главном! И целительное счастье думать станет превыше всего...

Но постепенно возникает какая-то путаница, мелькание, мельтешение. «Мама!» — опять повторяет Серго в яростном отчаянии обиды на жизнь и жалобит себя. И видит мать, отца, Папулию, и дядю с теткой, и Катию — всех вырастивших его, и самого себя видит мальчиком, здоровым, ловким, проворным...

[1] Au revoir — до свидания (*франц.*).

Вот... Вот! Ему восемь лет. Он стоит в холодной воде по колено и нагибаясь, выворачивает со дна Квадауры камень за камнем. Одной рукой поднимает замшелый голыш, другой хватает рачка, прячет в мешочек, висящий на шнурке с крестом.

— Рачок для цоцхали все равно что шашлык для джигита,— наставляет дядя Дато.— О, цоцхали! Рыба рыб.

Размотана леска — волосы для нее бесстрашно надергал из хвоста Мерани. Поплюем — на счастье... Посмотри, цоцхали, какой вкусный рачок... Да, это уже не те забавы, когда в межень дети перегораживали русло камнями, отводили воду и на отмели брали рыбу руками — не цоцхали, конечно, а бычков, которых здесь называют орджо. Сегодня дядя взял Серго на дело, достойное мужчины. Конечно, мальчик этим гордится, хотя и не очень верит в успех. Река ему кажется мертвой. Только небо в ней живет, густо-синее, близкое, близкое небо Кавказа, а так — ни рыбешки. Вода насквозь, до камушка, прозрачна — леска невозмутима.

«Ну, приходи же, цоцхали! — молит Серго.— Приходи, форелька! Приходи, ишхан!» — и по-русски и по-армянски величает, но... Уж лучше бы ловить, как прежде. Он чувствует, что мысленно обижает дядю, оглядывается. С фундуковым удилищем дядя стоит посреди реки в засученных выше колен шароварах, и у него тоже не клюет. Однако жестами он внушает, зайди, мол, в воду, иначе рыба тебя видит — кто рыбы хочет, тот и ноги мочит.

Неохота заходить в холодную воду, но для любимого дяди... О, чудо! Леска вздрагивает, натягивается, гнет удилище. За камень зацепил? Нет, нет, нет — стучит сердце. Леска подается, содрогаясь живой, натужной тяжестью. Тук-тук-тук — по руке. Тук-тук-тук — сердце. Выпрыгнув из воды трепещущей радугой, цоцхали срывается с крючка. Только что была, считай, в руках... и!

Лишь вода, вода. Где же в ней прячутся рыбы? Как? Волнующий, неоткрытый мир зовет. Хочется завладеть им, постичь его. Возможно, то не самая большая форель на свете, но Серго не видывал крупнее. С трудом подавив слезы, цепляет на крючок двух рачков. Заброс, еще заброс... Нет и нет поклевки. А если вон в той круговерти попытать счастья?.. Ага, есть! И опять рыба срывается.

— Резче подсекай,— драматическим шепотом, слышным, верно, на Казбеке, советует дядя.

Вновь ожидание, напряжение, самозабвение. Холодная вода? Нет ее. И босых ног нет — есть только руки, ставшие удочкой.

Тук-тук! Наконец-то! Вот она, посланница иного мира — лучезарно-золотистая радуга в руке. Красные, черные, белые крапинки по желтым бокам. Голубая каемка. Прозрачный плавник усеян черными и красными пятнышками. Упругая, сильная, оранжевый глаз молит злобно и скорбно: отпусти. Но предложите велосипед — не разожму ладонь. Подняв добычу, Серго требует возликовать:

— О-го-го, а?!

В ответ дядя только головой качает: тсс!

Упрятав рыбу в ведерко с крышкой, Серго спешит продолжить лов. Говорят, новичкам бог помогает. А у дяди не клюет. И чем больше Серго таскает, тем завистливее топорщатся чудесные дядины усы. Не выдержав, он откидывает удилище на берег:

— Испробуем старый солдатский способ.— И как был, в закатанных штанах и рубашке, ныряет в пенистое кипение. Серго страшится подойти туда — к водопаду. Как бы дядя не разбил голову... Слава богу, вынырнул! Отфыркиваясь, мотает головой, старается вытряхнуть воду из богатырских — фамильная гордость — усов. Припадая набок, выбирается к берегу. Ушибся?! Но дядя припод-

нимает руки — в каждой по форелине. Ай да ну! И под коленкой у него зажата рыба. И под мышкой!

Дядя Дато воевал с турками, когда Серго на свете не было. Георгиевский кавалер! Вино любит не меньше других, а работает и побольше: «Зачем на руке пять пальцев? — Чтобы работать за пятерых. А зачем между пальцами щелочки? — Чтобы деньги уходили на радость дорогим друзьям!» Плясун. Тамада. Ни одна свадьба в Гореше без него не обойдется. А рассказчик!.. Как начнет про генерала Скобелева, про дела под Шипкой, Плевной — до утра бы слушал, если б тетя Эка не прерывала. Дядя научил Серго не бояться стрелять из охотничьего ружья, пребольно отдающего в плечо, скакать верхом в седле и без седла, не натирая паха: «Джигит не держится за поводья, не опирается на стремена!» Когда тетя Эка не отпускает с ним на очередное «дело», дядя с улыбкой увещевает ее: мужчина должен быть сильным и храбрым. И тетя сдается...

Наполнив ведро форелью, они стоят друг против друга у края искрящейся поющей воды. Дядя отжимает одежду, хлопает Серго по плечу так, что Серго едва с ног не валится. Но в ответ сам хлопает дядю по плечу что есть духу. Дядя пошатывается, делая вид, будто ему очень больно. Вместе они смеются так, что, кажется, горы ходуном ходят.

Счастье... Квадаура, несущая воду горных родников сквозь ущелье, поросшее буком, дубом, каштаном. Холмы, украшенные кукурузой и виноградом. В Гореше, как говорит волостной старшина, пятьсот дымов. Один дом от другого за версту. Среди них — вот он! — дом Константина Николаевича Орджоникидзе, известного односельчанам как Котэ-дворянин. Дядя Дато шутит: «У нас из трех жителей пятеро — князья, и всем кушать нечего». Не в бровь, а в глаз. Кукурузы с «владений» Котэ едва хватает до нового года. Чтобы кормить семью, дворянин

возит на быках марганцевую руду из Чиатур в Квирилы. Родовое «поместье» он унаследовал в начале восьмидесятых и вскоре женился на столь же благородной, но, увы, тоже нищей Евпраксии Тавзарашвили. В восемьдесят втором Евпраксия Григорьевна осчастливила его первенцем — Павлом, или Папулией, а в октябре восемьдесят шестого года подарила Григория, крещенного так в честь деда. Однако бабушка запротестовала.

— Да какой же он Григорий?! Вылитый Серго!

Родня, составлявшая едва ли не треть Горешп, не перечила старшей. Так и пошло: пусть живет хоть за Григория, хоть за Серго. Печальны семейные предания: когда умирала Евпраксия, она подозвала сестру Эку и сказала: «Поручаю тебе своего маленького». Хлопот потребовалось немало и от тети Эки, и от дяди Дато, и от их дочери Катии. Когда у кормилицы пропало молоко, Эка выпаивала осиротевшего младенца коровьим. Катия нянчила, напевала колыбельные. Потом играла с подросшим Серго, тешила его сказками о прекрасных царевнах и богатырях, песнями об Амирани, водила в лес по ажину, по каштаны, по грибы. Серго вырастал крепышом, весельчаком и, ей казалось, красавцем. Особенно любила расчесывать его пышные кудри.

Через год после смерти мамы отец женится на тетеньке Деспине. Серго то и дело бегает к отцу и мачехе поиграть с Папулией. Деспине относится к Серго, как к своему, встречает улыбкой, лаской. И он отвечает любовью на любовь. Даже после смерти отца сердце круглого сироты не ожесточается. Средь гордых гор, мятежно буйных рек, неприступных лесов он растет жизнелюбивым и общительным. С утра до вечера из двора Дато Орджоникидзе доносится детский смех. Игры часто оборачиваются слезами. И Серго бросается к пострадавшему, утирает расшибленный нос, утешает, как может. Если же сам падает, старается поскорее подняться, и никто не

видит его плачущим. Верно, потому, что рядом всегда Мзия — зеленоглазая, огненнокудрая, милая. Даже имя ее рождает очарование. Мзе — по-грузински солнце. И Серго воображает, будто с ним играет сама Мзетунахави, появившаяся из цветка розы.

О златовласой Мзетунахави рассказывает и поет Катия. В сказках Мзетунахави оказывается узницей неприступных крепостей или превращенной в лань. Чтобы вызволить ее, герой благодаря ее же мудрости и доброте совершает подвиги: пролезает в игольное ушко, выбирается сухим из воды, мокрым из огня — и девушка выходит за него замуж... Озорник и непоседа, Серго утихает, когда появляется Мзия. Томясь и смущаясь, подходит к ней, приглашает разделить радость по поводу найденной раковины или пойманной бабочки.

— Жених да невеста!

— Рыжая, богом меченая!

— Не богом, а чертом!

Любовь Мзии и любовь к Мзие обогащают его неизменным ощущением добра, красоты, силы, пробуждают чувство собственного достоинства, подвигают на молодечество. Увлекшись верховой ездой, Серго падает с лошади и ушибает ногу так, что лежит без чувств. Его подбирает сосед, смывает кровь со лба, провожает домой. Нога болит, Серго кусает губы — лишь бы не заплакать, делает возможное и невозможное, чтобы не хромать. А ведь как хочется и хромать и плакать!

— Униженье беззащитных недостойно храбреца,— любит повторять дядя.

И в характере мальчика это преломляется тем, что пальцем не трогает тех, кто слабее, бросается на выручку малышам...

Однажды во дворе другого дяди, Авксентия, Серго заглядывается на оседланного Мерани. Сует ладошку за подпругу, проверяя надежность седлания. Мерани косит-

ся на дерзкого пришельца огненным глазом — презрительно и вместе с тем поощряя. Скалится в недоверчивой улыбке, прижимает ухо. Серго вскидывает себя на скрипнувшее седло. Мотнув длинной шеей, Мерани пробует сбросить самозванца, но не тут-то было. Отбирает поводья сколько может, несет, покачивая седока на упругой, гибкой спине. Волнуясь и волнуя, старается перехитрить непривычно легкого всадника — то с одной, то с другой стороны вырывает поводья. Напрасно Серго увещевает его и гладит по благородно лоснящейся холке. Свежий, сухой Мерани уносит мальчика от Гореши, уносит с удовольствием, сам себе восхищаясь и наслаждаясь несдержимостью бега — только слегка опираясь на длинные бабки. Вскидывает ногу, замахиваясь на галоп, но удила врезаются в губы. Обозлясь, Мерани удивляется, по-новому, уважительно и послушно, ощущает всадника с такой твердой рукой.

Что за счастье скакать на горячем коне по каменистым тропам навстречу горному ветру! Жадно вдыхает Серго воздух, настоенный на медовых травах, вперяет взгляд в синюю беспредельность, выхватывая из нее призрачные очертания деревьев, лугов, потоков, что рушатся с утеса на утес. Печаль по чему-то несбыточному, еще недавно томившая его, рассеивается. Смятение отступает. Радостная, ласковая истома движения. Изнеможение тела, слившегося с телом лошади. Освобождение от сомнений и тревог. Железо узнается в ковке, добрый конь — в беге. Стороннему может казаться, что одинокий всадник скачет без нужды и цели. Но он-то, всадник, и Мерани под ним — они летят за счастьем и обретают его.

Как трудно приобретал молодцевато-небрежную горскую посадку! Ничем не польстишь ему больше, чем похвалой искусности в верховой езде. А лошадь под ним!.. Имя одно чего стоит! В сказках Мерани — крылатый скакун, быстрый, как молния.

Но судьба всегда держит в одной руке сахар, в другой соль. Счастье не столько отравляется чем-то извне, сколько носит отраву в себе. Серго спохватывается: что-то сейчас дядя Авксентий думает? Гонит обратно не по дороге, а напрямки. Впереди река. И обоих, всадника с лошадью, охватывает мимолетное сомнение. Серго подмечает нерешимость, тревогу в ушах лошади, заносит руку, чтобы ударить по крупу, но тут же понимает: сомнения напрасны — Мерани приближается к берегу, плавно сбавляя ход. И все-таки придется спешиться, иначе распаленный конь может напиться, и тогда... Не выпуская поводья, соскальзывает с седла, берет Мерани под уздцы, сводит его в воду, которая не выше колен...

Вдруг Мерани вырывает поводья и припадает, жадно хлюпая, к воде. Серго в ярости ухватывается за поводья, тянет к берегу, но Мерани не уступает — пьет, пьет...

Уже нет ощущения счастья — есть сознание непоправимости, предчувствие беды. Солнце скрывается в туче, разлегшейся по западной гряде гор. В теснине темно и сыро. Квадаура, шурша камнями, ревет смятенно и угрожающе. Серго уже не скачет, а едет шагом, задыхаясь от горя. Молится, проклинает себя, горько насмехается над собой. Мерани похрипывает, покрывается пеной. Говорят, коня его же ноги воруют. Нет! Ты украл коня. Ты — вор.

Молния раскалывает черное небо, ослепив одинокого всадника. Конь тяжело дышит. Вот он спотыкается на ровной дороге... Уже виден дом дяди Авксентия. Огибая излучину на выезде из ущелья, Серго чувствует и понимает: все. Правая нога его касается земли — едва успел выдернуть из уже прижатого стремени, как лошадь грянулась на правый бок. Мерани надсадно хрипит, старается подняться, мотая взмыленной шеей. Бьется у ног Серго — точно подстреленный. Выгнув к мальчику голову, смотрит дивным, но уже не огневым глазом. Все еще не

понимая, а вернее, не желая понимать, что случилось, Серго дергает за повод. Мерани бьется, трепещет, хлопая крыльями седла, выбрасывает передние ноги, пытаясь опереться, но не приподнимает круп и рушится на бок. Серго чувствует, что лицо его исказилось и побледнело. В отчаянии пинает Мерани, тут же сожалеет об этом, просит прощения. Мерани уткнул храп в пыль и смотрит на Серго, попрекая, моля о спасении.

— Вайме! — кричит Серго.

Слабый стон из наглухо стиснутых зубов — и конь затихает. Мальчик бросается прочь, падает в придорожный бурьян. Лежит, вздрагивая то ли от раскатов грома, то ли от рыданий. Твердость его исчезла, душа изнемогла, разум потух. Если бы он мог увидеть себя со стороны, с презрением отвернулся бы. «А ведь можно никому не говорить,— словно избавление осеняет мысль. И вновь ощутим стук сердца, который исчез, как пал Мерани.— Никто не знает, что коня увел я...» Когда хлесткий дождь освежает его, он приходит к дяде Авксентию и признается во всем...

С малолетства Серго выходит на сбор винограда вместе со взрослыми, таскает на плече корзину, правда, поменьше, чем у них, старается в давильнях, пасет коз, гоняет в ночное лошадей, недреманно сберегая от волков.

И снова счастье: когда ему исполняется восемь лет, тетя Эка отводит его в школу. Скромное зданьице на холме возле церкви. В нем всего две классные комнаты, где три преподавателя и священник обучают шестьдесят детей. С первого дня Серго обращает на себя внимание учителей. Слышит, как они говорят:

— Шалун, но какой изобретательный!

— Даровитый мальчик. Любит слушать и умеет рассказывать.

До чего интересно каждый день узнавать новое! Еще

вчера не мог прочесть вывеску на духане, а завтра... и книгу прочту! Без конца он задает вопросы, озадачивая пытливостью, поражая памятью. Любит карандаш, а еще больше — ручку и тетрадку. Любит уважаемого батоно Виссарнона, особенно когда тот рассказывает о грозных явлениях природы — извержениях вулканов, наводнениях, землетрясениях. Слушает и мечтательно зажмуривается от страха, от упоения — побороться бы, как те люди, что не сдались, выстояли, несмотря на превратности судеб. Слушает и уносится то в океаны, то в пустыни, то во льды полюсов.

Только вот закон божий... Чего ни придумывает, чтобы увильнуть от молитв с почтенным батюшкой Чумбуридзе! Впрочем, библейские легенды и притчи захватывают Серго не меньше, чем рассказы о путешествиях, будоражат, возбуждают воображение, заставляют задуматься об окружающем, между прочим и о том, почему у дяди Дато так много и земли, и кукурузы, и денег, а у соседа, пришедшего косить траву во дворе, не хватает на рубашку для сына. Почему, когда Серго дарит мальчику свою рубашку, дядя косится настороженно: «Богатство — грех перед богом, бедность — перед людьми», а добрейшая тетя Эка говорит: «Всех голодных не накормишь, всех холодных не согреешь»? Почему? Разве земля, большая и прекрасная земля бедна? Разве бог наш не добр?

Уважаемый батоно Виссарион вдумчив и опытен, но главное — любит детей, умеет незаметно для них заставить работать. Мамао Чумбуридзе — весельчак, жизнелюб, острослов. Больше всех богов на свете почитает, кажется, Бахуса. Не столько понуждает вытверживать молитвы, сколько рассказывает библейские притчи, весьма вольно трактуя их, от чего они смахивают на имеретинские анекдоты. С первых дней он не скрывает симпатию к Серго, одобряет за то, что смекалист, улыбчив, не ленив.

Прощает озорство и непочтение к вере, называет не иначе как Сержан:

— Кто доживет — увидит, что этот маленький Сержан станет большой личностью.

Способности Сержана отмечает сам губернский надзиратель церковноприходских школ: предлагает, чтобы одаренный мальчик продолжил образование в Кутаисе. Но родные выбирают школу, где учительствует любимец и гордость обширного рода Симон Георгиевич Орджоникидзе. Верноподданные коллеги, сторонясь и побаиваясь Симона, так отзываются о нем: «Народоволец» — и пишут на него доносы: шутка ли? — учит детей грузинскому языку, несмотря на запрет их императорского величества. Друзья говорят: «Прогрессивный интеллигент, волчий билет ему обеспечен».

Суть всего этого пока не очень ясна Серго, но он уважает Симона, заинтересован им. Родной край тот называет не иначе как Сакартвело, Тифлис — Тбилиси, Кутаис — Кутаиси. Как ведется в Грузии, только трех человек величает без отчества: Шота — Руставели, Илья — Чавчавадзе, Акаки — Церетели. И мальчику кажется, будто все они близкие друзья учителя. Симон Георгиевич умело направляет его чтение: первое место классике — Гурамишвили, Пшавеле, Казбеги, Пушкину, Грибоедову, Шевченко. И, конечно, больше всех волнует Руставели. Стихи созвучны душевному ладу Серго, истинно это — кодекс добра, чести, справедливости, истинно в них поют доброта, мудрость, любовь:

Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг.
Что припрячешь — то погубишь, что раздашь — вернется снова.
Лучше смерть, но смерть со славой, чем постыдный в жизни путь.

Однажды Серго спрашивает:

— Почему вас называют националистом, дорогой учитель?

— Националистом? Пошлость какая! И гадость. Послушай, бичо, за меня тебе ответит властитель наших дум, дорогой Акаки: «Из слов Шевченко я впервые понял, как нужно любить свою родину и свой народ...» Ты слышишь, бичо? Из слов Шевченко он понял: «Прежде всего я грузин, так как я рожден грузином, но это не означает того, чтобы я стремился построить свое счастье на несчастье другого народа. Моей мечтой является всеобщее счастье всех народов». Ты слышишь, бичо? Всех.

В эти годы Серго встречает Самуила Буачидзе. Отец его, крестьянин, сидел в тюрьме за то, что заготавливал дрова для своей большой семьи в казенном лесу. Самуил много читает, интересно думает. Как Серго, увлекается историей. Любимый его герой — Георгий Саакадзе, поднявший восстание против шахского ига. От Самуила Серго узнает имена Чернышевского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина, слова «революционер», «демократ». Самуил сочувствует тем, кто устает на работе так, что мясо от костей отходит, а живет хуже собаки.

В класс жалует попечитель Кавказского учебного округа граф Ренненкампф. Он осчастливливает воспитанников такой тирадой:

— Дети дворян! Я приветствую вас. Мужицкие дети, сколько их ни учи, останутся тупицами...

И тогда мужицкий сын Самуил Буачидзе, дрожащий, бледный:

— Ложь! — кричит, вскочив, срываясь, как первое кукареку.

Граф изумляется и повелевает немедля исключить бунтаря.

Нет, лучше умереть, чем стерпеть! Серго взбирается на парту:

— Пусть исключают всех или никого!

Ничего подобного еще не видывали эти старые стены. Свист. Призывные выкрики. Стук — барабанная дробь. Взбунтовавшиеся мальчишки запирают входную дверь, заваливают партами лестницу на второй этаж, крушат столы, стулья. Это уже не то озорство, что тешило, когда Серго, оседлав козу, на виду у товарищей подъезжал к батюшке и спрашивал, кого больше на свете — дьяволов или ангелов, а тот добродушно ответствовал: «Если тебя, сын мой, причислить к дьяволам, их станет больше». Тогда не было злости на батюшку, на дядю, пожалевшего рубашку для нищего, еще на кого-то, на что-то... Серго срывает со стены портрет молодого царя, топчет, вызывая замешательство среди товарищей. Поощренный этим, подбегает к окну, кричит растерянно толпящимся внизу учителям:

— Верните Буачидзе, не то все уйдем!

Смотритель отряжает для переговоров батюшку, но парламентеру не отпирают дверь. И Серго снова требует:

— Пусть придет Симон Георгиевич.

Как тому удается уладить конфликт, сказать трудно, только Самуила не исключают. Впервые Серго понимает: единение людей ради торжества правды — великая сила. И как упоительно идти впереди других, презирая ложь и зло!

Вскоре Серго уезжает в Тифлис, а Самуил в Кутаис продолжать образование, но друга не забывает. Чуть не каждую неделю приходят письма, посылки: книга Дарвина о путешествии на «Бигле» вокруг света, «Утопия» Томаса Мора, «Что делать?» Чернышевского, «Записки одного молодого человека» и «Кто виноват?» Герцена.

Герцен... О! Это особо. Когда Самуил приедет на пасхальные каникулы, друзья уйдут в горы. На тропе, вьющейся по свежезеленому склону, Самуил вдруг остановится, обернется к Серго:

— Политические тайны хранить можешь? Не обижайся, что спросил. Тюрьма за это... Не могу, чтоб ты не знал обо мне все. Там, в Кутаисе, есть один... педагог. Познакомил меня... Я вошел в кружок социал-демократов.

Серго позавидует, хотя толком еще не знает, кто такие социал-демократы. А Самуил не назовет педагога, посвятившего его в социал-демократы. Лишь спустя годы Серго узнает, что им был Миха Цхакая — один из первых марксистов, впоследствии агент «Искры».

Легко шагая вверх по тропе, Самуил говорит о том, что после бунта в училище многое передумал и настоящих людей повстречал. Не так надо драться за правду, как мы дрались. Один русский студент... Был в Сибири на каторге, теперь — ссылка на Кавказ. Говорил о Герцене. Когда Герцену было столько, сколько нам, они с другом поднялись на высокую гору в Москве и поклялись посвятить себя самому дорогому и прекрасному, что есть в жизни,— борьбе за свободу и счастье. Никакие невзгоды, изгнание, гибель близких и друзей не заставили их отречься. До последнего дыхания остались верны они мечтам юности. Вот бы и нам так...

«Верны мечтам юности...» Нет, не игра в этих словах, а судьба. Вместе они пойдут дальше — в партии, на каторге, в революции. До самой той поры, когда председатель Терского Совнаркома Буачидзе будет убит националистом на митинге во Владикавказе, а Серго придет туда во главе красных войск, станет вместо погибшего товарища. Но сейчас...

Кто знает, в чем счастье и удача всей жизни? Не в раннем ли — раз и навсегда — определении призвания, выборе главного дела?

— Кавказ подо мною...— Серго так хочет сказать, что вот мы с тобой перед родным Кавказом, перед всей Землей, всей Вселенной, но он боится, что строгому Самуилу это покажется напыщенным. Глубоко вдыхает легкий весенний воздух.

Самуил сжимает руку друга. Подумав, достает из-за подкладки форменной тужурки тетрадь:

— Обязательно прочитай.

Серго вслух читает название:

— «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» — Крепко держа листы, чтоб не унесло ветром, читает на последнем: — «...русский **РАБОЧИЙ**, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет **РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ** (рядом с пролетариатом **ВСЕХ СТРАН**) *прямой дорогой открытой политической борьбы к* **ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».** — Первые слова Ленина, которые он узнает...

Убийственно белое безмолвие. Наваливается. Обволакивает. Душит. Стоп, это же потолок.

— Очнулся! — Зинин голос.

Почему заплакана? И Максимович рядом...

— Вайме! Больно! Бо-ольно, мамма дзагли!

— Потерпите, голубчик. Полегчает.

Вновь он проваливается в трещину, отрезающую путь к спасению. Кричит, но никто его не слышит, даже эхо не рождается глухими стенами. «В смертный час пишет письма всем живым, которых любит. Пишет жене... Заклинает беречь сына, предостеречь от вялости...» — проносятся в мозгу строки Цвейга.

— Доченька!

— Успокойся, родной! Жива-здорова Этери.

«Ты ведь знаешь, я должен был заставлять себя быть деятельным,— у меня всегда была склонность к лени...»

— У него! У Скотта!.. Ха!

— Успокойся, милый! Какой скот?

— Вайме! Сдохнуть легче, чем терпеть эту боль!

— Потерпите, голубчик! Знаете, как прошла опера-

ция? — Максимович показывает «на большой».— Когда Сергей Петрович извлек почку, в руке почка выглядела здоровой. Все в операционной перестали дышать. Сергей Петрович смотрит на меня, я на него...

Серго понимает, что Максимович отвлекает от боли, но прислушивается. Максимович так же возбужденно продолжает:

— Что, если удалим здоровую — оставим больную?.. Прекратить? Оставить как есть?.. Но Федоров на то и Федоров. Только уж когда мы вас принялись заштопывать, рассек удаленную почку, улыбнулся так, что маска над усами заелозила. Три каверны — и все внутри! Вышел из операционной, произнес какую-то странную фразу: «Тяжелы вы, звездные часы человечества!» — Рухнул на кушетку. Сердце-то и у него не ахти.

Все равно Серго не испытывал сочувствия к Федорову — только враждебность: как лягушку резал! Понимает мое состояние: не показывается на глаза. Вайме! Не избыть! Не убежать! Будь проклята кровать на колесах! Катафалк! Умираю... От боли опять впадает в полузабытье. Замерзает в Антарктиде. Коченеющей рукой пишет: «Перешлите этот дневник моей жене! — Зачеркивает.— Моей вдове. Ради бога, позаботьтесь о наших близких». Все. Последняя точка. Дальше — белое безмолвие...

Истинно, болезнь приходит через проушину колуна, а уходит через ушко иголки. Приходит бегом, а уходит медленным шагом, на цыпочках. Тяжело поправлялся Серго. Тосковал. Глянет в окно — снег летит. Жизнь отлетает. Только теряя молодость и здоровье, начинаешь ценить их. Прежде чудилось, умирают другие, ты — не умрешь. Ан, и к тебе придвинулось. Раздавлен. Опять глянет в окно — солнечно, москвичи на работу спешат — в подшитых валенках по наверняка хрусткому снегу. На работу... А вон валенки в самоклееных калошах, на плече пешня, на ней ящичек раскачивается. Никогда особен-

но не увлекался подледной рыбалкой — разве в ссылке, а тут: до слез позавидовал — пошагать бы вот так, молодцом по морозцу! Неужто никогда больше? Ни-когда... Э-эх!

Зина дневала-ночевала возле него. Проговяя:

— Наташа Ростова у постели князя Андрея выискалась!

Не уходила. И он радовался, гордился ею перед врачами, сестрами. Навещали товарищи, Кирыч заглядывая, Сталин бывал, будто бы о неотложном советовался — вытаскивал к делам. Наезжал из Ленинграда Федоров, которого Серго встречал уже как спасителя. Преклонялся перед великим трудом и подвижничеством. Но не вдохновлялся. Читал меньше, чем когда был занят. Ел неохотно, несмотря на кулинарные старания больничных и Зины. Не было решительного выздоровления, хотя и начал вставать. Не было чего-то прежнего, коренного, словно не почку, а душу вырезали.

Как-то явился Максимович:

— К вам старик просится, горец. Говорит, вылечить вас пришел. Оборванец какой-то.

Серго побагровел так, что Максимович испугался: швы разойдутся.

— Если вы, дорогой, по одежке встречаете, научитесь уважать тех, чьи смокинги истлели в работе!..

— Ассалом алейкюм, Эрджикинез, князь бедняков, кунак Ильича! — Старик действительно был живописен в выцветшей черкеске и красном башлыке под белым халатом. Достал из-под заплат и воинственно сверкавших газырей чистейшую холстину, развернул, торжественно поднес: — Кушай хлеб родины. Вся земля, каждый аул один зерно пшеница давал, один зерно кукуруз. Не мельница молол — народ молол, душа. Не огонь пек — сердце. Кушай, пожалуйста! Живи, Эрджикинез, князь бедняков, кунак Ильича!

— Чурек! Так давно не пробовал! — Жадно, с упоением, пренебрегая диетой, накинулся на «хлеб родины».

Когда Максимович вновь заглянул в палату, он застал картину «бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они»:

— А помнишь, дорогой, как ваш аул меня спасал, когда мы из Владикавказа отступали и за мою голову Деникин обещал миллион?

— Разве только наш аул?.. Деникин, Деникин!.. Среди мертвых его недостает, и живым от него пользы нет. А помнишь, как мы с тобой полную цистерну нефти подожгли и толкнули под горку паровозом — лоб в лоб деникинскому бронепоезду?

— Славно мы их колотили. Но и от них доставалось...

— Верх — наш. Мы, старики, живем воспоминанием, а вы, юноши, ожиданием. Ассалом алейкюм!

Больной на кровати, в голубой бумазейной пижаме, и гость на стуле, в живописном одеянии, сидели как бы по обе стороны воображаемого стола, произносили вполне реальные здравицы:

— Палец болит — сердце болит, сердце болит — некому болеть. Чтоб у наших врагов сердце болел. Ассалом алейкюм!

— Спасибо, дорогой! За то, чтоб дышать свежим воздухом, чтоб не лекарства пить, а нектар — и не мысленно. Гамарджоба!

— Здоровому буйволу и гнилой саман не вредит. Здоровое тело — богатство. Только здоровый достоин зависти. Чтоб ты, Эрджикинез, был достоин зависти! Ассалом алейкюм!

— Да, недугов много — здоровье одно. Камень тяжел, пока на месте лежит: сдвинешь — легче станет. Верно? Гамарджоба!

— Брод хвалят после того, как переправятся. За то, чтоб ты переправился, чтоб хвалил свой брод.— Обратясь

к Максимовичу, приветствовал: — Врачу все друзья.— И вновь к Серго: — Но дом, в который солнце входит, доктору можно не посещать. За то, чтоб в твой дом солнце вошел, чтоб дорогой доктор был только твой дорогой гость. Ассалом алейкюм!

Старик трогательно, с наслаждением причмокивал, прикладывал руку к сердцу, кланялся с тем достоинством, какое присуще гордым сынам гордых гор. Потом он порывался станцевать лезгинку, но больничная палата явно не соответствовала его размаху. К тому же Максимович решительно прервал торжество, пригрозив пожаловаться в Политбюро.

— Что поделаешь?..

Как бы прося снисхождения, Серго развел руками, вместе с гостем вышел из палаты, обнял, досказывая что-то на гортанно-отрывистом языке. Постоял у окна, провожая старика взглядом через двор: «Гамарджоба!»

Верит в такие чудеса медицина иль нет, но именно с этого часа круто пошло выздоровление. «Рановато сдаваться. Помирать собирайся, а хлеб сей...» Если раньше ему снилось прошлое, то теперь все чаще будущее: домны до облаков, огненные реки стали, проспекты цехов из бетона и стекла, тракторы, комбайны, танки, сходящие с конвейеров, аэропланы, взмывающие ввысь, корабли, шествующие в кильватерах. Если прежде намек Сталина, что не худо бы со временем тебе, Серго, возглавить Высший совет народного хозяйства, воспринимался лишь как стремление подбодрить больного товарища, то теперь... А что? Возглавить хозяйство такой страны?.. Едва ли кому-то выпадало такое счастье! А сможешь? Сумеешь? Снесешь? Дзержинский вон надорвался... Не знаю, но... Чувства пока не обманывали. Верно подмечено: влечение сердца есть голос судьбы...

Рассказывают не то легенду, не то быль. Заспорили однажды горцы, какой национальности Серго.

— Осетин,— сказал первый.— У нас в Осетии все его знают.

— Ингуш! — сказал второй.— В нашем ауле даже дом уцелел, где был его штаб. И мечом он владел, как подобает нам, ингушам.

— Азербайджанец! — сказал третий.— Он сам называет своим учителем бакинский пролетариат.

— Простите меня, уважаемые,— вмешался четвертый,— но Серго Орджоникидзе — грузин. Хотя... живет и работает в Москве. Может, он считается русским?..

Наконец, старейший и мудрейший прервал спор:

— Он — и грузин, и русский, и азербайджанец, и осетин, и ингуш. Он — советский, как мы все. И каждый уголок советской земли ему дорог.

Да, ничто так не возвышает душу, как смертельная схватка человека с грозными силами судьбы. Четырнадцатое февраля тысяча девятьсот двадцать девятого года — тяжелейшая, опаснейшая операция. Шестнадцатое апреля — через два, всего лишь через два месяца Серго уже работает, выступает с обширным, важнейшим докладом на партийном пленуме.

Постоянно бывает в институтах и конструкторских бюро, на стройках, заводах. Любит знакомиться с профессорами, инженерами, мастерами. Слушает. Смотрит. Мотает на ус. Еще года полтора-два назад в числе других внимание привлек и Семен Гинзбург, о котором хорошо отзывались молодые и маститые. Тридцать лет. Большевик с марта семнадцатого. Окончил инженерно-строительный факультет МВТУ. Аспирант и преподаватель. И одновременно практик, стремительно наращивающий опыт. Еще студентом потрудился и за каменщика, и за плотника, и за бетонщика. Строил Всероссийскую сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку,

о которой так пекся Ильич. Строил ангары на Ходынке. Участвовал в проектировании Тырныаузского горно-металлургического комбината. Дипломный проект — ангар для гидропланов, который сам же и реализовал. Под рукой знаменитого Ивана Ивановича Рерберга, спроектировавшего Брянский вокзал в Москве, строил Центральный телеграф. Вскоре Семен Захарович приглашен в ЦКК — РКИ проконсультировать конфликтный строительный вопрос.

— Садитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Да, мы встречались.

— Неужели помните? Вы тогда возглавляли трудовую армию юга России...

— А ваш брат — промышленно-экономическое бюро юго-востока...— Серго умолк, думая о недавней загадочной гибели Владимира Гинзбурга.— Н-да-а... Я тогда с Володей виделся чуть не каждый день. А однажды с ним пришли вы — комиссар Военно-хозяйственной академии, как отрекомендовал Володя.

— Ну и память у вас!

— Обыкновенная, дорогой, обыкновенная. Тренаж старого подпольщика сказывается... Хоть в те поры трудно было удивиться молодости комиссара, вы показались мне вовсе мальчишкой. Но когда заговорили о Донбассе...

— Меня потрясало увиденное. Хорошо знал, что с шестнадцатого года месячная добыча в Донбассе упала почти вдесятеро, но когда увидел... Бездыханное производство, затопленные шахты, безлюдные искореженные цеха. К тому времени я уже повоевал на гражданской. Тифозных потаскал, случалось, умирали прямо на носилках, но то, что было в Донбассе!.. Помню и холодные цементные заводы Новороссийска, пустынный, заброшенный Ростов, безработицу, голод. Возможно, все это както поддержало стремление стать строителем.

— Что вы считаете главным для себя как инженера?

— Главным?.. Так сразу и не ответишь... Пожалуй, вот что... Не сочтите претенциозностью. Главное, конечно, встречи с Лениным. Да, именно так. Пример его жизни, подвига его труда, воздействие его личности, силы его убеждений. Да вы это лучше меня знаете, товарищ Серго!

— А как вы сейчас живете? Женаты?

— Прекрасно живу! Мечтал учиться — окончил лучший институт страны. Кафедру теоретической механики поставил Николай Егорович Жуковский. Кафедра электротехники — Карл Адольфович Круг, один из творцов ГОЭЛРО. Кафедра физики — Петр Петрович Лазарев, тот самый, что по заданию Ильича начинал освоение Курской аномалии... Грех жаловаться! Здоров. Лучший отдых — работа. Прекрасная, увлекательная, по душе работа. Пытаюсь что-то сделать, не терять лица. Трудновато с литературой, но кое-что удается добыть, перевести. Немного знаю немецкий, с французским жена выручает...

— Верно, чем сложнее условия, тем строже должен относиться к себе человек,— задумчиво произнес Серго.— Жилье, конечно, скверное у вас?

— Ничего. У других хуже. Тесновато, правда, стало, когда родился первенец. Как раз дипломный проект подоспел, чертежей много... Жена смеялась: «Твоя доска больше нашей комнаты!» Клали чертежную доску поверх детской кроватки. Алеша поглядывал на меня сквозь боковые сетки...

С тех пор Серго следил за каждым шагом молодого инженера, испытывал, давая поручения, так что Семен Захарович сделался кем-то вроде общественного консультанта ЦКК — РКИ по делам строительным. И теперь Серго предложил ему постоянную работу. Семен Захарович растерялся:

— Мое призвание — наука и строительная практика.

Но с Орджоникидзе не очень-то поспоришь, ежели он взял в толк слово «надо»:

— Мы вас уже знаем, и вы нам нужны.

— Моя стихия — не государственный аппарат, а железобетон.

— Тем более. Пятилетка — сверхстройка. И работа у нас — не помеха научной. Напротив — подспорье. Никаких «но», дорогой. И вот вам первое, как всегда, срочное поручение. Скажите, что вы знаете о Днепрострое?

— О Днепрострое? Ну, как же! Центральное событие в строительстве за последнее десятилетие. Нет, пожалуй, за всю нашу историю.

— Глеб Максимилианович рассказывал, как обрадовался Ильич, когда услыхал от него о проекте Александрова. Шутил: если такие Архимеды идут с нами, мы перевернем землю...

— Но проект, как известно, далеко не всех восхитил. Лишь двое из восемнадцати членов специальной комиссии одобрили.

Да, все было так. И все-таки Дзержинский, тогдашний председатель ВСНХ, не дал зачеркнуть Днепрогэс. Направил проект на экспертизу фирме Купера — и крупнейшие специалисты Америки одобрили. Хью Купер предложил свои услуги. Двадцать второго декабря двадцать шестого года, ровно через шесть лет после того, как Ильич сказал: «Советская власть плюс электрификация...», Совет Труда и Обороны постановил создать управление Днепростроя. Особенно радовало, что постановление требовало строить собственными силами, американцев привлекать только в качестве консультантов. Торжественная закладка состоялась через год — в десятую годовщину революции. Во главе строительства стали звезды инженерии Александр Васильевич Винтер, только что поднявший Шатурскую электростанцию, Борис Евгеньевич Веденеев, завершивший Волховстрой...

— А сколько мы им дали! — вновь заговорил Серго. — При нашей нищете десятки паровых кранов, буровых станков, экскаваторов! И правильно! Днепрострой — не только ключ от будущего, не только университет наш — это еще символ революции созидающей. И вдруг... символ треснул.

— Вы говорите фигурально?

— К сожалению, к великому прискорбию, дорогой, буквально.

— Не может быть!

— Вчера товарищ Сталин вызывал меня. Очень расстроен: не диверсия ли? Подберите себе специалистов, ученых, проверьте на месте — если сможете, помогите.

И Семен Захарович поехал. И проверил. И помог. Постепенно стал одним из ближайших сотрудников Серго, пользующимся его уважением и доверием. Долго еще, много поработают вместе — всю оставшуюся у Серго жизнь. И потом, и во время войны будет Семен Захарович народным комиссаром строительства. И в мирные дни — министром. А пока... Давая советы, уча своему, специальному, Семен Захарович и сам проходит школу Орджоникидзе: смотреть вперед, превращать текучку в перспективную работу. Постичь все, чего достиг мир в твоем деле, овладеть, освоить, сделать лучше.

— Поезжайте-ка, Семен Захарович, в Германию и Америку. Жену возьмите, конечно, и сына — основательно поезжайте. Не разбрасывайтесь, изучите прежде всего наиболее важное для нас: организацию строительства, специализацию, механизацию, нормативные дела...

По праву учит Серго других — потому что сам учится больше других. И строительство — лишь часть его многотрудных забот. О них он сам говорит, выступая на Московской областной партийной конференции через семь месяцев после операции:

— Наше социалистическое хозяйство заявляет, что все предсказания, которые делались до сих пор, неправильны, что его рост идет гораздо быстрее... Наряду с этим громадным нашим ростом мы имеем такие явления, как хвосты у наших кооперативных лавок...

Решением партийной конференции дано задание очистить советский аппарат от бюрократических, чуждых нам и разложившихся элементов. Я вас спрашиваю, товарищи: что вы делаете для того, чтобы это задание выполнить? И отвечаю на это: почти ничего...

А рабочие, знаете, что говорят? Ну, это хорошо, что вы не скрываете эти безобразия, что признаете их открыто, но нельзя ли сделать так, чтобы этих безобразий не было?..

Заседание Политбюро. Обсуждение докладов председателя Высшего совета народного хозяйства и председателя Госплана предстоящему пленуму ЦК об основных показателях экономики на первый год первой пятилетки. Куйбышев и Кржижановский говорили долго, но слушали их с непрерывным вниманием. И теперь, когда Сталин, поднявшись из-за своего необъятного стола, спрашивает, кто хочет высказаться, все молчат. Захватила да, пожалуй, и потрясла картина такого рывка вперед... «Вот бы Ильич порадовался,— думает Серго.— Порадовался ли бы?.. Уж не хочешь ли сказать?.. Хочу».

Слева за просторным, сверкающим чистотой столом — Куйбышев, который всегда вызывает у Серго уважение. На два года моложе, большевик так же, как ты, с мальчишеских пор, тоже поистратил здоровье по тюрьмам, в Октябрьских боях, на гражданской: один легендарный туркестанский поход чего стоит — через пустыню в тыл к белым! Все выдержал, все одолел. Недаром так искренне повторяет строки, кажется, им же написанные в ссылке:

Будем жить, страдать, смеяться,
Будем мыслить, петь, любить,
Бури вторят, ветры злятся...
Славно, братцы, в бурю жить!

Да, большое дерево сильный ветер любит. Вся жизнь Валериана в бурях. Ненавидит кривду, самодовольство, чист и честен, истинно государственный ум, не перестающий совершенствоваться. Куйбышева Серго сменил на постах председателя ЦКК — наркома РКИ. И хотя Валериан Владимирович стал председателем ВСНХ, членом Политбюро, все же смотрит на Орджоникидзе несколько ревниво.

Справа — Кржижановский. Недавно, в связи с чисткой, написал в анкете: «член партии с 1893 года». Незадачливый сотрудник ЦКК изумился: «Но тогда же и партии еще не было».— «Для кого еще не было, для кого уже была»,— ответствовал председатель Госплана. Корифей. Ильич обращался к нему «дорогой друг». Вместе основали «Союз борьбы», разрабатывали первый в истории хозяйственный план...

Соседство докладчиков стесняет Серго. Одно дело — возражать противнику, совсем иное — вот так, товарищам, в упор. Ох, как не хотелось бы обижать их! Сколько сил отдали!..

Первый пятилетний... Еще в двадцать пятом Особому совещанию по воспроизводству основного капитала под председательством Пятакова поручили разработать... Серго опасался, как бы Пятаков не породил пятилетку с перехлестами в «сверхреволюционном» духе Троцкого. Тем более когда Пятаков объявил, что завершен первый научный опыт перспективного планирования,— исполняются дерзкие мечты утопистов. Оказалось, что с блохи шкуру сняли: «сверхиндустриальный» размах Пятакова обернулся куцым планом — устаревшая техника и техно-

логия, черепашьи темпы, мизерные вложения, притом исключительно из бюджета. Не снесла стрекоза орлиное яйцо, что, впрочем, и случается с большинством оппозиционеров, когда они берутся за дело. Справедливо тогда говорил об этом Валериан: «Мы не допустим такого позорного обстоятельства, чтобы партия и правительство на свое рассмотрение получили пятилетку, которая вся проникнута, дышит, пропитана действительным пессимизмом, действительным неверием в возможность развития промышленности у нас». Неудачными стали и вторая и третья попытки. Четвертый вариант разработала комиссия Куйбышева. Предусмотрели и высокие темпы роста и повышение качества производства, создание новых отраслей, внедрение достижений науки, техники. Запланировали и подъем всех районов, республик, чтобы развивать равномерно, полнее использовать общие богатства, побольше брать от самого производства. И это во многом — заслуга Валериана...

За три года его председательства в ВСНХ промышленная продукция увеличилась вдвое. Он выиграл и решающее сражение за первоочередное развитие тяжелой индустрии. Как трудно приходится нашим хозяйственникам, и особенно Валериану, какую сверхчеловеческую нагрузку несет он на своих плечах. Но дело не в чьих-то заслугах и достоинствах, не в наших отношениях, амбициях, жизнях даже. Мы свалимся — другие сделают. Принципиальность украшает биографию и усложняет жизнь... И все-таки... Серго смотрит на увеличенную фотографию Ильича, читающего «Правду», над рабочим местом Сталина.

— Говори сидя,— Сталин притормаживает его движением руки с трубкой.— Сиди, пожалуйста.

— Стоя лучше... Мы старались изыскать в нашем народном хозяйстве те резервы, которые в нем имеются и обнаружение которых нам поможет еще шире развер-

нуть наше социалистическое строительство, еще выше поднять наши темпы.

Куйбышев, сидящий в излюбленной позе: опершись головой на кулак, резко поворачивается как бы навстречу удару, запускает крупную сибиряцкую пятерню в крутую шевелюру. Кржижановский, еще не чувствуя подвоха в тоне Серго, безмятежно спокоен, слегка доволен собою. Сталин перестает набивать трубку, пронзительно, остро косит через плечо — в упор: ну-ка, послушаем... Ворошилов, Молотов, Калинин, Киров, Андреев, Микоян — все, что называется, обращаются в слух. Понимая и чувствуя, что не очень удачно подавляет волнение, Серго повышает голос:

— Обследование нашими сотрудниками черной металлургии, например, показывает, что серьезно продуманного и проработанного пятилетнего плана по металлургии у нас не имеется.

— Митинг! — вспылил Куйбышев.— Доказать надо.

— Терпение, — властно остановил Сталин и кивнул на Серго: — Он слов на ветер не бросает. Слушаем, товарищ Орджоникидзе.

— Можно и доказать. Пожалуйста. В значительной мере преуменьшаете возможности использования наличного оборудования...

— Сам любишь говорить: на одной ладони два арбуза не удержишь.

— Надо. Время такое пришло, дорогой. Погоди, не перебивай. Сто раз ударь, но хоть раз выслушай!.. Недостаточно предусматриваете такого рода рационализаторские меры, как сортировка руд, постройка обогатительных фабрик для спекания руд. Рост коэффициента использования доменных печей намечается за пятилетку лишь в один-два процента. И это в то время, когда кубометр объема доменных печей у нас дает чуть ли не втрое меньше, чем за границей. Так же плохо используются мартеновские цехи.

— Все помнит! — улыбнулся Ворошилов.

— Попробуй забудь! — ответно усмехнулся Серго.— С обрезанными крыльями и орел не полетит... Далее. Капитальное строительство...— хотел сказать «ведете», но зачем же валить все на одного — ведем в высшей степени нерационально. Разбрасываем его по очень широкому фронту, строим очень долго и дорого.

— Что скажете, товарищ Куйбышев? — многозначительно спросил Сталин.— Трудно опровергнуть инженерную аргументацию? Когда успел постичь, Серго?.. У тебя все? Добавить десять минут? Как, товарищи?.. Мы слушаем вас, товарищ Орджоникидзе.

— Да, правдивое слово никогда не приятно, а приятное — редко правдиво.— Серго вздохнул раздумчиво и сочувственно, обращая слова не столько к Куйбышеву, сколько к себе — о своем.— Но большие паруса только сильный ветер может надуть. Несмотря на жестокий голод на чугун в стране, реконструкция Югостали, по пятилетке ВСНХ, предусматривает снос десяти доменных печей...

— Короче! Что предлагаешь?

— Ни в коем случае не сносить! Решительно провести рационализацию подготовки сырья. Повысить коэффициент использования доменных печей процентов на тридцать пять, а не на один-два. Не разбрасывать средства на реконструкцию по широкому фронту, а сосредоточить людские и материальные средства на пяти заводах, не вызывающих сомнений в смысле наибольшей эффективности затрат, а сами работы по реконструкции вести максимально возможными темпами. Подхожу к самому главному, самому важному — созданию второй угольно-металлургической базы на востоке страны.

— «Российское могущество Сибирью прирастать будет»,— Сталин взглядом как бы попросил извинения: больше не перебью.

— Да, еще Ломоносов пророчил! — подхватил Серго.— Правда, он говорил: Сибирью и Ледовитым океаном. Это существенно. Представим войну, пришедшую из Европы, оккупацию Донбасса и Приднепровья, что уже, к несчастью, бывало и в восемнадцатом и в девятнадцатом, когда мы оставались без угля, без чугуна. Между тем дела на Урале гораздо хуже, чем даже на Югостали. Лопата, топор — здесь владыки. Получаемый на древесном угле высокого качества чугун тратится на кровельное железо. Надеждинский завод в день сжигает столько дров, что, если выложить их в ряд, получится стена в метр шириной, в семь метров высотой и в километр длиной. И при таких условиях ничтожное внимание уделяется переходу на минеральное топливо!.. Товарищи с Магнитки докладывали на Совнаркоме, что им нужно в будущем году девяносто шесть миллионов штук кирпича, а для доставки у них имеется девяносто шесть лошадей...

Обо всем этом вновь вспыхнут споры на пленуме ЦК и в партийных ячейках. Политбюро поручит изучить проблему комиссиям специалистов и лишь потом признает позицию Серго правильной. ЦК примет постановление не только строить новое, но и бережно использовать старое — максимально повысить темпы индустриализации. Решение ЦК о развитии металлургии на Урале положит начало созданию второй угольно-металлургической базы. Центральный Комитет увеличит задание черной металлургии так, чтобы СССР поднялся на второе место в мире по производству важнейшего металла.

Но как подняться, если никакой помощи извне, даже, напротив, враждебное окружение, если оппозиционеры суют палки в колеса, называют индустриализацию авантюризмом, а коллективизацию — политикой голода? Как подняться, если гирями на ногах бюрократы, казно-

крады, невежды, нерадивцы, разгильдяи, нытики, вредители?

Ответить должен Шестнадцатый съезд партии. Он открывается двадцать шестого июня тысяча девятьсот тридцатого года в Большом театре. Второго июля с отчетным докладом ЦКК — РКИ выступает Серго. Обращаясь к собравшимся, он время от времени поглядывает на длинный, во всю сцену, стол, за которым сидят крупнейшие люди страны, мозг ее. Там десять лет назад, рядом с тобой, сидел Ильич. Вон туда он ступал, произнося: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация...» Как тепло было в этом насквозь простывшем тогда зале! А теперь... Душновато. Спасибо, что боржом наготове — со льда, бутылка вспотела. Нет, не в июльской жаре причина. Что московская жара кавказцу? Просто тогда ты был, как говорят военные, надежно прикрыт Ильичем, а теперь с тебя первый спрос. Верно, поэтому доклад его — жесточайшая критика хозяйственников.

Суровый на вид, но, в сущности, сердечнейший, отзывчивый и доступный. Человечный и в малом и в большом, скромный. Хотя иногда вспыльчивость его перерастает в резкость, даже в несправедливость, он скоро отходит и не стыдится публично попросить прощения у напрасно обиженного. Но сейчас...

— Работа на заводах здесь шла с какой-то преступной медлительностью... Продолжительность постройки аналогичных судов на германских верфях — десять — двенадцать месяцев вместо наших двадцати шести — пятидесяти пяти месяцев... Спрашивается, почему германские рабочие должны работать лучше на капиталистов Германии, чем наши рабочие на наших заводах, строя свои пароходы?..

— Ввозим громадное количество хлопка, и в этом году из-за того, что мы не могли ввезти того количества,

которое нам необходимо, мы должны остановить наши фабрики... Мы должны принять все меры и как можно скорее расширить посевы...

— Вы знаете, с какой лихорадочной быстротой мы строим наши тракторные заводы, вы знаете, с каким невероятным напряжением мы строим наши автомобильные заводы, вы знаете, какое количество нефти они потребуют. Все дело, товарищи, в том, чтобы решения нашей партии и нашего правительства проводились как следует. А насколько они плохо проводятся, я об этом буду говорить...

И говорит с той пламенной, возвышенной одухотворенностью, перед силой и красотой которой хочется преклониться. Старается довести истину не только до разума, но и до сердца слушающих. Все — для родного дела, все отдай ради него, умри, а сделай. Не зря и не случайно люди разных темпераментов и уровней, переглядываясь, говорят одно и то же: «Кроет крепко, но справедливо». Не просто критикует — показывает пути исправления, верит в возможность лучшего. Критикует, не злорадствуя, не красуясь и возвышаясь, а страдая. Гордится и негодует, надеется и сетует, ликует и скорбит. Его страстная увлеченность, уверенность в будущем внушают желание работать. Он как бы сообщает тебе заряд молодости и силы, поднимает тебя. Всем обликом, всем существом олицетворяет непреходящую юность, достающуюся в награду лишь тем, кто согрет и высвечен великой идеей:

— Убежден, если перед нашими рабочими поставить вопрос, отдавать ли заказ, который мы можем сами выполнить, за границу или оставить у нас, то любой рабочий скажет: ни в коем случае его за границу не отдавать, а сделать здесь, на наших заводах... Почему, например, железные конструкции мы должны ввозить из-за границы? Разве мы не можем их делать? А сколько на-

до было драться, чтобы заставить отказаться от ввоза их! То же самое с прокатным оборудованием и блюмингами...

— Громадный орудийный завод, построенный во время войны Виккерсом, в самом удручающем и возмутительном положении. Ящики с импортными станками свалены почему-то даже не на пол, а на те дорогие и редкие станки, которые уже установлены. Между тем, на мощном оборудовании этого завода можно и должно делать весьма ценные предметы, которые мы импортируем, прокатные станы, аппаратуру для химических заводов, коленчатые валы для дизелей и лесопильных рам, весьма ответственный бурильный инструмент для нефтяной промышленности и крупные карусельные станки...

— Месяц назад я был в Ленинграде и вместе с товарищем Кировым пошел на Металлический завод имени Сталина. Секретарь ячейки этого завода товарищ Семичкин обращается ко мне и товарищу Кирову с заявлением, что если мы ему поможем, то завод может производить гораздо больше турбин, чем сейчас. Для этого потребуется лишь выбросить оттуда производство мелких турбин и перевести завод на постройку турбин только двух мощностей — двадцать четыре тысячи киловатт и пятьдесят тысяч киловатт (эти турбины гораздо больше нам нужны). И такая сравнительно маленькая рационализация даст колоссальнейший эффект.— Отрываясь от текста доклада, говоря по памяти, «от себя», Серго замечал, что Куйбышев за столом президиума слушал с таким же интересом, как все, но по-особому внимательно, будто боясь шевельнуться...

Узнавая с трибуны работников ВСНХ, видел по выражениям их лиц, что они обескуражены, а то и подавлены. Жаль. Конечно, правдивое слово и железо пробивает, но до чего же горько, тяжко, страшно брать на себя роль пробойника! А что поделаешь? Надо.

После заседания Куйбышев первым вышел из театра, сел в черный правительственный «паккард» — не на переднее сиденье, как обычно, а позади шофера. С ним он любил потолковать, но на этот раз... Не произнес ни слова за более чем часовую дорогу.

На даче поужинал стаканом крепкого чаю, резко поднялся из-за стола и ушел к себе в мансарду.

Утром секретарь его Михаил Федорович нашел на стуле у кровати конверт и листок бумаги, на котором было написано, что Валериан Владимирович так и не смог уснуть всю ночь. Если повезет и удастся заснуть под утро, то, пожалуйста, не будите: рабочий день сложится таким образом, что основные дела предстоят во второй половине. А вот письмо, лежащее в конверте, надо поскорее прочитать товарищам...

Срочно вернувшись в Москву, Михаил Федорович собрал в кабинете председателя ВСНХ ведущих сотрудников, прочитал вслух:

— «Я почувствовал, что вы взволнованы выступлением т. Орджоникидзе. Я вот не могу заснуть и решил написать вам выводы, к которым я пришел. Верна ли критика в целом (о частностях не стоит говорить)?.. Верна. Абсолютно верна... Вот представьте себе картину: пахарю нужно во что бы то ни стало вспахать десятину до захода солнца. Завтра будет непогода, завтра уже поздно. Нужно вспахать до захода солнца во что бы то ни стало. Лошадка добросовестная, работает бойко, тянет по совести. Но этого мало...

Мы, хозяйственники, несмотря на добрую волю многих из нас, нуждаемся в такой резкой постановке вопроса, чтобы лучше работать, чтобы достигнуть нужного максимального напряжения...

1) Устами Серго говорит партия, ее генеральная линия;

2) партия, как всегда, права;

3) хозяйственники не должны превращаться в какую-то касту, они должны вместе с партией, помогая ей, вскрыть безбоязненно недочеты и впрягаться в работу;

4) хозяйственники должны самоочищаться и более смело пополнять свою среду свежими пролетарскими силами.

Не надо допустить, чтобы хозяйственники выступили с критикой доклада Орджоникидзе. Если вы согласны со мной, примите нужные меры...

Не унывайте, друзья! Для дела рабочего класса важно не самочувствие хозяйственника, а успех продвижения вперед. Острая постановка вопросов, как бы она ни нарушала благодушное самочувствие, движет вперед,— значит, она благо.

Я плохо написал. Но вдумайтесь, и вы поймете, что интересы партии требуют только такой реакции на доклад т. Орджоникидзе».

ДЕЛО — ЗНАТОКУ, ЖЕЛЕЗО — КУЗНЕЦУ

Съездом развернутого наступления социализма по всему фронту назовут историки Шестнадцатый. Но пока... надо разворачивать наступление. Десятого ноября, назначив Куйбышева председателем Госплана, Президиум ЦИК поручает Орджоникидзе возглавить Высший совет народного хозяйства. Декабрьский объединенный пленум ЦК — ЦКК вводит его в состав Политбюро.

Дон-Кихоту необходим Санчо Панса — Серго Орджоникидзе не обойтись без Анатолия Семушкина. Плечистый, коренастый, прыткий. Крутое скуластое лицо с крупным широким носом, с пронзительно откровенными глазами внушает ощущение основательности, надежной силы. Неразлучны еще с гражданской. Привлекают Серго люди подобного склада — вроде толстовского капитана Тушина, одаренные талантом деятельной порядочности, до-

бросовестной исполнительности, безраздельного служения долгу. Московский ткач, красногвардеец, чекист, Семушкин был приставлен к Серго для охраны. Приглянулся. Выдержал испытания делом. Понимает все не с полуслова — с полувздоха. Официально именуется начальником секретариата, по существу — преданный друг, неотлучный помощник.

В сочувственном сопровождении Семушкина Серго входит в новый кабинет. С чего начать? Переставить мебель? Свистать всех наверх? Распекать, шерстить, переиначивать в припадке реорганизаторского зуда? Зачем так иронично?.. Многое и многих, действительно, придется менять. Надо упростить центральный аппарат? Надо избавить предприятия от опеки по пустякам? Не превращать ВСНХ в вулкан, извергающий на заводы бумажную лаву... Додумать не дал телефонный звонок: Сталин спрашивал, как подвигается строительство Уралмаша.

— Как?.. Стоит полным ходом! — в сердцах отозвался Серго.— Наружные работы до зимы закончить не удалось. Не хватает теплой одежды, валенок, рукавиц. Обморожения. Перебои с продовольствием. Строительную площадку приходится откапывать, песок и воду для бетона — греть. То и дело пожары, возможно поджоги. В октябре план выполнили меньше чем наполовину. Сейчас маленько полегче. Сто восемьдесят два лучших рабочих вступили в партию — организация удвоилась...— Ему показалось, что он видел, как, несмотря на лютый мороз, идет монтаж завода заводов. В недостроенных, без крыш, цехах монтажники бережно распаковывают ящики с драгоценным оборудованием, устанавливают заиндевелые станки на ощетинившиеся инеем фундаменты. Наверно, возле металлических глыб стужа сильнее, чем в поле? Сто́ит прикоснуться к ним голой рукой — и пальцы тут же прихватывает. Но люди работают.— Да,— вздохнул Серго, словно пожаловался,— до идеала еще далеко...

— Возьми под личный контроль,— отозвалась трубка,— каждый день докладывай.

И пошло. Телефоны дребезжали на разные голоса — одинаково истошно и настырно. Сотрудники рвались по неотложным делам. Каждого приходилось удовольствовать, успокоить хотя бы улыбкой:

— Живой осел все же лучше мертвого философа... Если дашь человеку рыбу — он будет сыт один день, если научишь ловить рыбу — он будет сыт всю жизнь...

А вот от этого уже не отшутишься:

— Товарищ Орджоникидзе! Для реконструкции Макеевского завода блюминг надо заказывать за границей, а с валютой, сами знаете.

— Неужели нельзя построить на замечательных заводах Питера, на Ижорском, скажем? Разве мастерами оскудели? Рук нет?

— Руки — золотые, а... Конструкторы-то в тюрьме.

— О, черт подери!.. Что, если просить ГПУ выпустить на поруки? Пусть бы работали под конвоем... Фамилии?

— Тихомиров, Неймаер, Зиле и Тиле.

— Записал, Анатолий? Соедини с Менжинским...

И все-таки надо отринуть текучку. Мечтать! Думай, Серго, так, чтобы не сказали о тебе: среди слепых и одноглазый — полководец, или: ничего плохого в жизни сделать не успел. Только не посредственность! Ты честолюбив. Мечтаешь и стремишься стать лучше других. Да, да! Не прибедняйся, не петляй душой.

Семушкин скрипит сдавленным сиплым баском:

— Предупреждал Ильич, что хозяйственное строительство — бескровная и длительная война, потребует не меньше, а больше геройства, чем вооруженная борьба.

— Н-да-а... Бескровная ли?..

У Семушкина хроническая болезнь горла, которую Максимович обещал излечить, да вот все недосуг. Надо будет настоять...

Серго оглядывает громадный кабинет, касается батареи отопления, греет левый, раненный Федоровым бок. Еще одно «надо»! Пока что тепло дает сюда обычная кочегарка, а не МОГЭС, от которой только начали прокладывать трубы. Недопустимо так медленно внедрять достижения науки. Хм!.. К этому достижению, кстати, причастен и Глеб Максимилианович: наши ученые первыми выдвинули идею теплофикации — централизованного комбинированного получения электричества и тепла. Сколько тепла надо стране! Как до́лжно беречь каждую пылинку угля, каждую капельку нефти! А тут: высочайшая экономичность, культура производства и потребления, не приходится развозить топливо по котельным, чище воздух в городах, теплее в домах... Стоп, стоп, стоп! Вот главное...

Наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека. Кто это сказал? Антон Чехов? И я это говорю. Всюду, везде есть свои Федоровы. Академик Губкин, например. Помню его по работе в Баку. Спроектировал, как скорее и лучше возродить промыслы, вместе с Серебровским проводил в жизнь... Потом открывал залежи Курской аномалии, богатейшие месторождения нефти между Волгой и Уралом... А Лебедев? Предложил метод производства синтетического каучука, который признан лучшим на международном конкурсе, проведенном ВСНХ. Наконец-то избавимся от кошмаров резинового голода... А Крылов?! Легендарный академик. Патриарх и любимец флота. Царский генерал, единодушно избранный начальником советской Морской академии. Выдающийся математик, механик, астроном, кораблестроитель, изобретатель, автор учебников, основоположник современной теории корабля, с благодарностью принятой во всем мире... Уже вносит свой вклад в наше строительство: придумал, как перевезти, и перевез морем тысячу паровозов, заказанных в Швеции и Германии... Заполучил военные

корабли, угнанные Врангелем... Проектировал и строил первые отечественные линкоры типа «Севастополь», первые советские лесовозы и танкеры. Крылов — наш Ньютон. Академик Вернадский — наш, можно считать, Леонардо и Ломоносов разом — предсказывает век использования внутриатомной энергии, несмотря на то, что крупнейшие ученые отрицают такую возможность. Кто знает?.. Кто окажется прав?.. А еще у нас есть Чаплыгин! Вавилов! Карпинский! Вильямс! Комаров! Бах! Прянишников! Павлов! Обручев! Циолковский! Горький — да, именно Максим Горький, первый академик по разделу человекознания, человековедения... Да если такие Архимеды придут к тебе, Серго!.. Мир не знает пределов, не знает, до чего дойдет человеческий ум, человеческий гений в борьбе за овладение силами природы. Наши ученые, наши научно-исследовательские институты будут в передовых рядах. Да будет так!

— Слушай, Анатолий, я поручу научно-техническому управлению собрать совещание ведущих ученых, а ты помоги провести на должном уровне. Понимаешь, дорогой? На достойном большевиков уровне. Пожалуйста, не вздыхай тяжко. Знаю, и без того за троих везешь. Но я не спрашиваю, трудно ли. Я говорю: надо.

И вот Архимеды входят в кабинет председателя Высшего совета народного хозяйства, где уже собрались ведущие сотрудники.

Первым тяжело несет себя согбенный старец в очках. Кажется, все лицо — очки да седая бородка. Просторно в черном, былых времен, пиджаке: старость, как редкое сито — многое просыпалось и очень мало осталось. Но старость может быть и красива? Едва ли...

Президенту Академии наук восемьдесят четыре. Родился при Гоголе, пережил четырех царей, пять войн,

работал с Менделеевым. Маститые киты науки, у которых на двоих до пяти точек зрения, единодушно сходятся в том, что капитальные труды и важные открытия позволяют признать Карпинского не просто основателем русской геологической школы, но и прославленным мировым ученым. Благодаря доброте, правдивости, благожелательности он снискал уважение и ближайших сотрудников, и многих, кто о нем лишь слышал или читал. Анекдоты рисуют его человеком трогательной интеллигентности. Едет он в трамвае, женщина уступает ему место: «Что вы, голубушка, я постою, я хоть короткий, да зато устойчивый». И лишь после категорического приглашения сдается. Но тут входит пожилая молочница. Он ерзает, смотрит виновато: «Не считайте меня невежливым, я бы вам уступил место, но мне самому его только что уступила вот эта дама». Вновь избранных академиков прежде встречал так: «Что вы, голубчик, меня высокопревосходительством величаете? Я — Александр Петрович, заходите запросто во всякое время».

Первый выборный президент Российской Академии, почетный член многих иностранных обществ и академий Октябрь принял сочувственно, стал перестраивать работу так, чтобы наука служила революции. И все же не верится: по плечам ли ему новая ноша, хватит ли его, чтобы возглавить изучение производительных сил такой страны, поставить их на службу национальному подъему?

Тем временем Карпинский представлял пришедших:

— Вице-президент Глеб Максимилианович Кржижановский. Академик Губкин Иван Михайлович. Горбунов Николай Петрович. Их, надеюсь, не надобно аттестовать?

Серго особенно обрадовался Горбунову. Теперь Николай Петрович работает в Госплане, а с Октября молодой ученый был любимым помощником Ильича, секретарем Совнаркома и личным секретарем, так много сделал для науки...

— И Веденеев с Винтером вам известны? — продолжал президент.

— Наши днепростроевцы...

— И наши, быть может, в не меньшей степени.— Президент сделал особое ударение, не оставлявшее сомнений в научной ценности строительных работ.— Убежден, в не столь отдаленном будущем оба станут академиками. Не сомневаюсь! — И продолжал представлять: — Академик Ферсман Александр Евгеньевич, выдающийся минералог, один из основоположников геохимии. Открыл Хибинское месторождение апатитов, где мы уже добываем, как любят говорить газетчики, камень плодородия. За то ему поклон и премия имени Ленина...

А это член-корреспондент Павлов Михаил Александрович. Полагайте его основателем нашей школы доменщиков...

Член-корреспондент Байков Александр Александрович. Стезя и стихия — стали высокого качества: орудийные, инструментальные, шарикоподшипниковые. Последняя работа «Физико-химические условия производства огнеупорных изделий». Не кручиньтесь, Григорий Константинович, голубчик! Знаю, ввозим огнеупорный кирпич для домен и мартенов из Чехословакии. И беда и вина тут наша. Но Александр Александрович за всех за нас вскорости ответит перед пятилеткой...

Профессор Федоровский Николай Михайлович. Да, старый партиец, ревкомовец. И заметьте, участвовал в основании и становлении Московской горной академии, где возглавил кафедру минералогии. Ныне — директор... Чего вы директор, Николай Михайлович? ВИМС... В переводе на русский это, верно, означает Всесоюзный научно-исследовательский институт минерального сырья.

Далее. Эргард Викторович Брицке. Член-корреспондент. Химик и металлург. По его, а также Самойлова и Прянишникова почину еще в восемнадцатом учрежден

Институт прикладной минералогии, преобразованный затем во Всесоюзный институт минерального сырья, о коем только что говорено. Ведет физико-химические и технологические исследования в области переработки металлургического сырья, фосфатов, природных солей, иного минерального сырья. Ратует за комплексную химизацию народного хозяйства, за то, чтоб урожай в существенной мере своей рождался индустрией...

Наконец, вот, пожалуйста, академик Архангельский Андрей Дмитриевич. Прирожденный геолог. Лауреат премии имени Ленина. Что его интересует? Трудненько перечислить. И еще труднее назвать, что не интересует...

Всех президент называл с добрым расположением, с интересом влюбленного, всеми гордился как бы от имени рода людского, но больше других любил Архангельского: хоть и не ученик, но последователь, продолжатель. Сразу было заметно, что любимец, по тому, как поддерживал под локоть, улыбался во все очки, по тому, как молодцевато вскидывал голову, встряхивая белой копешкой волос, и по тому, что закончил тираду об Архангельском, очевидно, ревнуя к славе Губкина:

— Вместе с Иваном Михайловичем руководил изучением Курской магнитной аномалии. Вместе поднимали и ставили Горную академию. Так что, не говоря о почтенном ее ректоре,— кивок в сторону Губкина,— не худших отрядили мы в первый советский, как это «ругают» нынче, вуз. Я бы сказал: в альма-матер молодых ученых-большевиков. И вот вам, пожалуйста, результат в лицах.— Указал взглядом на трех молодых людей, теснившихся у дверей.— Подойдите, голубчики. Впрочем, Иван Михайлович их лучше представит.

— С радостью.— Губкин одернул коротковатый пиджак, оправил галстук, явно мешавший ему.— Вот это Иван...— запнулся, но выговорил, густо, по-владимирски окая: — Тевадросович Тевосян.

— Вано! — обрадовался Орджоникидзе.— Я тебя не узнал! Богачом будешь.

— Уж он будет! — Губкин скептически усмехнулся.— Бакинские товарищи оборудовали его для учебы в Москве лисьей шубой — он ее отдал больному соседу по общежитию. Между прочим, там, с ними, был и Саша Булыга, ныне Фадеев. «Разгром» написал, роман. Так Тевосян и пробегал все зимы вот в этой самой кожаной кацавейке. Он в ней, кажется, родился...

С доброй улыбкой Серго разглядывал Тевосяна. Щупловат, но крепко сшит. Иссиня-вороные, гладко зачесанные назад густейшие волосы. Острый и вдумчивый взгляд, пристально ожидающий, даже настороженный свет в глазах: «Ну-ка, мир, чем удивишь?» Серго знал его по работе в Баку. В партии Тевосян с шестнадцати лет. И к двадцати восьми успел не так мало. Воевал за Советскую власть в Азербайджане: секретарем подпольного комитета, потом районного, уже не подпольного. Вместе с ним, тогда девятнадцатилетним, были избраны на Десятый съезд партии. Прямо со съезда в числе других делегатов Вано отправился штурмовать мятежный Кронштадт. Потом продолжал партийную работу, окончил Горную академию, пошел рядовым мастером на «Электросталь», вытаскивал завод из прорыва. Думается, не только аскетическая скромность, неумение и нежелание обременять собой других привлекают в нем, но прежде всего неистовое трудолюбие, отличающее натуры высокоодаренные. Когда о молодом работнике говорили «человек долга и чести», Серго вспоминал Тевосяна. Каждое мгновение Вано стремится приносить пользу, словно знает, что не так-то много будет их ему отпущено, мгновений.

— Вы расскажите, как он у Круппа...— это напомнил худощавый молодец, очень сосредоточенный, очень, видать, обязательный и дотошный. В добротном немецком костюме, в белоснежной сорочке, наутюженной женой.

(Только жены так безукоризненно утюжат.) Весь какой-то опрятно-домашний, ухоженный, готовый к немедленному действию. Сразу возбудил симпатию и доверие.

— Емельянов Вася,— представил Губкин,— извините, Василий Семенович. Оставлен при лаборатории электрометаллургии. Сказанное о Тевосяне применимо и к нему. Недаром друзья. Вместе в гимназии, вместе в подполье, вместе были командированы стажироваться в Германию. Быстро овладели немецким. Лезли всюду и везде — и куда пускали, и паче куда не пускали, только б выведать секреты лучшей в мире стали. Понятно, крупповские мастера не больно-то спешили делиться... Знаю Емельянова и Тевосяна, потому утверждаю: за границей развлекались не по кабакам-шантанам, а у мартенов, блюмингов, анализаторов... Теперь прошу обратиться к следующему. Он — самый старший из троих, ему стукнуло двадцать девять...

— Завенягин. Знаю,— кивнул Серго.— Уже встречались по делу.

— Я бы определил Авраамия Павловича как человека исключительно ранней зрелости,— говорил Губкин,— государственной, если хотите, мудрости. Горная академия, как известно, основана по декрету Ленина. Первый набор — партийная молодежь с фронта. Нас не удивляли студенты, которые год назад были комиссарами дивизий, секретарями губкомов. Но Завенягин как-то, знаете, выделялся, пусть не обидятся остальные... Большевик с семнадцатого, к двадцати годам успел поработать секретарем укома в Юзовке. Студенты звали его не иначе как по имени-отчеству. Потребовался мне в помощь проректор — кого выбирают студенты?.. Лаборатории в плачевном состоянии — что предлагает проректор Завенягин? Возьмем заказы от московских заводов на восстановительные работы — и им поможем, и сами оборудуемся на заработанные средства... Буквально через несколько

месяцев в академии загудели станки, приборы, приспособления для опытов по обогащению руд и углей, начались исследования производства свинца, латуни, ферросплавов, алюминия...

«А что,— думал Орджоникидзе,— не назначить ли Завенягина директором Гипромеза? Ты — сумасшедший! Доверить Институт по проектированию металлургических заводов человеку, который вчера сидел за партой!.. Риска боишься? Спокойной жизни ищешь, а она в прошлом веке закончилась — нам одно беспокойство осталось. Тебе сколько было, когда Ильич доверил организовать Пражскую конференцию? Двадцать пять... Стоп! Кажется, недурная прорезалась мысль?.. Вырастить руководителей по принципу: коммунист, ученый, хозяйственник в одном лице... Академики, профессора в директорских креслах, в наркомовских...— Оглядел трех молодых ученых, словно предчувствуя славное будущее, предстоявшее им.— Завенягина — директором Гипромеза?.. Тевосяна и Емельянова — совершенствоваться дальше?.. Пусть опять едут в Германию, Америку...— Вновь оглядел их по-отечески, как Тарас Бульба, оценивая пригодность к ратному делу.— Растить! Денег нет, говорите? Последние штаны снимем. Наша будущая интеллигенция должна дать духовную пищу народу, стать культурным его вождем, истинной солью земли...»

Гости проходили на отведенные места, косились в сторону обширного стола, занятого тарелками со всевозможными бутербродами и бутылками. Расстарался Семушкин! Даже апельсины добыл — должно быть, на торгсиновской базе. Хотя в детстве Серго привык к пышности застолий, нынешнее вместе с удовлетворением хлебосола и смущает: в стране карточная система. Упрекающе помнится нарком продовольствия Цюрупа, голодавший, как все. Но, с другой-то стороны, времена иные. И не для себя Серго выставил яства с напитками. Его,

на жестокой диете, все это лишь дразнит. Наши ученые достойны большего. Недаром Ильич, заведомо зная, что большинство входивших в Комиссию по электрификации враждебны Советской власти, все же определил им боевой красноармейский паек — значительно лучше того, что получал сам.

Серго предупредительно усаживает Карпинского на председательское место, спохватывается: не слишком-то приятны старику заботливые напоминания о его немощи: сопротивляется, ярится, пододвигает стул Серго поближе к своему, дескать, на равных будем. Но не ускользнуть уж из лап радушного хозяина.

— Дорогие товарищи! Рад приветствовать в стенах учреждения, которое впервые в истории...— «Что за тон? К чему это бахвальство?» — Социализм — это общественное производство, управляемое общественным предвидением...— «Зачем агитируешь академиков за колхоз?!» — Настоятельная потребность времени — связать науку с производством. Время с теми, кто идет вперед...— «Не то! Говори человеческим языком».— Досадуя, привычным взмахом руки, сжатой в кулак, Серго как бы перечеркивает все предыдущее, начинает снова: — Мы пригласили вас, чтобы вместе помечтать... Давайте, как Ленин, помечтаем... с карандашом в руке. Что уже разведано так, чтобы строить рудники и шахты? Что и где разведать, куда бросить ударные отряды геологов? Какая нужна металлургия, химия, энергетика? Вам первое слово, Александр Петрович.— Уже не сдерживает, не опекает старика: хочет говорить стоя — пусть говорит стоя!

Начинает президент издалека. Рассказывает, как фермеры запросили у Дарвина помощи: катастрофически упали урожаи красного клевера. Великий ученый порекомендовал завести побольше кошек. Что это — насмешка гения? Или точное знание? Красный клевер опыляется только шмелями. А шмелиные гнезда разоряют мыши,

которых развелось множество. Почему же в округе мало кошек? Да потому, что резко сократилось число старых дев и засидевшихся невест по причине возвращения солдат с войны. Но это кстати.

А Серго усмехнулся: недурной пример диалектики. Слушать старика приятно, а наблюдать за ним интересно. Может, верно, старость бывает красива и полна наслаждений, если уметь ею пользоваться?

Карпинский меж тем разошелся:

— Великая сила в интеллигенции, умеющей честно чувствовать, думать, работать. Производство всегда представляло интерес для ученых, но и само получало от них немалую выгоду. Ньютон, к примеру, был назначен управляющим Монетного двора и быстро увеличил выпуск монет в восемь раз по сравнению с тем, что его предшественник считал пределом... Алексей Николаевич Крылов сделал, на мой взгляд, прелюбопытнейшие переводы из тридцати томов корреспонденции Наполеона. Вот некоторые со мной, извольте... «Я приглашаю ученых объединиться и представить мне свои соображения о мерах, которые надо принять, или о нуждах, которые они испытывают, чтобы придать наукам и искусствам новую жизнь и новое существование». Сенаторами, пэрами Франции, министрами стали Карно, Лагранж, Пуассон, Бертолле, Фурье, Лаплас, Вольта и другие небожители. Готовясь к завоеванию Египта, Наполеон образует при армии комиссию, в которую входят крупнейшие астрономы, математики, химик, археолог, воздухоплаватель, издает декрет, предписывая академии сделать обзор успехов науки и искусств с момента Великой французской революции, впредь практиковать такие обзоры в торжественной обстановке. Устанавливает ежегодную золотую медаль в три тысячи франков за лучший опыт по гальванизму и в шесть тысяч за открытия в области электричества и магнетизма, предвидит исключительную роль этих, едва

еще замеченных сил природы: «Моя цель состоит в поощрении, в привлечении внимания физиков на этот отдел физики, представляющий, как мне чувствуется, путь к великим открытиям»...

Каждое слово Карпинского Серго воспринимал как напутствие, откровение и... упрек. Разве не ясно, что он хочет сказать, так нажимая на дела Наполеона? Тонкий, деликатный человек. Не напоминает прямо: «Ленин завещал вам, чтобы наука не оставалась мертвой буквой или модной фразой, чтобы действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом, а вы...» Но разве мало мы сделали и делаем для науки? А разве много по нашим загадам-размахам? Разве много, если престарелый президент ездит у нас на трамвае? В каких условиях он живет? Как питается? Не знаешь, а должен знать.

Оглядел ученых в их весьма скромных одеяниях. Брицке был в далеко не новой гимнастерке. Хм... Вспомнил о подписке на заем индустриализации, как люди отрывают от скудного заработка отнюдь не лишние крохи. Полунищие держатели ценных бумаг, обеспеченных далеко еще не гарантированным благом отечества...

До чего глупы или — хуже! — злонамеренны те, кто противопоставляет «простому народу» интеллигенцию. Термином «человек труда» вроде бы выносят за скобки учителей, врачей, академиков. Будто они не работают на пятилетку! Будто вообще у нас возможен «человек не труда»! Ах, умница Горький! Как хорошо написал в «Правде» об ученых! «Я имел высокую честь вращаться около них в трудные 1919—1920 годы... Наблюдал, с каким скромным героизмом, с каким мужеством творцы русской науки переживали мучительный голод и холод, видел, как они работали и как умирали. Мои впечатления за это время сложились в глубокий и почтительный восторг перед вами — герои свободной, бесстрашной, ис-

следующей мысли. Я думаю, что русские ученые, их жизнь и работа в годы войны и блокады дали миру великий урок мужества и выдержки». Ай, молодец! Не случайно Алексей Максимович называет интеллигенцию ломовой лошадью, впряженной в тяжкий воз российской истории. И недаром во все времена — повсюду! — народ почитал интеллигенцию. Весть о прибытии доктора Пирогова в села распространялась звоном церковных колоколов...

Ощутив некое беспокойство соседа, Карпинский расценил его по-своему:

— Покорнейше прошу извинить за столь долгое предварение, но... Тот же Алексей Николаевич Крылов представил в академию доклад, где справедливо сетует, что вредоносное заблуждение о несовместимости теории и практики сказывается и посейчас. Разрешите указать хотя бы на учет и планирование, напоминающие мне статистику того исправника, который в графе «свободные художники» написал: «Ввиду заключения конокрадов Абдулки и Ахметки в тюрьму, свободных художников во вверенном мне уезде нет». Да-с... Теперь позвольте изложить точку зрения на богатства Русской платформы, изучению коих посвятил жизнь. Хорошо бы карту, голубчик.

— Она позади вас. Пожалуйста.

— Прекрасная карта! Извольте проследить границы этого обширнейшего участка земной коры... К древнему докембрийскому складчатому кристаллическому основанию приурочены главным образом месторождения руд: Криворожское, Курская магнитная аномалия, думаю, следует всерьез копнуть и гнейсы и чарнокиты западной Башкирии, Татарии... Присутствие кристаллического основания под осадочными толщами Русской равнины честь имел доказать ваш покорный слуга в восемьсот восемьдесят седьмом. Современное представление о Русской платформе, или плите, введено и обосновано Андреем

Дмитриевичем Архангельским, присутствующим среди нас и с вожделением взирающим на бутерброды... К осадочным породам и структурам осадочного чехла приурочены различные весьма богатые месторождения. Нефть и газ в отложениях Поволжья и Приуралья, что блестяще доказано Иваном Михайловичем Губкиным. Прослои горючих сланцев... Каменная соль... Гипс и ангидрит... Калийная соль... Марганцевые руды Никополя... Мы владеем половиной чернозема планеты, несметными запасами минерала номер один, как теперь стали называть воду. Но она же и хлеб наш насущный...

Речь президента задела, поощрила. Выступили все. Каждый говорил интересно, густо о том, что его волновало, но только его, и потому, что называется, дул в свою дуду, а хотелось объединить усилия, направить в главное русло. Что, если прибегнуть к излюбленному приему Ильича, который нарочно выдвигал доводы противников, будто бы свои собственные?

— Хорошо,— как можно равнодушнее вздохнул Серго,— но...— и сделал качаловскую паузу, чтобы позволить слушателям оценить весомость этого «но».— Тут предлагалось построить железную дорогу в обход Байкала с севера к Тихому океану и до Якутска, начать разработки Курской аномалии, поставить сверхгидростанции на Волге, Ангаре, Енисее, даже Колыме. Но! Возможно ли это?

Глеб Максимилианович, крепенький, седенький взвился над столом, словно пружина взметнула, даже показался выше ростом:

— «Возможно ли»?! Вы ли это произнесли, товарищ Серго?! — Первым клюнул! — Да еще в восемнадцатом Ильич отрядил меня в Жигули изыскать возможность строительства гидроцентрали. Не забуду и восьмое мая двадцатого года. На юге Деникин и Врангель. Киев захвачен пилсудчиками. В центральных и северных губерниях

вводим военное положение. В Москве горят артиллерийские склады, под Москвой — торфяники. А на заседании нашей комиссии обсуждается доклад о водных силах Ангары и возможностях их использования: «Участок реки выше села Братского имеет все данные для развития... Долина Ангары и прилегающие области богаты железом, золотом, каменным углем...» Для нас не стоял вопрос «возможно — невозможно». Мы, как вы призываете, товарищ Серго, с карандашом в руках: бетона потребуется столько-то, полная стоимость такая-то, сверхмощность гидроэлектрических установок такая-то. К докладу приложили карту, на ней обозначили одиннадцать створов, пригодных для строительства. Выше Иркутска, у Братского, Усть-Илима... А вы, товарищ Серго...— И сел рядом с Горбуновым столь же стремительно, как поднялся.

Бурно пламенный всплеск Глеба Максимилиановича пришелся как нельзя кстати, сделал больше, чем Серго замышлял. Захотели высказаться — уже вторично — все. Но Карпинский, косивший на Серго недоверчиво, первое слово дал Архангельскому.

— Весьма сожалею, что по нездоровью не присутствует Владимир Афанасьевич Обручев,— начал тот, теребя смоль бородки.— Тем не менее всем известны труды Обручева, делающие честь академии вообще и цивилизации Сибири в особенности. Обручев — признанный лидер исследователей Восточной Сибири. Недаром председательствует в нашей академической комиссии по изучению вечной мерзлоты. Утверждает: «Будем строить там из бетона и кирпича!» Работы Обручева позволят прогнозировать месторождения, то есть вести поиски не наугад, а наверняка. Эх, богата Сибирюшка! Жаль, нет нефтяной жемчужины в ее короне.

— Позвольте! — обиженно перебил Губкин.

— Помилуйте, Иван Михайлович! Где доказательства?

— Пока никаких. Лишь интуиция. По-ка!

— Интуицию в цилиндры не впрыснешь.

— Престранно слышать от академика! Даже открытия дифференциального, интегрального исчислений невозможны были бы без фантазии. Нет, это не я вам говорю — это Ленин говорит.

Карпинскому пришлось вмешаться:

— Иван Михайлович! Голубчик!

Но Губкин не унимался:

— Именно Ленин поддерживает и обнадеживает, настаивая на том, что фантазия есть качество величайшей ценности. Припомните опыт этого же Александра Евгеньевича в Хибинах. Припомните нашу одиссею с Курской аномалией, со Вторым Баку, как теперь величают самые заклятые оппоненты. А ведь совсем недавно читали отходные: «И нет и быть не может». Ан на-кась выкуси!

— Коллеги! — президент не на шутку вспылил, даже по столу прихлопнул ладошкой, чего Серго уж никак от него не ожидал.— Прошу подбирать выражения.

И все послушно утихли.

Когда сообща доложили о работах Обручева, Карпинский попросил выступить Байкова, Павлова и Федоровского. Все трое, точно заранее условились, заговорили не о своих успехах, а об открытиях молодого геолога Урванцева и его жены:

— Вблизи Норильских озер целый рудный район!.. Свадебное путешествие молодой четы — он и она одержимы Севером... Экспедиция была отряжена еще Лениным, работала с девятнадцатого по двадцать шестой в жесточайших условиях, наперекор, казалось бы, непереносимым лишениям...

— Нашли никель! Кобальт! Медь! Такие попутчики, как серебро, платиноиды! Считайте, подарили нам станки, автомобили, пушки, броню, авиацию, флот, часы, всевозможные приборы...

— Без преувеличения! Качественной стали нет без полиметаллов, хрома, никеля. Надо строить там заводы!

— За Полярным кругом?! Снег лежит, не та́я, двести сорок четыре дня в году. Среднегодовая температура — минус десять. Дорог никаких...

— Построим от Дудинки!

— От зимовья?

— Зимовье станет городом, портом!

— По тундре, по вечной мерзлоте — рельсы?!

— Невозможное могут только люди.

Тевосян заговорил о немецких прокатных станах, до которых нашим пока, к сожалению, как до неба. Но у нас есть двадцатишестилетний энтузиаст Саша Целиков. Два года назад окончил МВТУ, бывалые прокатчики поражаются дельности, изяществу его изобретений. Он еще и Круппа за пояс заткнет — вот увидите! Вообще стоило бы обратить особое внимание на МВТУ. Там учатся такие ребята, как Слава Малышев, например...

Емельянов напомнил об академике Иоффе и Петре Капице, работающем пока в Англии у Резерфорда. Поставил в пример германских промышленников, которые, ой, как следят за каждым шагом физики. Может, и нам пора бы оценить ее по достоинству, не пробрасаться бы, собрать для начала своих физиков, послушать их?..

Завенягин тактично доказывал товарищу Серго, что мы, будучи родиной электрической сварки, непростительно отстаем в этом деле. Кувалдой клепаем домны, подъемные краны, корабли. А между тем в Киеве работает Евгений Оскарович Патон — в условиях, не достойных того, что замыслил. Но работает и уверен: будут у нас цельносварные домны, нефтепроводы, подводные лодки, танки, мосты. Вот бы создать институт электрической сварки во главе с Патоном!..

Словом, и академики и молодежь стеной встали против Серго-маловера. При этом они по почину самого прези-

дента (хлопнул с Серго за компанию фужер боржома) не забывали о бутербродах. Отлично! Кто так здорово ест, тот и работник. Только Тевосян сидел, как именинник, с укором поглядывал на товарищей, работавших челюстями не хуже академиков. Серго передал ему записку: «Слушай, кацо! Если у тебя больной желудок, я попрошу принести что-нибудь диетическое». И Тевосян, спрятав записку в портфель, от души налег на бутерброды.

Орджоникидзе радовался, что замысел его, кажется, удается, и не спешил разоблачить себя: «Пусть убеждают, уговаривают заскорузлого сановника». Записывал, боясь упустить хоть что-то. Поглядывал на ученых признательно. Да, бесспорно, нет ничего невозможного для людей. И чем человек просвещеннее, тем помыслы его значительнее, тем он полезнее. Жаль, что так мало вмещает кабинет. Надо в Колонном зале собрать — со всей страны. Газеты привлечь. Кино. Радио. Пусть светлые мысли великих станут достоянием всех.

На молодых он смотрел так, точно знал уже, что Тевосян станет командармом всех прокатных станов, мартенов, домен — народным комиссаром, министром черной металлургии, заместителем Председателя Совета Министров... Емельянов — главой Государственного комитета по использованию атомной энергии, крупным ученым... Завенягин — строителем города за Полярным кругом, Норильского горно-металлургического комбината, министром, заместителем Председателя Совета Министров, дважды Героем Социалистического Труда... Конечно, никто ничего подобного еще не знал и не мог знать. До этого было далеко: целая жизнь. Но это носилось в воздухе, этим была пропитана атмосфера кабинета. И в ней работалось вольготно, вдохновенно. Все говорили пристрастно, даже трепетно, ревнуя к делам, за дела, чувствовали, что сейчас происходит что-то решающее, а возможно, и главное. Может, судьба каждого сливается, сплавляется с судьбой страны.

Сообща за несколько дней набросали примерный, в общих чертах, перспективный план. В первую очередь строить в Кривом Роге, на Урале, в Керчи, в Сибири, Казахстане. Не забыли Грузию с чиатурским марганцем, Армению с ее горами из меди. Затем дальний прицел. Сквозь него видеть будущее. Все нанесли на карту. Экономически обосновали. Дали в ЦК. Там одобрили: действуй, Серго, согласно выработанной программе...

С тех пор крупнейшие ученые стали первыми его друзьями и советчиками. Он улыбался, когда они приходили к нему. Да, черт подери, мир создан для хороших людей — плохие лишь подтверждают это. Дураки — все, кто жадничают, суетятся, толкают друг друга в погоне за символами и гребут, гребут к себе, под себя, как куры. Умные — пекутся о благе всего человечества. Только в этом истинное наслаждение и счастье.

Еще в девятьсот шестом, едва только выпустили из тюрьмы на поруки, Серго укатил в Берлин. Мечтал получить там образование. И больше всего влекло электричество — чудо, освоенное девятнадцатым веком, подаренное двадцатому. Помнит, как пытался поступить в электротехническое училище, но не хватило денег на уплату за учебу. Чтобы получать стипендию, необходимо было свидетельство о бедности, а его из дому не присылали: старшина, отец Мэпи, не выдавал для крамольника да еще беглого. И все равно учился! Умные люди говорят, что даже недолгое пребывание в другой стране равнозначно университету. Может, и есть тут известное преувеличение, но умные люди знают толк в жизни...

С каким радушием, с какими сочувствием и надеждой посылает он за рубеж лучших своих инженеров! Толк будет. Будет. По себе знает, хотя бы по своим письмам Катие, Папулие, дяде. «Берлин — город огромный, с кра-

сивыми садами, в которых воздвигнуты памятники здешним всевозможным тиранам, начиная с XII века. Это портит естественный вид здешних садов... Чувствую я себя хорошо. Хожу по магазинам, прислушиваюсь к говору на немецком языке. Теперь уже сам могу купить хлеб, бумагу, марки... Хожу к преподавателю. С трудом могу читать и писать. Это пока...» Поистине захватило его торжество воплощенного в бетоне и стали труда, и не мог он не делиться с близкими тем, что «на широких улицах совсем не видно земли — всюду асфальт. Нельзя представить себе движение: это нужно увидеть собственными глазами. Все мчится очень быстро, но в то же время соблюдается строгий порядок. Электрический трамвай, автомобили, экипажи несутся как ветер, но жертв на улице нет. Железная дорога проходит над крышами домов, очень часто двухэтажных. Поезд ходит вокруг города. Имеется больше пятидесяти станций. На каждой остановке поезд стоит две минуты. Нужно быть молодцом, чтобы успеть сесть в вагон. Есть еще поезда, которые движутся, как и трамваи, электричеством. Пути проложены под землей. От электрического света светло...»

Кто знает, может, еще тогда сыну привольных нагорий привиделись образы небывалых поселений, вихревые ритмы индустрии, индустриализации — смысл и цель собственной судьбы?

Разве не счастье — от души делать дело, изо дня в день выполнять необходимую будничную работу? Разве не это — наивысшее счастье и подвижничество, самое трудное, самое важное, самое нужное? Конечно, выпрыгивать из горящего аэроплана — героизм, и не малый, но куда больший — делать такие аэропланы, которые не загораются в полете...

Во главе промышленности Серго стал в решающий, труднейший и сложнейший момент. За тридцатый год были начаты основные стройки пятилетки.

Когда с конвейера сошел первый трактор и выкатил на площадь, там его ожидали двадцать тысяч сталинградцев. Каждый хотел потрогать «нашу машину». Целовали, гладили так, что стерли всю краску. Потом, чтобы отправить в подарок открывавшемуся через девять дней съезду партии, первенец пришлось красить заново. А тогда... В Центральный Комитет полетела телеграмма:

«Сегодня в 3 часа дня сняли первый трактор с конвейера. Ленинский завет — пересесть с убогой крестьянской клячи на лошадь машинной индустрии — осуществляем. В великий фонд индустриализации страны мы вносим наш вклад — величайший в мире тракторный завод им. тов. Дзержинского.

Тракторный завод пущен. Борьба продолжается...»

В ответ из Москвы:

«50 тысяч тракторов, которые вы должны давать стране ежегодно, есть 50 тысяч снарядов, взрывающих старый буржуазный мир и прокладывающих дорогу новому, социалистическому укладу в деревне».

Первый сталинградский трактор Москва встретила кумачовыми полотнищами демонстраций, ликованием оркестров. Его поставили вместе с ростсельмашевским комбайном и запорожскими машинами для села возле Большого театра как рапорт съезду партии.

Однако... Сталинградский тракторный, построенный по образу и подобию того самого завода Форда, киноленту о котором Ленин смотрел в последние дни жизни, выпускал за сутки то шестнадцать машин, то тридцать, а то и семь. Этакими темпами сто тысяч не дашь и к концу века. Из рук вон шло строительство электрических станций. Металлургические заводы юга не вылезали из прорыва. Каждый третий день в кабинет Серго входил товарищ из ГПУ, отвечавший за борьбу с экономическими диверсиями: там-то обнаружили фосфорные шарики

для воспламенения резервуаров с нефтью, там предотвратили взрыв шахты, а там не смогли предотвратить.

Оживились враги и в стране и за рубежом, окрылили себя новыми надеждами: чего не добились огнем и мечом, сделают нищета, голод, страх и ненависть. Потирали руки в панской Польше: «Правительство Советов зашло со своей политикой коллективизации деревни в тупик». И в королевской Великобритании: «Если рассматривать план как пробный камень для «планируемой экономики», то мы должны сказать, что он потерпел полный крах». И в свободной Америке: «Пятилетняя программа провалилась как в отношении объявленных целей, так и еще более основательно в отношении ее основных социальных принципов».

Изо дня в день Серго искал и находил то, что искал. Боялся взять очередную подборку иностранной прессы — и брал, спешил прочесть с каким-то зудевшим нетерпением, сладостным отчаянием. Яростно сжимал кулаки, натыкаясь на такие аттестации собственных действий, как «вызов чувству пропорции», «спекуляция», «чистейшее безумие», «еще одна химера, сотканная из дыма печной трубы». Стоп однако же! Ты сердишься, Юпитер?.. Не Юпитер ты, а мямля (самое обидное в его устах ругательство). Если отбросить зоологическую ненависть врагов... В этом мутном потоке есть и капли горькой правды. Отфильтруй. Выпей, как ни противно. А гневаться... У каждого есть право быть дураком, но и этим правом надо пользоваться с разумной умеренностью... Одна умная голова дороже тысячи рук... И в то же время — кто совершает открытия? Невежды. Образованные люди точно знают, что так не может быть, а приходит невежда, который не знает, что невозможно, и открывает. Хм! Кажется, это Эйнштейна парадокс?..

Действуй! Хорошо, что ты наводишь порядок и дисциплину... Хорошо! Изгнал бездельников, непрофессио-

налов, кичливых сановников и чинуш — очень хорошо! Когда один из них попросил подобрать ему другое место, где бы не требовалось доскональное знание дела, ответил: «Извини, дорогой, у нас все места только для образованных. Правда, есть одно и для необразованного, но это место я за собой оставил...» Хорошо, что сразу по приходу в ВСНХ дал повод для таких анекдотов: «Чего вам не хватает? — Времени для работы». «Чем вы заняты? — Симулирую здоровье». «С кого брать пример? — С тети Кати, уборщицы: муж пьет, шестеро детей, она — безукоризненный работник».

Верно, каждый шаг практического движения дороже дюжины программ. Нам действовать надо широко, масштабно на решающих направлениях. А пока этого у тебя, Серго, нет. Не сумел. Не смог. Не успел...

Они там, на Западе, уверены, что мы не сумеем, не сможем, не успеем. Исходят из обычных человеческих возможностей. Что ж... Действовать! Что для начала? Для начала созываем Всесоюзную конференцию хозяйственников с участием ученых...

Перед заключительным заседанием Серго зашел в кабинет Сталина, чтобы обговорить детали выступления.

— Гамарджоба, Сосо!

— Гагимарджос, дорогой!

Серго бодрится перед человеком за большим столом, слегка бравирует откровенностью, задиристо склоняет голову: ни в коем случае не заискивать. Не терять лицо. Кого называешь князем, тот принимает тебя за холопа.

Давно и крепко связаны они друг с другом. В начале века, еще не повидав Кобу, Серго, кажется, уже знал его по листовкам, которые тот писал, по газете, которую выпускал с Ладо Кецховели. Познакомились в девятьсот шестом. В следующем году вновь свело дело. Еще через

год — общая камера бакинской тюрьмы. После Пражской конференции работали вместе в подполье как члены ЦК. Вместе приехали из Москвы в Питер перед тем, последним арестом и Шлиссельбургом. Снова вместе в семнадцатом — и в июльские дни, и во время последнего подполья Ильича, и на Шестом съезде, и в Октябре. Вместе и на Южном фронте — против Деникина. После гражданской восстанавливали Советы и партийные комитеты в Закавказье. После смерти Ильича дрались против оппозиционеров и отступников — прежде всего за индустриализацию, и теперь со спокойной совестью можно надеяться, что Четырнадцатый съезд сыграл свою роль. Не первый день дружны домами, особенно Зина с Надей — Надеждой Сергеевной Аллилуевой.

Стараясь сосредоточиться на главном, Серго оглядывал виданный-перевиданный кабинет. Высокая стена слева, против окон, сплошь до белоснежного потолка завешена картами Союза, Европы, мира. Массивный письменный прибор, старый — времен Ильича — телефон, как всегда, до лоска протерты. Сверкающе чисты и в строгом порядке поставлены на тарелки стаканы — вверх донышками, бутылки ситро и боржома, сифон. Фарфоровая полоскательница, пепельница, коробка папирос со спичками, колокольчик — все на месте. Чуть в стороне, чтоб не мешали писать, модель поликарповского самолета, стопка газет, книги. Стараясь собраться, Серго хотел, но не мог избавиться от желания заступиться за товарища, несправедливо, по его разумению, обиженного Сталиным. Прекрасно знал, к чему приводят подобные заступничества, но не смог промолчать:

— Зря так жестоко поступаешь...

Оба молчали, думая, должно быть, об одном и том же: о письме Ленина к съезду, названном потом завещанием, где Ильич называл Сталина выдающимся вождем ЦК, но предупреждал, что, сделавшись генеральным секрета-

рем, он «сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью... Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д.»

Правда могущественнее всего, но подчас и обиднее всего. Болезненно относился Сталин к этой характеристике, долго не разрешал публиковать, настойчиво подчеркивал, что он лишь скромный ученик великого Ленина.

Не знает он жалости. Немало врагов у него повсюду. Тяжек его воз. Идейная жизнь — самая интересная, самая полная, но и самая сложная, противоречивая. Сталин далеко не свободен от пристрастий, увлечений, промахов. Однако... Его доверием и дружбой Серго гордится, ревниво бережет их, боится потерять. Не любит, когда о Сталине говорят панибратски, фамильярно, снисходительно. Сталин — авторитетен в партии. Развенчивать его все равно что разоружаться. Но и принимать безоговорочно — значит загонять болезнь вглубь. Промолчать сейчас — значит поступиться своими принципами. И Серго атакует:

— Храм Христа Спасителя сносим, а зачем? Одни век за веком строят, а другие смаху!.. Давайте и Кремль расколошматим?

— Не стоит. А вот орлов на башнях изволь заменить... Что у тебя еще?

Но Серго не унимался:

— Рамзин вел политику омертвления капиталов, но

куда ему?! Никто, ни один враг не способен причинить нам столько вреда, сколько мы сами себе причиняем!

— Тут, пожалуй, ты прав...

— Я пришел обговорить твое выступление, Сосо, уточнить...

— Уже уточнил. Иди. Я тебе отвечу там.

Дом Московского совета профессиональных союзов празднично украшен. В зале знаменитые мастера, получившие от Серго персональные приглашения, директора заводов, главные инженеры, секретари парткомов, крупнейшие конструкторы, академики. Серго доволен своей затеей — кажется, удалась Первая Всесоюзная конференция работников социалистической промышленности. Бессменно председательствуя шестой день подряд, он остается в шубе, накинутой на плечи, в высоких бурках, хотя в зале довольно тепло. Два года минуло после операции, а вот поди ж ты. То в жар бросит, то знобит, и ноги никак не забудут о кандалах.

На людях он чувствует себя как рыба в воде. А тут еще такие люди! Рад каждому лицу...

Банников — строительство Уралмаша.

Веденеев, Роттерт, Винтер — Днепрострой.

Сафразян, Дыбец — Нижегородский автозавод.

Гугель — Магнитка.

Гвахария — Макеевка.

Бардин, Франкфурт — Кузнецк.

Свистун — Харьковский тракторный.

Весник — Кривой Рог.

Отс — Путиловский завод, ныне Красный Путиловец.

Грабин — орудийное конструкторское бюро.

Ванников — Тульский оружейный завод.

Лихачев, Тевосян, Завенягин, Емельянов, Байков, Павлов, Ильюшин, Поликарпов, Туполев, Архангельский, Сухой, Серебровский, Бутенко, Котин, Кошкин, Лебедян-

ский, Струмилин, Чубарь, Федоровский, Графтио, Косиор, Обручев, Иоффе, Александров, Губкин, Бах, Кржижановский, Ферсман, Карпинский...

«Прав Чехов — богата Россия хорошими людьми! Как здорово, что стольких знаю, что своей властью могу делать им добро — хотя бы добрым словом... Кто сказал, что не люди делают историю? Эти люди все сделают. Главное наше природное богатство, которое надо ценить и беречь пуще ока...»

Позади возникает некое движение: Сталин приехал!

Задвигались, загромыхали сиденьями... Властно раздвигает окруживших, решительно шагает к трибуне. Достает из кармана аккуратно сложенные листки. Запускает большой палец за борт френча, опираясь другой рукой о край трибуны. Пристально осматривает хоры, боковые ложи, ни на ком не задерживая взгляд. Наконец поднимает правую руку:

— Товарищи!

И шум вспыхивает снова. Все хотят получше рассмотреть, услышать. Задние тянутся к трибуне, выглядывают из-за спин.

Сталин смотрит на Серго, точно требует: «Уйми же их». Еле заметно улыбается в усы. Орджоникидзе трогает колокольчик. Сталин говорит. С легким акцентом. Дикция четкая. Речь неторопливая. От текста по обыкновению не отступает, но кажется, что рассуждает вслух, не придерживаясь написанного. Говорит о слове, данном собравшимися,— выполнить пятилетку по основным, решающим отраслям не в четыре, а в три года. Слово большевика — серьезное слово. Но мы научены горьким опытом. Мы знаем, что не всегда обещания выполняются. Не хватает умения использовать наши богатейшие возможности. Не хватает умения правильно руководить. Он говорит так, словно продолжает прерванный спор с Серго, все время обращается к нему:

— В истории государств, в истории стран, в истории армий бывали случаи, когда имелись все возможности для успеха, для победы, но они, эти возможности, оставались втуне, так как руководители не замечали этих возможностей, не умели воспользоваться ими, и армии терпели поражение.— Он говорит негромко: совсем не обязательно кричать, если хочешь быть услышанным. Движения скупы, но выразительны — в ударных местах поднимает правую руку и с плеча кидает ее, заостренную указательным пальцем, точно врубает в тебя свою мысль. Задает вопрос, тут же отвечает и задает новый. Повторы не создают монотонность, а только усиливают четкость и ясность речи: — Как могло случиться, что мы, большевики, проделавшие три революции, вышедшие с победой из жестокой гражданской войны, разрешившие крупнейшую задачу создания промышленности, повернувшие крестьянство на путь социализма,— как могло случиться, что в деле руководства производством мы пасуем перед бумажкой?.. Как могло случиться, что вредительство приняло такие широкие размеры? Кто виноват в этом? Мы в этом виноваты...— В упор, жестко смотрит на Серго.

А Серго, не отрываясь, смотрит на Сталина и не узнает его. Нет, это уже не тот человек, к которому ты привык, с которым пьешь чай, который курит, кашляет, смеется, когда рассказывают остроумный анекдот. Всего этого просто не может тот Сталин, что сейчас перед тобой: весь — убежденность, сила.

Сталин словно исчерпал первый горизонт мыслей, спокойно, нежадно отпил боржом, выровнял дыхание, заговорил вновь:

— Иногда спрашивают, нельзя ли несколько замедлить темпы, придержать движение. Нет, нельзя, товарищи! — повысил голос так, что даже тембр огрубел.— Нельзя снижать темпы! Наоборот, по мере сил и возмож-

ностей их надо увеличивать. Этого требуют от нас наши обязательства перед рабочими и крестьянами СССР. Этого требуют от нас наши обязательства перед рабочим классом всего мира,— говорил, увлекаясь и углубляясь, то отступал на шаг, то приступал к трибуне, усмехался, поглядывая в зал, давая время пережить сказанное, чаще взмахивал рукой в такт словам: — Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно. Помните слова дореволюционного поэта: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь». Эти слова старого поэта хорошо заучили эти господа. Они били и приговаривали: «ты обильная» — стало быть, можно на твой счет поживиться. Они били и приговаривали: «ты убогая, бессильная» — стало быть, можно бить и грабить тебя безнаказанно. Таков уже закон эксплуататоров — бить отсталых и слабых. Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб,— значит, ты не прав, стало быть, тебя можно бить и порабощать. Ты могуч,— значит, ты прав, стало быть, тебя надо остерегаться.— Сталин еще суровее глянул на Серго, точно укорял за недавний спор.

Может быть, действительно излишняя жестокость — вовсе не излишняя? Некогда разбираться, как и чем тушить пожар, когда дом уже горит,— туши, чем попало, лишь бы затушить. Нет. О, нет! История ежеминутно испытывает нас, проясняет, кто мы и зачем. Не прав

Сосо — глубоко не прав. Ведь все лучшее, что сделано за всю историю, сделано из любви, ради любви к человеку, во имя любви.

— В прошлом у нас не было и не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас у народа,— рабочая, у нас есть отечество, и мы будем отстаивать его независимость. Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в деле строительства его социалистического хозяйства. Других путей нет. Вот почему Ленин говорил накануне Октября: «Либо смерть, либо догнать и перегнать передовые капиталистические страны». Мы отстали от передовых стран на пятьдесят — сто лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.

Тысячи раз эти мысли Сталина будут повторены многими и им самим, но никто, и он сам, не произнесут их так остро и свежо, как сейчас, при их рождении...

Заключая конференцию, Орджоникидзе говорил:

— Если мы хотим руководить промышленностью, прежде всего нужно знать, что делается в этой промышленности, досконально знать, что делается на каждом заводе...

Когда я смотрел Днепрострой и видел, как там все механизировано, мне ясно стало, в чем фокус американских темпов... Сила работников — организаторов этого строительства товарищей Винтера, Веденеева, Роттерта и других в том, что они прекрасно учли это и сорганизовали соответствующим образом строительство. Но то, что у днепростроевцев имеется, это почти все ввезено из-за границы. Для каждого строительства мы ввозить не можем. Поэтому вопрос о постановке производства строй-

механизмов должен быть поставлен со всей серьезностью...

Забойщики получают около девяноста девяти рублей. Из этого жалованья высчитывается за заем индустриализации, за покупку газет и так далее. В результате забойщик получает на руки около семидесяти семи рублей зарплаты. Надо признать, что эта зарплата низка... У меня такое впечатление, что мы меньше всего занимаемся этим вопросом...

Премиальность у нас принимает парадный характер: ты работаешь на заводе, лезешь из кожи вон, а потом нарисуют тебя в газете и скажут «молодец», а лишних деньжат не заплатят. То, что нарисуют в газете,— это неплохо, но еще лучше будет, если кроме этого вы дадите соответствующее материальное вознаграждение, тогда рабочий придет домой и скажет: вот за то, что я работал хорошо на заводе, завод меня так оценил...

Товарищ Литвинов передал мне выдержки из письма его товарища, инженера, который находится в Америке... Этот инженер, товарищ Коварский, пишет Литвинову: «Хочу несколько слов сказать для нашего актива, заводского и в особенности инженеров, что борьба с браком, потерями, использованием рабочей инициативы поставлена у американцев так, что любой может поучиться и позавидовать. Передайте нашим инженерам, что непроведение рабочего предложения в течение одной-двух недель влечет на капиталистических предприятиях выговор или увольнение для этого инженера. Ведь это здесь, а мы гноим и гноили часто месяцами».

Вот смотрите, товарищи, мы уже сколько времени говорим и пишем насчет изобретений, а вот в угольных шахтах приемы Касаурова, Филимонова, Карташева и инженера Липхардта до сих пор не находят должного распространения. Вчера я читал, что там, в Донбассе, некоторые инженеры не хотят проводить у себя приемы

Карташева, Касаурова, Филимонова, а за границей за это инженера выгоняют...

Мы находимся, товарищи, во враждебном окружении, внутри страны у нас идет бешеная классовая борьба... В этой обстановке приходится вести борьбу за темпы. Вопрос «кто — кого?» — это вопрос темпов.

...Мы с вами, конечно, войны не хотим, мы с вами нападать ни на кого не собираемся, но все кругом нас готовится к войне, и прежде всего к войне против СССР... Единственное наше спасение от этого — это то, насколько быстро мы будем развиваться, насколько все больше и больше будем увеличивать свои силы.

Подобного загада-замаха не позволял себе еще никто за всю историю. Начало тридцатых годов. Страна-стройка. Миллионы, десятки миллионов людей строят. Строят столько, что поверить в это нельзя, даже увидав. Строят, охваченные страстью созидания, озаренные дерзновенно фантастической мечтой, поклоняясь триединому богу: «Даешь 518!», «Даешь 1040!», «Даешь 5 — в 4!» Это значит: 518 новых заводов, 1040 машинно-тракторных станций создадим не за пять лет, а за четыре года.

«Не строительство — а творческий шквал! Сказка из железа и бетона!» — хорошо пишет Демьян. Но где, дорогой, взять железо и бетон на ту сказку, на тот шквал? Тут нужна, ох, как нужна экономия, бережливость! Вот решили вместо металла применить лес для перекрытий заводских цехов — и хорошо и разумно решили. Под легкими деревянными крышами рождается наша тяжелая индустрия.

— Что еще можно придумать?

Они — в домашнем кабинете Серго. Начальник строительного сектора ВСНХ Семен Захарович Гинзбург, со времен РКИ ближайший сотрудник Орджоникидзе, повторяет:

— Что еще можно придумать? — Выигрывает время. Но Серго торопит:

— Может, ваш зарубежный опыт подскажет?

— Да разве мало что, Григорий Константинович?.. На любой стройке бросается в глаза небольшая численность работающих. Никакой суеты, шума, штурмовщины, а производительность труда очень высока. И квалификация высокая. Материалов на площадку завозят не больше, чем на неделю, и складывают аккуратно в заранее отведенные места. Кирпич разгружают не навалом, а поштучно или пакетами. Боя кирпича, стекла или других материалов я не видел...

— Эх, если б нам!..

— Плиты, балки и другие железобетонные детали изготавливаются на особом дворе. Металлические конструкции привозят со специального завода и собирают на строительстве, скрепляя заклепками. Сварку пока не применяют...

— А вот тут мы их обштопали! Академик Патон в Киеве, говорят, уже сваривает такие махины — смотреть страшно! А как нормирование?

— Я не раз допытывался. Ответ всегда прост: «Количество завезенного материала известно, боя не было,— значит, все использовано. За качеством работ следим. Если замечаем, что кто-то недостаточно сообразителен, то в последний день недели такой рабочий получает в конверте причитающийся ему заработок с указанием, что стройка больше в нем не нуждается».

— Хм! Очень просто... Но для нас неприемлемо. Давайте-ка, Семен Захарович, поторопимся, создавая нашу систему нормирования и оплаты труда...

Тут пришел Сталин в костюме полувоенного образца, в бесшумно мягких сапогах.

Серго, сдерживая улыбку, следил за тем, как Семен Захарович разглядывал пришедшего. Удивлен, понятно,

что, стоя рядом с Серго, Сталин выглядит далеко не великаном — на шевелюру ниже и в плечах у́же. Неожиданно для Семена Захаровича и его рукопожатие. Наверняка полагал: у столь властного человека и рука властная, а не такая мягкая, небольшая...

Как только Серго представил своего сотрудника, Сталин спросил:

— Товарищ Гинзбург, не могли бы вы обрисовать положение с вводом в действие важнейших строек пятилетки?

Помаленьку овладевая собой, Семен Захарович начал с Нижегородского автозавода, где грозит срыв: не хватает труб для мощнейшего водовода от Оки.

Вмешался Серго:

— Дыбец выступил по радио с призывом к трубникам: выручайте! А как раз в то время Внешторг вел переговоры о поставке труб с фирмой «Маннесман». Немцы, верно, слышали выступление директора и тут же заломили такую цену, что пришлось вообще отказаться от закупки.

— Вот что значит заниматься болтовней! — Сталин отошел к окну, задымил трубкой.— Как же быть?

Серго успокоил:

— Заберем трубы даже у нефти, но автозавод пустим в срок.

— Хорошо. Продолжайте, товарищ Гинзбург.

Семен Захарович заговорил о том, что пора покончить с отношением к строительству как отходному промыслу кустарей с котомками и пилами за плечами. Строительство должно стать полноправной отраслью нашей индустрии, а вернее, ведущей, определяющей развитие всех остальных отраслью. Цемент справедливо называют хлебом строительства. И у нас в этом смысле перманентный голод. А между тем во всем мире строители теперь одержимы одной, по-моему, весьма прогрессивной идеей.

Есть железобетон монолитный, когда все сооружение целиком или значительная часть его отливается в опалубке на месте. Так мы строим Днепрогэс, например. Но наиболее индустриальным становится сборный железобетон, из элементов, которые изготовлены на заводах и полигонах. Представьте, товарищ Сталин, дома, цеха, целые заводы делаются на заводах. Совершенными методами! На основе индустриальной технологии! С использованием всех достижений науки и техники! На строительных площадках — только монтаж, только сборка...

Серго нравилось, как горячо говорил Семен Захарович о деле. Нравилось все, что тот говорил, и сам он тоже нравился. Почти не ревновал к тому, что подчиненный говорит лучше, точнее, чем ты мог бы об этом. Гордился сотрудником, радовался за него.

Сталин слушал, не перебивая, всматриваясь в собеседника. По обыкновению с недоверием относился к новому, незнакомому человеку, не спешил увериться в его надежности, правдивости, деловитости. Наконец прервал:

— Все, что вы говорите, заслуживает внимания. И мы к этому еще вернемся. Но меня сейчас особенно беспокоит обеспечение страны и промышленности топливом. А шахты Донбасса, да и не только Донбасса резко отстают с выполнением плана добычи угля. Товарищи говорят, что это вызвано в первую очередь отсутствием самого элементарного жилища для рабочих. Что вы можете сказать по этому вопросу? Какие у вас есть предложения? Понимаю, что трудно дать исчерпывающий ответ по такому непростому делу, но хотелось бы услышать хотя бы общие соображения.

— Действительно, товарищ Сталин, жилищный вопрос очень остро стоит перед угольщиками. Но самое главное заключается в том, что завтра этот вопрос встанет не только перед угольщиками, но и перед всей страной. Заканчивая строительство гигантов тяжелой промышлен-

ности, мы должны уже сейчас готовить жилье, бытовые здания — без этого будет невозможно укомплектовать промышленность квалифицированными рабочими.

Когда он закончил, Сталин, не выпуская трубку, тронул усы:

— Мне нравятся высказанные мысли как предварительные замечания. Необходимо подготовить предложения, которые можно было бы обсудить.

Подготовили, обсудили во время следующей встречи в том же домашнем кабинете Серго. Ни кирпича, ни цемента, ни металла у нас нет, чтобы решить проблему жилья, зато лесу сколько угодно, так что давайте делать на наших лесопильных заводах стандартные жилые дома из дерева. Ну, что ж?.. Быть по сему. И вскоре Серго подписал приказ о создании Всесоюзного объединения «Союзстандартжилстрой» — пусть выручит нас наш лесбатюшка, пока поднимется строительная индустрия.

Историю делают люди, которых делает история. Но те, кто плетутся за историей, никогда не увидят ее лица... Рождается не только индустрия, но и стиль и методы управления, образ жизни. Соревнование. Конкурсы на лучшую работу, на лучшую шахту. Ударные комсомольские и некомсомольские бригады, стройки. Шутки рождаются вроде таких, что, мол, стройка состоит из четырех этапов: шумиха, неразбериха, наказание невиновных, награждение непричастных. И чтобы это стало неправдой, атакует «легкая кавалерия», в которую Серго, еще будучи наркомом Рабоче-крестьянской инспекции, помог призвать двести пятьдесят тысяч молодых контролеров.

От посева до жатвы не рукой подать. «Тачка, лопата, грабарка — вот все, чем располагали строители»,— скажут потом не слишком дальновидные историки, подобно тому как по поводу эпохи гражданской войны уже сказали:

«В рваных шинелях, дырявых лаптях били мы белых на разных путях». Скажут — и ошибутся. Все вроде так — и не так, не совсем так, а вернее, совсем не так. Подобно тому как в гражданскую, отражая пашествие капиталистов всего света, партия поставила под ружье пять миллионов бойцов, обучила, снарядила, снабдила провиантом, подкрепила революционный порыв первоклассной артиллерией, броневиками, лучшими в мире тех пор бомбардировщиками «Илья Муромец», флотом, талантом таких полководцев, как Михаил Фрунзе,— подобно всему этому создавала индустрию, поставив Серго во главе генерального наступления на голод и нищету.

В городах и селах недоедали, холодали, но строители получали хороший паек, были одеты, обуты, снаряжены как надо. Конечно, тачка, лопата, грабарка... Спасибо им и вечная слава. Но старые отечественные заводы, заложенные еще при Петре, еще Демидовыми, Путиловыми, Строгановыми, хоть и не вдосталь, кормили страну драгами, землечерпалками, паровозами и буксирами всех калибров, копрами, котлами, буровыми установками, судовыми дизелями, турбинами, локомобилями, подъемными кранами... Лес, пушнина, золото, икра, нефть — все, что могло обернуться станками, экскаваторами, блюмингами, вывозилось. Ни одна страна за всю историю не закупала столько машин, сколько обнищавшая, разоренная войнами Россия, из века в век ввозившая лишь роскошь да диковинки для «прихоти обильной» царского двора. Причем закупалось новейшее, совершеннейшее, так что многое, сработанное на нем потом, становилось «самым, самым».

Наперекор промахам, неумелости, неопытности рождаются первенцы пятилетки. По-прежнему не хватает хлеба, металла, энергии. И не все можно купить на золото, на икру, соболий мех. То и дело враждебный мир отказывает в насущном, наступает на горло ограничения-

ми, запретами, саботажем поставок. Да и где то золото, за которое добудешь организованность и предприимчивость, деловую добропорядочность и обязательность? Разве что уроки Ильича помогут? — Если мы хотим научить дисциплине других, то обязаны начать с самих себя... Говорите только правду, иначе вас не поймут и за вами не пойдут... Быть в гуще, знать настроения, знать все, быть организатором, трибуном, борцом...

Разве напрасно Ильич называл тебя, Серго, вернейшим и дельнейшим революционером?..

Беспощадную ненависть, взрывной отпор вызывает у него делячеcкий подход к делу, взгляд со своей колокольни, подсиживание, шкурничество, пролазничество, злоупотребление служебным положением... И всего страшнее бюрократизм. Натыкаясь на него, Серго срывается, не в силах удержать себя. Неизменно требовательный к себе, от других он требует партийности, оперативности, дисциплины, одной-единственной для всех. Государственный план — закон. И закон для нас для всех один: успеть, суметь, смочь. Непреклонны его приказы:

— Двадцатипроцентная надбавка для подземных рабочих в Донбассе объединением «Уголь» не проводится в жизнь. За халатное отношение к важнейшему мероприятию правительства члена правления по труду с работы снять...

— «Резинообъединение» свернуло производство па двух заводах, предоставив рабочим досрочный отпуск и мотивировав это недостатком сырья? Проведенной проверкой установлено, что имевшиеся запасы полностью обеспечивали план производства. Председателя объединения от занимаемой должности освободить...

— Директор Рубежанского завода не выполнил распоряжение об отпуске азотной кислоты Винницкому и Одесскому заводам, что повлекло вынужденный простой этих заводов в течение двадцати трех дней и недоработку

программы в размере около 110 000 тонн суперфосфата. За срыв работы предприятий, выполняющих задания правительства по снабжению минеральными удобрениями весенней посевной кампании, директора с работы снять и предать суду...

Серго следит за тем, чтобы его приказы вывешивались на заводах, публиковались в многотиражках, в местных газетах, в газете ВСНХ. Нам нечего бояться правды о наших болячках. Хуже, когда мы отделываемся полуправдой или замалчиваем, а враги оборачивают правду против нас. И пусть наша «Торгово-промышленная газета» называется «За индустриализацию». Названия, и тем более они, должны работать, должны драться. Даже внешний вид каждого из нас, каждого сотрудника, личные особенности, обаяние. Да, именно обаяние.

Возможно, Серго и не был прирожденным оратором, но он покорял способностью сразу вступать в душевный контакт с тысячами людей, убежденностью и прямотой.

Поговаривают, будто вырастает у него гвардия индустрии, формируется «школа Серго». Самого все чаще величают командармом тяжелой промышленности. А-а! Ерунда все это, стыдно слушать. Стыдно за тех, кто говорит. Никогда не любил и не любит он высокопарность. Работа для него — лучший друг, лучшее лекарство, и на стройки он ездил не столько учить, сколько учиться...

«Нет ничего прекраснее фрегата под парусами, танцующей женщины и скачущей лошади». Да извинят его древние, так полагавшие. Да простят ему женщины, фрегаты и лошади, но для него прекраснее — трактор, сходящий с конвейера...

В Сталинград поезд пришел под вечер. И тут же вагон председателя ВСНХ — на заводские пути, а сам председатель — в цеха. Все же успел, правда, мельком уви-

дать город, памятный по восемнадцатому, когда отступали сюда из Ростова на бронепоезде, догоняя бандитов, похитивших золотой запас, дрались с ними, пока не перебили всех... Та же привокзальная площадь, те же улицы, облезлые дома, разбитые мостовые. Словно хромая, тащится линялый, битком набитый трамвай. Милиционер жестами «регулирует» движение: один грузовик, две подводы, две ручные тележки — «рикши». Мороженщик в окружении ребятни и бродячих собак. Папиросница с лотком. Мальчишки — чистильщики сапог с ящиками на ременных перевязях. Прохожие, отплевываясь от пыли, спешат занять очередь в хвосте к лабазу под вывеской «Кооператив». И все же Серго пребывал в радужном, приподнятом состоянии, точно ждал хорошее, обещанное, и знал, что сбудется. Солнце, еще довольно высокое, грело по-весеннему, на совесть. В его лучах по ходу вагона открывалась иная картина: новый город как бы бросал вызов старому.

Предвечерние тени на стенах домов, на булыжной мостовой здесь будто бы мягче и пыли поменьше: бульвары, неведомые старому городу, смиряют ее разгул. Волга виднее — воздух ощутимее. Зовут куда-то, сулят что-то речные просторы; сизая дымка над ивняком затопленного острова, над левым, пологим, берегом, отодвинутым вдаль половодьем. Так и хочется сесть за весла — и-эх! — «Из-за острова на стрежень...». Люди вокруг совсем не такие, как в старом городе. И заняты не тем. Вот проходит состав платформ, переполненных молодостью, песнями, смехом,— рабочий поезд. Вот капитальные дома жилкомбината возвышаются над бараками. Стальные балки. Серый кирпич. Красный кирпич. Клуб. Детский сад. Поликлиника.

Ветер доносит в открытое окно вагона запахи полой воды, свежей рыбы, молодой травы. Но — чу! — резкий аммиачный шибает в ноздри: «Неужели канализацию не

достроили?..» Настороженность развеял вид внушительного здания главной конторы. Медно полыхая в лучах солнца широкими окнами, оно представилось сказочно стеклянным, фантастически красивым. Завод возникал как нечто неправдоподобно прекрасное, гармонически стройное, разумное. «Не зря привлекаем, наряду с инженерами и учеными, и лучших архитекторов. Наша индустрия должна быть красивой...» Казалось, все вокруг вроде бы знакомо по заводам Питера, Баку, Тифлиса, по Берлину, Парижу, Праге — гул цехов, запах гари и нефтяных масел, рев паровозов, перезвон автокаров, содрогание земли под ударами молотов, неповторимая поступь людей, причастных к металлу. В то же время было и нечто неизведанное. Оно-то и рождало ощущение нереальности окружающего, придавало ему прелесть первозданности, чуда: тракторы, тракторы! — их царственный грохот.

Обходя завод с директором, главным инженером, парткомовцами, с Семушкиным, Гинзбургом, другими специалистами ВСНХ, Серго любовался тем, как хорошо вписывались корпуса в высокий правый берег на виду всей Волги. Громады из бетона, стали и стекла будто бы кто опустил прямо с неба на эту пока еще, к сожалению, не родную для них почву. Да, пока не родную: на загаженной мусором и прошлогодним бурьяном земле — загубленный металл: искореженные рамы, расколотые маховики и блоки цилиндров. В лучах долгого — двадцать четвертый день апреля — заката, словно досаждая Волге с белым пароходом, литейный цех ослепительно черен от кровли до цоколя, глух и слеп от сажи. Так изображают художники, не признающие урбанизации, ад современной индустрии — садись, пиши с натуры, никакой фантазии не надо. С печальной иронией вспомнились слова Сталина, которыми он закончил речь на недавней конференции работников промышленности: «Говорят, что трудно овла-

деть техникой. Неверно! Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять». Конечно, насчет крепостей Сталин прав, но когда он говорит, что с точки зрения строительства самое важное мы уже сделали, что нам осталось немного: изучить технику, овладеть наукой... Хорошее «немного»!..

В цехе, куда жестом хозяина пригласил Грачев, директор завода, было чему подивиться, от чего проникнуться уважением к человечеству, к самому себе. Шихтовый двор, которым начинался цех, был просторен и высок, как колоннады Казанского собора в Ленинграде. Пронзительно посвистывая за распахнутыми воротами, паровоз подал сюда несколько платформ с песком. И сейчас же с верхотуры на них кинулось отполированное до сияния стальное полушарие, на лету разинулось двумя челюстями, вгрызлось в песок, взмыло, унося вновь сомкнутыми челюстями уймищу песка. Страшно и великолепно! В литейном зале все дрожит и трясется, даже снопы света от потолочных прожекторов пропитаны пляшущими пылинками. Закопченный и обгорелый ковш остановлен против желоба вагранки — огненная струя грозно грохочет в ковш.

Ладонью Серго заслонил лицо от нестерпимого жара, поднялся по витой лестнице.

С колошниковой площадки хорошо видно, как, требуя внимания и осторожности настойчивым набатом колокола, кран несет наполненный ковш, как неотвратимо ленты шести конвейеров везут набитые формовочной землей стальные ящики — опоки. Интересно! Если б люди постигли красоту и смысл того, что делается вокруг в обыденной обстановке... На футбол смотрим и час и полтора подряд: захватывает, ясен смысл борьбы. А здесь? Если бы все умели так же остро ощутить суть любого будничного дела! С каким азартом и восторгом следили бы за тем, скажем, как экскаватор копает траншею,

как растет кирпичная кладка, как заполняет эти вот формы чугун, с каким вдохновением работали бы!

Загрузочный кран скребет над головой. Формовочные машины грохочут так, что в трех шагах с трудом разбираешь слова сопровождающих. Грозя мгновенной смертью, шипит чугун. Душно, пыльно и неистребим запах горелой земли, пропитанной машинным маслом. Прежде среди товарищей немало было тех, кто и в тюрьмах и в подполье справедливо гордились: «Мне что? Я литейщик — все вынесу». И Серго особо уважал людей этой профессии.

Оторвавшись от свиты, он шел вдоль конвейера, увлеченно прослеживая путь от деревянной модели до чугунной детали. Набивка опок... Трамбовка... Формовка... Просушка... Заливка. В металл воплощается заветная мечта Ильича...

Походил, присмотрелся: стоп! Не все, однако, так разумно и прекрасно, как показалось на первый взгляд. Остановился в проеме камеры для выбивания отливок из форм. Рабочий в защитной маске с очками скосился на Серго недружелюбно, снял рукавицу, черной ладонью отер черный лоб, оставив мокрые полосы, да так саданул кувалдой по блоку цилиндров, что тот развалился, испустив дух черными клубами вверх — в вытяжку.

— Ломать — не строить! — глянул на Серго с явным осуждением, словно тот был виноват, что кропотливейший, хитроумнейший труд целого цеха, целой армады машин и рабочих — в брак, насмарку.

А что?.. В самом деле, не он ли, Серго Орджоникидзе, виноват? И виноват в первую голову?..

Тоска по сгубленному труду и металлу обострила, умудрила взгляд. Со вниманием осмотрел курганы горелой земли. Их разбивали кирками и ломами, разгребали лопатами, увозили тачками.

— Что за люди? — спросил Серго у директора.

— Субботник...— уклонился тот от прямого ответа.

— А если бы я не приехал?.. Что за люди? Откуда?.. Скажи!

— Технический отдел. По зову партийной организации.

— «По зову»...— Серго с трудом сдержал ярость.— Инженеры... А скажи, дорогой, что значит слово «инженер»? — Обратился к работавшим метлами техотдельцам: — И вы не знаете?

Большинство еще усерднее налегли на свои «орудия», смущенно осматривая легендарного большевика. Серго видел, что люди хотят поговорить, но робеют. «Черт подери! Неужели я похож на «их превосходительство»?!» С обычной бесстрашной искренностью ринулся в разговор. Приподнял фуражку со звездой, отер лоб, расстегнул длинную шинель, точно душу распахивал:

— Не знаете, что обозначает имя вашей профессии, вашего призвания?.. «Инженер» — французское слово, от латинского «ингениум» — «способность, изобретательность». Выходит: «способный, изобретательный». Наверно, и «гений» отсюда же.

— Скажите, пожалуйста! — удивились, заинтересовались, обступили его, заговорили наперебой.

А он спокойно, не возвышаясь и не унижая упреками, но настойчиво:

— Сколько еще продлится субботник?.. Стало быть, придете домой после трех часов ночи. В четыре ляжете, а в семь вставать... Товарищ Грачев, ты считаешь, это достаточный отдых для того, чтобы инженер завтра выполнял свои прямые обязанности? Чтобы конвейеры загружались полностью, чтобы не разбивались бракованные отливки с помощью кувалды и вообще бы браку не было и навсегда изгнать кувалду? А? Как ты считаешь?

Весь следующий день Серго ходил по заводу...

Вдоль главного конвейера бежал, изощренно матерясь,

мастер в засаленном комбинезоне. Возле колонны с пусковой кнопкой и таблицей учета выпущенных тракторов его поджидал мо́лодец, обтянутый коротковатой кожанкой, как выяснилось потом, корреспондент многотиражки. Задыхаясь и захлебываясь бранью, мастер остановил конвейер.

— Тракторы готовые ждут, а конвейер стоит,— корреспондент обернулся к Серго за поддержкой,— вот я и пустил...

— Вон отсюда! — не сдержался Серго и, не успев пожалеть о том, что позволил себе сорваться, спросил мастера: — Часто у вас так?

— Да, почитай, каждый день. Умельцев бы нам хоть по штуке на сотню энтузиастов! — объяснил рассудительно: — Здесь, на выходе, за сушильной камерой всего пять готовых машин, а перед красильной затор, сборщики зашились — я и остановил конвейер. А этот!.. У людей дураки — загляденье каки, а наши дураки — вона каки: дом жгут и огню рады. Конвейер пошел, ребята мои растерялись, один даже в красильную въехал на тракторе. В Америке бы за этакое художество!.. От черта крестом, от медведя пестом, от дурака ничем.

— В Америке по командировке был? — Серго улыбнулся.— У Форда в Детройте такая же грязь?

— Ска́жете! Работы нет, если в цехах не как в горнице у жинки.

— Скажи, дорогой, ты сегодня сотню тракторов мог бы собрать?

— Было бы из чего! Думаете, интересно мне прохлаждаться из-за того, что нет деталей? Поденщик я, что ли? Беда не в одной грязи, товарищ Серго. Каждый тут сам по себе, это при конвейерном-то производстве! Неорганизованность, неслаженность — отсюда и брак и темп черепаший. Никто ничего не умеет, говорят? — Со значением, злопамятно, покосился на директора.— Да мы, тульские,

блоху подковали. Форда вашего, хрен ему с редькой, за пояс заткнем.

— А не хвастаешь?

— Эх, не знаете вы Егора Кузнецова! У нас и фамилия наша исконная от мастерства. Дайте только порядок и ритм...

— Дальше один пойду,— объявил Орджоникидзе Грачеву, когда мастер поспешил на свое место.— Хочу с рабочими потолковать, может, больше скажут, чем вы.— Подал знак неотлучному Семушкину, чтоб и тот не сопровождал.

— Позвольте остановить завод на десять дней! — взмолился директор.— Наведем порядок, отладим...

Серго сочувственно, даже с состраданием оглядел директора. И директор понимал, что нельзя останавливать завод ради наведения порядка. Но устал и вымотался так, что не только сердце — кости болели. Забыл, когда ел-пил не на бегу, когда спал по-человечески, вдосталь. Забыл, когда последний раз обнимал жену, виделся с детьми: он уходил из дому — они еще спали, возвращался — уже спали. И Серго видел все это — угадывал по его землистому лицу, понимал по ввалившимся глазам, чувствовал все это, но спросил:

— Знаешь, какое кино Ленин смотрел в последние дни жизни?

— Откуда ж мне знать? Чарли Чаплина, может? Веру Холодную?

— О производстве тракторов.— Подумав, добавил, как бы отвечая самому себе: — И Гитлер торопит...

Через одиннадцать — всего через одиннадцать! — лет здесь разразится битва, что определит ход истории во второй половине века. Ни директор, ни Серго до тех пор не доживут. Но завод до тех пор даст тысячи тракторов и танков, которые предрешат победу. На этом самом месте, эта самая земля взорвется дымом и пламенем.

Резервуары нефтехранилища вздыбятся огненными смерчами до неба, скроют солнце, обрушатся с берега лавами огня, пронзительно горького чада. Реки полыхающей нефти, бензина, гудрона впадут в Волгу, воспламенят ее, спалят пристани, пароходы на рейде. Вокруг засмердит плавящийся асфальт. Подобно спичкам вспыхнут столбы с проводами. Гром, грохот, визг бомб, снарядов, мин. Гул разрывов. Скрежет рушащегося железобетона. Треск неистовствующего огня. И над всем этим — проклятия гибнущих, мольбы матерей, рыдания детей. Летчики, прошедшие не одну войну, возвращаясь отсюда на полевые аэродромы за Волгой, не смогут взять в рот ни кусочка еды. Потрясенным покажется, что ничем не одолеть это светопреставление. Да, ничем, кроме рук человека, человеческого пота, человеческого труда. Рабочие Тракторного, отражая непрерывные атаки на завод, не уйдут из цехов — восстановят тысячу триста подбитых танков. В критический момент, когда будет решено взорвать завод и заложат взрывчатку, комиссар фронта, недавний секретарь обкома, доложит об этом по прямому проводу в Москву. Сталин спросит: «Рабочие будут защищать взорванный завод?» — «Нет, товарищ Сталин».— «Не взрывайте». И рабочие выстоят до конца, потому что будет на родной земле СТЗ — пусть кусочек его цеха, пусть оплавленная капелька станка. Камня на камне не останется от этих стен, от этого конвейера, от Сталинграда, но дело свое они сделают. Возрожденный из пепла войны завод станет давать тракторы лучше, мощнее, краше прежних — тракторы мира.

Ничего этого не мог знать Серго, но все это он предчувствовал. И директор предчувствовал. Серго так жалел его, так хотел видеть не умирающим, а счастливым. Будь здоров, дорогой! Живи за сто лет! Но ответил:

— Нет у меня десяти дней,— и пошел вдоль конвейера, оставив свиту возле ворот.

В столовой кузнечного цеха подсел к обедавшим рабочим:

— Как кормят?

Крайний молча протянул обшарпанную деревянную ложку: отведай.

Зина строго-настрого наказывала, чтобы ни в коем случае не ел ничего вне дома. Да и сам не хуже Зины знал: с его почками, вернее, с оставшейся почкой любая случайная трапеза может стать роковой. Но на него с ожиданием смотрели рабочие: ну-ка, покажись, не побрезгуй нашей похлебкой... Или слабо́?.. Не объяснишь ведь, что с наслаждением хлебал и тюремную, и в ссылке едал бог весть какие «деликатесы», и, убегая после разгрома под Владикавказом от Деникина через Главный хребет зимой девятнадцатого, рад-радехонек бывал подгнившему початку... Принялся есть из одной тарелки с соседом — чинно, в очередь опуская ложку со своего краю, как требовали правила артельного харчевания. Тосковал и смеялся про себя: «Опасения напрасны. От столь «диетической» еды не заболеешь!»

Черт подери! Чтобы у народа была еда, нужны тракторы, а чтобы тракторы были, нужна еда. Что сказать в ответ на вопросительно ожидающие взгляды? Ничего, мол, ребята, подтяните пояса, наобещать — скоро лучше будет, и спокойно уехать? Обещал пан кожух, так и слово его тэпло?.. Виновато развел руками:

— Уел ты меня, дорогой, в самую точку врезал, под дых, лежу под тобой на лопатках, но... Будет еще труднее.

— Спасибо за правду. А то набегут наши-тутошние и айда сулить полный коммунизм через три дня: дома с хрустальными стенами, а киоска путного не выстроили, чтоб водицы испить. Плетут про пищевой комбинат, а и ту фабрику-кухню никак не пустят. Про комнаты отдельные для каждого, а в бараках!.. Да вы не расстраи-

вайтесь. Теперь ничего стало, тепло, а бывалоча... Крыша течет. Утром встанешь — на полу по щиколотку. Пока до выхода тяпаешь — мокрый, как котенок, и зубы стучат. Печка топится, да разве белый свет обогреешь? Одеяло одно на всю бригаду, по очереди укрывались. Говорят, ничем тараканов не вывести. Брешут! Наши сами разбежались. Да вы не расстраивайтесь. И вообще... На пустыре город подняли настоящий, с кирпичными домами. Кто поднял? Наше величество. Раньше я ничего не умел, а теперь и за плотника, и за бетонщика, и в кузнице вот... Эхма, уж хоть бы ложки были!..

— Вот насчет ложек обещаю,— невесело усмехнулся Серго.

— И то хлеб. Разве мы не понимаем? Мы ж по доброй воле. Комсомольцы. Надо. Стране надо — не вам, не ему, не мне.

— И мне, и ему, и тебе, дорогой,— поправил Серго.

— И то верно. Что ж тут попишешь? Вперед — и баста!..

Все же Серго ушел расстроенный, резко недовольный собой и окружающим. Вечером на собрании работников завода он сказал:

— Мы этот завод строили не для того, чтобы удивить мир тем, что вот, мол, мы на пустыре, где много столетий ничего, кроме пыли, не было, воздвигли завод,— ничего подобного...

Здесь, на плакате, у вас приведены слова великого нашего учителя Ленина: «Если бы мы могли дать завтра сто тысяч первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их машинистами (вы прекрасно знаете, что пока это — фантазия), то средний крестьянин сказал бы: «Я за коммунию» (то есть за коммунизм)».

Исходя из этого указания Ильича, мы и построили Сталинградский тракторный завод.

Нет надобности говорить о том, какой восторг вызвал на открытии Шестнадцатого партсъезда рапорт сталинградцев о том, что СТЗ построен, что будут выпущены стальные кони. Вы прекрасно понимаете и знаете сейчас, как каждый рабочий, каждый крестьянин нашей страны, да не только нашей страны, но и всего мира и не только друзья наши, но и враги следят за тем, как нам удается овладевать гигантами, которые мы строим. Один из крупнейших американских техников, работавший у нас в прошлом году, побывав здесь, на СТЗ, в Ростове на заводе сельскохозяйственных машин и возвратившись оттуда, был у товарища Сталина и сказал ему следующее:

«Видите, в чем дело. Завод-то вы построили, такого завода в Америке у нас нет, но я очень сильно сомневаюсь, что вы его пустите. Не хватит сил. Лучше вам найти у американцев людей, которые вам этот завод пустят». Вот как сказал этот очень благожелательно относящийся к нам человек...

Колоссальный завод, махина. Но не мы им владеем, а он нами. Мы барахтаемся беспомощно. При тех машинах, которые имеются у вас, требуется дисциплина такая же, как от красноармейца, который стоит на посту и ответствен за порученное ему дело. Отвернулся — и уже нарушил дисциплину. А у вас не только отворачиваются, а еще и почешутся, а потом и папиросу закурят.

Но я не хочу этим сказать, что люди на заводе не годятся, что рабочие здесь плохие. Вчера ночью я стоял около двух часов у конвейера и видел рабочего, который прямо-таки горящими глазами впился в трактор, сходивший с конвейера, и с величайшим наслаждением следил за ним. Это можно было сравнить с картиной, как отец ожидает своего первенца. Жена рожает, а он в тревоге, и радуется, и отчасти боится. Вот с таким же видом рабочий стоит, смотрит на конвейер и ожидает, когда сойдет с него трактор...

Люди, которые днем кончили работу, вышли на субботник и убирали литейную, говорят, до трех часов ночи. В какой еще стране вы найдете, чтобы люди, которые только что кончили работу и утром должны выйти на смену, чтобы они работали еще ночью!..

Может быть, кто-нибудь скажет, что среди одиннадцати тысяч все рабочие — энтузиасты?.. Конечно, много прощелыг, лодырей. Но если взять коллектив в целом, так это — золото. Они отдают все свои силы, хотя и жалуются, что продовольствие плохое, и спрашивают, будут ли здесь кормить и снабжать рабочих так же, как в Ленинграде и Москве. Я об этом знаю прекрасно, товарищи...

То, что я вижу у вас, это не темпы, а суета. Вы не знаете, что вам нужно делать, хватаетесь то за одно, то за другое, то за третье, барахтаетесь, как обезглавленная курица... Такой безалаберщины я в своей жизни не видел ни в одном кабаке. Идешь по цеху, шатаешься, и никто не спросит, кто такой, почему здесь болтаешься...

Единоначалие абсолютно необходимо, но у вас оно незаметно. Тут говорили, что каждый единоначальник стремится к тому, чтобы никого не обидеть и чтобы все были довольны. Если на таком расхлябанном заводе исходить из желания, чтобы все были довольны, из этого ничего не выйдет...

Вашему покорному слуге через каждые десять дней приходится держать ответ за ваш завод перед нашим Политбюро. Политбюро каждую декаду ставит в повестку дня вопрос о работе Сталинградского тракторного завода...

Техника — это большое дело, мы не можем ее сразу осилить. Но большие ли знания нужны, чтобы следить за чистотой?.. Я вчера говорил товарищу Грачеву: пожалуйста, эти субботники не повторяй, потому что вымотаешь силы...

389·0

«Что же делать? Конечно, приехавшие с тобой специалисты уже разрабатывают меры технической помощи — и меры эти будут приняты. Но в них ли главное звено? — Расстроенный и усталый до изнеможения, затемно шагал он по заводским путям к своему вагону.— ЦК поручил наблюдение за ходом работ на тракторном Сталину. Это хорошо и... плохо. Расписываемся в собственной неспособности вести дело иными методами, самостоятельно. Расписываемся в неумении, некомпетентности, в отсутствии отлаженной системы управления. И прав, к сожалению, оказался Семен Захарович, который предупреждал: нужно чрезвычайно внимательно и бережно относиться к сколачивающимся строительным коллективам, сохранять их, ни в коем случае не допускать их распыления. А мы!.. Поступили прямо-таки варварски. Прекрасная строительная организация здесь рассыпалась, в то время как ее нужно было сохранить и использовать на других строительствах, а равноценный заводской коллектив не приобрели. С другой стороны, откуда взять квалифицированных станочников, как не из первостроителей? Не знаю. А должен знать! Должен думать не вообще, а о системе профессиональной подготовки. Конечно, хорошо, что видишь и клянешь собственную дурость: об одном кающемся больше радости на небе, чем о десяти праведниках...»

Зина встретила его на путях, видно, долго ждала на таком свежем после заката ветре из непрогретых еще степей Заволжья. Обняла захолодавшими, в мурашках, руками:

— Бедолага ты мой!

— Есть хочется, как из пушки! — И, войдя в вагон, не помыл по обыкновению руки, а рухнул на диван: — Ноги отваливаются.

— Сейчас, родной, сейчас. Вот так... Поужинаешь. Чай у меня — чудо... Ну-ка, давай сапоги снимем.

Хотел не позволить ей стаскивать с себя сапоги, но не смог.

— Не мешай!.. Вот тебе туфли ночные.

За ужином он возбужденно рассказывал об увиденном и пережитом. Она слушала не из врожденной деликатности — нет. Все, что было интересно и важно ему, волновало и ее. Она радовалась и страдала его радостями-печалями. Отдавалась им с той беззаветностью, на какую способны лишь любящие женщины. Поистине она стала жизненным центром его существа, как говаривал о своей жене Глеб Максимилианович.

После семейного ужина, когда Зина улеглась и затихла в спальном купе, Серго тоже прилег, но уснуть не смог. С наслаждением вытянувшись, отдыхая, поглядывал то на плотно занавешенное окно, то на уютный свет голубоватого ночника в потолке, то на стопку журналов «Новый мир» — с первого по седьмой номер за прошлый год — с недочитанным продолжением романа Алексея Толстого о Петре. Нет, никак не спалось. Вновь думал, думал, не остыв от возбуждения прожитого дня. Хорошую речь вы произнесли, товарищ Орджоникидзе, но... Кроме рекомендаций подметать и призывов подтянуться, что еще в ней? Не густо. Со временем, возможно, будут научные системы управления, а пока... Ерундовина — болтовня о том, будто Ильич рассчитывал строить социализм на энтузиазме. Не «на», а «при помощи» — есть разница.

Осторожно встал, подобрал сползавшее с постели жены верблюжье одеяло в безупречном, как всегда, пододеяльнике-конверте, невольно коснулся ее теплого плеча. Не одеваясь, вышел в коридор.

Наверняка Зина слышала, как он выходил, но притворилась, что спит: привыкла к его ночным бдениям, участившимся с годами, считает, грешно мешать, сочувственно полагает: как бы он ни нуждался в отдыхе, раз-

мышления — для него целительны, и нет большей радости, чем обуздать стоящую мысль. А ведь «стоящие» приходят чаще всего во время бессонницы. И еще: замечено ведь, что при страшнейших бедствиях и потрясениях исчезают многие болезни. Во время голода и гражданской войны не было язвы кишечника, заболеваний сосудов. Врачи, которые не щадили себя в борьбе с чумой и холерой, сами заражались очень редко. Верно, страстная работа на благо других поднимает устойчивость организма? Не зря же Теннисон советует: «Дерзать, искать, найти и не сдаваться». Спасибо, Зина. Спасибо, дорогой Сергей Петрович Федоров, за жизнь.

Бесшумно задвинул дверь и, мягко ступая по коридорному половичку, пробрался в столовую. В просторном, освещенном заводскими всполохами салоне окна не были зашторены. И без труда просматривались редкие мутные звезды на весеннем небе, фонари цехов, сигнальные — зеленые, красные — огни бакенов и буксиров на Волге. Опершись на трубку полевого телефона, включил настольную лампу, соединенную с городской электрической сетью, достал из выдвинутого ящика блокнот-бланк, с которым ходил по заводу:

«СССР Председатель Высшего Совета Народного Хозяйства Москва, пл. Ногина, Деловой Двор, 1-й подъезд, 2-й эт. Тел. 2-81-30».

Прочитал записи:

«...За первые восемь месяцев 6000 поломок при наличии 3000 станков. Командный состав не руководит, а является свидетелем. Темп — суетня. Проектная мощность — 144 трактора в сутки. За шесть месяцев 1930 г. — всего 1002!!! Программа января, февраля, марта 1931 — тоже не выполнена!!!»

И все же главное звено не только, а может, и не столько в технологии или организации — весь уровень жизни в стране предопределяет ход Сталинградского

конвейера... Подъем уровня жизни... Что это такое? Побольше хлеба да ширпотреба — и точка? Ан запятая. Что за ней? Все. Сознательность и культура. И отношение к труду. И нетерпимость к хулигану, лодырю, хапуге, пьянице. И разумное отношение к собственному здоровью и здоровью других. Полноценное питание, красивая одежда, мебель, хорошие магазины, прачечные. Кинематографы, театры, музеи, стадионы, курорты. Все, все упишется в эту строку и даст цивилизованность, которой так недостает для исправного хода Сталинградского конвейера.

Сколько времени потребуется на это — год иль век? Леваки уверены, что можно взять эту крепость с наскока. Но мы внесем свое в мировую культуру отнюдь не так, как представляют леваки, те же троцкисты, предлагавшие расколошматить «буржуазные» дворцы и заводы Питера в щебенку, чтобы построить гидростанцию на Волхове. И не так, как правые, откровенные шовинисты: кричат, будто бы Россия изберет какой-то особый путь. А какой? Никто не простит нам, ежели мы отречемся от буржуазной культуры как от ереси и примемся строить свою собственную на «чисто пролетарских началах». Без опыта Петра, Путилова и Форда, без достижений Круппа, Тейлора, Лебедева, Яблочкова, Менделеева, Эйнштейна... Никому в голову не приходило во время гражданской войны отказаться от буржуазных пулеметов, броневиков, аэропланов. А теперь — извольте радоваться! — «Скинем Пушкина с парохода современности». Никто, не имея специального образования, не возьмется за хирургию. А специалистом по культуре объявляет себя всякий, не успевший доказать противного, пускай, мол, буржуазными достижениями пользуется буржуазия, а мы будем изобретать все сами, колесо — пусть квадратное, но свое.

В первом году пятилетки в РСФСР на сто жителей

было сорок три неграмотных, в Соединенных Штатах и Франции — шесть, в Германии — ноль целых четыре десятых...

Встал. Прошелся. Остановился у окна. Красиво: ночной заводище на берегу великой реки. Потушил лампу, чтобы лучше видеть. Волга... Родная река Ильича. Как тогда, в Париже, тосковал по ней!.. Не верится, чтобы он мог унизиться до варварских методов искоренения варварства. Погоди... Кинулся к столу. Включил свет. Перебрал книги. Снова... Есть же формула, математически точная формула Ильича!.. Ага! Вот она: «Черпать обеими руками хорошее из-за границы: Советская власть + прусский порядок железных дорог + американская техника и организация трестов + американское народное образование etc. etc.++=Σ[1]=социализм». Как здорово! Как верно. Уф! Вот откуда наше сегодняшнее: русский революционный размах и американская деловитость... Не зря Пушкин говорил, что следовать за мыслями великого человека — наука самая занимательная.

В который раз глянул на завод. Хорошо, что остановился не в гостинице. Здесь лучше видишь, лучше думаешь, лучше чувствуешь. Правильно сказал я им там, заводским: золото они. Живут в бараках, на обед вода с сеном... За ничтожный срок подняли такой завод...

Подсел к столу, написал: «Невозможное могут только люди: 100 лет=10 лет. 1 голова=1000 рук. Гл. инженер — гл. звено. Обогреть. Амнистировать. Снять судимость. Дисциплина + порядочность + инициатива. + Размах + деловитость + энтузиазм + доверие = 100 лет за 10!»

Ну вот и я свою формулу вывел на основе ленинской. Истина рождается как ересь, а умирает как предрассудок. Кто это сказал? Кажется, Гете? Не хвастайся, а скажи-ка лучше, с чего начинать. Ну хотя бы, скажем,

---

[1] Summa — сумма, итог (*лат.*).

вот с этого... Почему ведущий инженер ходит по заводу в сопровождении тени из ГПУ? Позор! Никакого позора: прекрасно знаешь, что он бывший вредитель. Поставил вопросительный знак рядом со словом «доверие».

Бывший вредитель... Враг. Он тебя не пощадит, если что. А Федоров?.. Бывший лейб-хирург Федоров?.. Можно им доверять или нет? Ведь «башмаков еще не износили» с тех пор, как пытались нас свергнуть. Впрочем, с башмаками нынче туго, подолгу приходится носить одни и те же, да и плохие к тому же. Хм! Суть не в том, хороший он или плохой человек, этот главный инженер. Нет. Тут принцип — чистой воды политика, прямо затрагивающая экономику. Доверие к таким людям с нашей стороны — наш плюс. Это раз. Другое: как рабочие могут работать — и не только рабочие, если на глазах у них главный инженер ходит под конвоем? Ты хочешь, чтобы он работал ради цивилизованности, проявлял вдохновение и талант. Но ты поступаешь с ним, как царь Петр с людьми, которые создавали передовую технику тех лет. Перед спуском на воду кораблей заставлял надевать погребальные балахоны на инженеров, которые строили эти корабли. Если же, упаси бог, обнаруживались крен или течь, корабелу отрубали голову вместе с балахоном. Можно вообразить, в каком состоянии он пребывал под ним во время спуска! С каким «творческим вдохновением» строил корабль!..

А чем лучше положение того инженера СТЗ? Но ведь за дело же! И все-таки! Федоров... Как судьба его, труд, каждодневный подвиг вписываются в твою формулу? Нет жизни без Федорова — без Федоровых. Да здравствует чудо по имени русская интеллигенция!

Помешкал, зачеркнул вопросительный знак рядом со словом «доверие». Еще немного помешкал, подчеркнул раз и два и три. Снова задумался: когда ты сам счастлив, не считай, что все вокруг счастливы...

И не вся правда о Петре в том, к прискорбию, истинном предании о балахонах. Конечно, власть и властность порождают высокомерие и надменность, но Петр... Говаривал: «Короли не делают великих министров, но министры делают великих королей». Уже за одно это ему спасибо. Приближенных подбирал, невзирая на «подлое» происхождение. Первым вельможей и полководцем стал бывший пирожник. А когда сломался любимый заморский пистолет и никто из придворных не мог починить, Петр обратился к тульскому кузнецу Никите Демидову. Вскоре Никита вернул пистолет. Царь изумился и одновременно: «А пистолет-то каков! Какова работа! Дожить бы до тех пор, когда мои у меня на Руси таково почнут радети!» — «Авось и мы супротив иноземцев не плоше»,— усмехнулся Демидов. Петр принял это за пустую похвальбу, поколотил мастера: «Сперва сделай, а там гонорись!» — «А ты, батюшка, сперва дознайся, уж посля дерись! Который у твоей милости, тот моей работы, новый, ан ентот — заморский, тот, что ты давал в починку».— И вытащил из-за фартука пистолет.— «Виноват. Прости»,— Петр выдал кузнецу пять тысяч целковых на постройку в Туле оружейного завода, потом Никита основал заводы и на Урале. Возможно, здесь истоки легенды о Кривом Левше, которую народ так бережно, так сочувственно передает из века в век?

«Не щадить живота во благо отечеству» — именно ради этого, а не ради лизоблюдства, приятства, угождения Петр, не любивший попов, сделал Феофана Прокоповича, блестящего оратора и публициста-церковника, помощником в проведении своих преобразований. Инородца, крещеного калмыка Михаила Сердюкова, изобретателя, механика-самоучку, поставил реконструировать Вышневолочский канал — и по каналу пошли корабли. Молодой сиделец из московских торговых рядов Шафиров, крещеный еврей, поразил царя знанием немецкого,

французского, польского — стал бароном, сенатором, вице-канцлером на дипломатическом поприще...

Немедленно расконвоировать главного инженера! Сейчас же ко мне! Погоди, Серго, не горячись. Поздно. Спит после унижений и трудов. Неудобно будить. Спросонок решит, что опять арест... Ох, не люблю откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Кстати, это одно из десяти знаменитых правил просветителя и президента Соединенных Штатов, автора Декларации независимости. Как там у вас дальше, господин Джефферсон? «Никогда не беспокойте других для того, что можете сделать сами. Не истрачивайте ваши деньги, пока не держите их в руках. Не покупайте то, что вам не нужно, под предлогом, что дешево: и это еще дорого для вас. Гордость нам обходится дороже, чем голод и холод. Никогда не раскаешься в том, что мало ел...» Восьмое правило, помнится, такое: «Сколько горя причиняли нам несчастья, которые никогда не случались». О, это здорово сказано. Никогда не надо умирать раньше смерти. Наконец, последнее правило применяю еще со Шлиссельбурга: «Если вы разгневаны, сосчитайте до десяти перед тем, чтобы сказать что-нибудь, и до ста, если гнев силен». Та-ак... Раз, два... девяносто девять... Обвел слово «доверие» жирным кольцом.

Ну, допустим, он придет ко мне, этот кит, светило науки и техники. Сядет на этот диван, за этот стол. Что я скажу? Спрошу, как живет. (Будто не знаю!) «Послушайте,— скажу,— это же трагедия и фарс одновременно! Вы — наше богатство, национальное достояние, гордость рода человеческого, вы, умеющий строить аэропланы и автомобили, ломали их!» Нет, не то. Не надо сыпать соль на раны. Скажу, что рад видеть крупного русского интеллигента. Это правда. Для меня это всегда было высочайшим званием, всегда связывал с образом Ильича. Извинюсь за конвоирование, гарантирую от-

ныне честь и достоинство. Поблагодарю за труд. Вскользь добавлю, что, мол, конечно, можно любить или не любить нас, большевиков, но Россию не любить нельзя. И каждый русский интеллигент сегодня понимает, что ей, России, не бывать, если не станет на ноги СТЗ. А посему: что нужно для работы? Для удобства жизни? Что и кто мешает? Как семья устроена?

Не миновать разговора и о том, что крупнейшие русские интеллигенты, соль земли, в большинстве враждебно относившиеся к Советской власти, когда Ленин позвал, пошли в Комиссию по электрификации. Электроплуг дали уже в двадцать первом, самом голодном. Дали ГОЭЛРО — прообраз, прародитель пятилетки. До сих пор честно работают в Госплане. Выдающийся русский интеллигент Владимир Владимирович Маяковский стихами поддержал Кузнецкстрой, когда комиссия авторитетнейших специалистов предлагала Кузнецкстрой похоронить. Замечательный русский интеллигент Иван Петрович Павлов, академик, любит ходить в церковь, но рассуждает совсем не по евангелию, а по-большевистски: «Какое главное условие достижения цели? Существование препятствий».

Да, дорогой кит и титан, прошлое учит настоящее не совершать ошибок в будущем. Побитая шведами армия Петра быстро научилась побеждать. Антанта душила нас блокадой, а мы благодаря этому освоили производство таких материалов, машин, оружия, каких раньше не умели делать. «Пожар способствовал ей много к украшенью»,— это он заметит мне в пику все с той же усмешкой. Да, дорогой. Диалектика. И коль скоро Скалозуб это понимал, то уж нам-то сам бог велел. Именно «нам» скажу, а не «вам», не отделюсь от него, не отстранюсь.

Кстати! Расскажу, что Клим любит рассказывать. Когда он в восемнадцатом с большим отрядом, на

нескольких эшелонах, пробивался из Донбасса к Царицыну, белоказаки взорвали мост через Дон. Клим приказал строить деревянную опору взамен каменной. Инженеры говорили: «Невозможно, товарищ Ворошилов, не выдержит». А Клим свое: «Материал подчиняется революции...» Первое чудо советской техники — мост на деревянной опоре чуть ли не в пятьдесят четыре метра высотой... Душа должна работать. Только такая жизнь достойна интеллигента, только такой образ жизни. И только в нем счастье.

Светает, однако. Опять «однако»! Погасил свет, возвратился в купе. Зина спросила совсем несонно:

— Надумал?

— До чего ж это здорово — жить! — присел на ее диван, потеснил, прижался к ней, обнял.

ХЛЕБ НА СТОЛЕ — МИР НА ЗЕМЛЕ

«На Ижорском заводе построен первый мощный советский блюминг. В наших газетах об этом сообщалось как о блестящей победе...»

— А, черт подери! Зиночка, что за карандаши ты мне даешь?!

— Просто не выдерживают твой темперамент.

Нет, не в карандашах, не в темпераменте дело. Далеко, далеко отсюда, на Днепре, надвигается катастрофа. Будто нарочно в этом году такой паводок, какой, говорят, случается раз в сто лет. А-а!.. Каждый год у нас такая весна, какой не упомнят старожилы. И каждый год мы к ней не готовы. Правда, бетон укладывается в бычки уже выше водослива, и плотина должна пропустить паводок, но котлован и камеры шлюза...

Каждый час Александр Васильевич Винтер по прямому проводу докладывает о положении дел. На Днепрострое объявлена тревога. Туда вылетела аварийная

бригада специалистов. Серго созвонился с Ворошиловым — и две дивизии Киевского округа уже пришли в Запорожье. Да разве такими силами заткнешь брешь?

Дотянулся до полки со словарем Даля. Раскрыл зачем-то — успокоиться, что ли? «Вода всему господин: воды и огонь боится. И царь не уймет. Всегда жди беды от большой воды...» Успокоился называется! Самому бы надо лететь, э-эх!.. Полетел бы, допустим, ну и что? Чем помог бы? В сердцах захлопнул том.

Пока Зина затачивала сломанные карандаши, Серго поправил подушки, приподнялся, поглубже вздохнул: «Вода — беда... Беда — вода... Днепрогэс...» Упер левый локоть в высокую спинку дивана, чтобы удобнее было писать. Заставил себя продолжить статью:

«Первый советский блюминг спроектирован и изготовлен на нашем заводе без всякой иностранной помощи. В газетах были названы имена героев рабочих, мастеров (Румянцев и другие товарищи), еще раз подтвердивших своей работой, на что способны русские рабочие. Но это и так известно. Они, эти передовые рабочие, у нас не одиноки: Румянцевы на Ижорском заводе; Карташевы, Касауровы, Епифанцевы, Либхардты в Донбассе; герои выполнения пятилетки нефтяной промышленности в $2^1/_2$ года...

Конструкторами и техническими руководителями производства блюминга на Ижорском заводе были: Неймаер, Тихомиров, Зиле и Тиле...» Подчеркнул фамилии инженеров. Совсем недавно он вызволял их на поруки... Продолжил:

«Надо прямо сказать, что они являются техническими творцами этого дела. Эти имена должны быть известны всем.

Эти инженеры, как и многие другие из старого инженерства, года два назад дали себя завлечь Рамзиным и очутились в рядах врагов Советской власти. За это

они были арестованы ОГПУ. Они признали свою вину и изъявили готовность всем своим знанием пойти на службу к Советской власти...

Как только работа будет закончена, ВСНХ СССР поставит вопрос перед правительством о полном освобождении этих инженеров и соответствующем их награждении...»

Да, пусть знают все, кто еще колеблется, кто еще не сделал выбор! Как нужны такие победы и в строительстве флота, и в станкостроении, и в танкостроении! И на Ростсельмаше, и на Уралмаше, и... Авиационная промышленность отстает, а ведь надо выпускать по шестьдесят тысяч самолетов и моторов в год. «Большевики должны овладеть техникой!», «Пора большевикам самим стать специалистами!», «Техника в период реконструкции решает все!» — призывают решения пленумов ЦК и съезда, плакаты в цехах, клубах, над колоннами демонстрантов, газеты. А пока... Трагически мало коммунистов с высшим образованием: у половины тех, кто занимают командные посты в промышленности,— низшее и домашнее.

— Зиночка, за Тевосяном ушла машина?

— Не режим больного получается, а... не знаю что!

— Хочешь, чтоб я сам встал и пошел искать шофера?

— Не занимайся шантажом.

— Послушаешь врачей — работать никогда нельзя!.. И Гинзбурга привезите, пожалуйста.

— Ну хорошо, только лежи.

Нет, невмоготу. Вызывает Днепрострой прежде условленного часа:

— Алло, Александр Васильевич? Как? Что у вас?

— У Запорожья, через наш створ прет по тридцать тысяч кубометров в секунду.

— Ой, ой, ой! Три Ниагары!

— Горком, постройком, комсомол — все «в ружье!».

Красноармейцы работают. Весь город, все, кто могут держать лопату... Нет, не мобилизованы — сами вышли. Наращиваем перемычки, но Славутич... Вы же знаете его нрав...

— Неужто не выстоять?

— Плотина, уверен, выдержит, а вот ограждения котлована, шлюзы... Веденеев там, третий день не ложился. Бегу к нему.

— Не буду задерживать. Надеюсь на вас. Верю в вас с Веденеевым, во всех днепростроевцев. Звоните, как только сможете.

Положив трубку, Серго представил Веденеева на недостроенной плотине, которую окатывают волны. Русский Инженер с большой буквы Борис Евгеньевич Веденеев... Красивый, рослый — крупный во всех смыслах человек. Благородная седина. Благородная стать. Вечный труженик. Обычно молчаливый, сосредоточенный на собственных думах, он теперь, верно, мечется от пикета к пикету, с участка на участок... Нет, не унизит себя Веденеев суетой и метаниями ни при каких обстоятельствах, хотя всем королям Лирам не вместить сейчас его скорбь и трагедию. Стоит, поди, во весь рост — прямо, на ветру, вместе с рабочими, впереди них. Думает. Сколько труда, сколько крови стоило отвоевать у своенравной реки плацдарм на скальном ее дне, уложить сюда бетон под фундамент электрической станции!..

Словно долбит голову: «Одна голова дороже тысячи рук... Днепрострой... Беда и надежда...»

Входит Тевосян. Серго откладывает недописанную статью на тумбочку к пухлой стопке просмотренных деловых бумаг, оглядывает пришедшего радостно и взволнованно. Хочет пожаловаться на судьбу, на днепровскую стихию. Да стоит ли обременять других? У Вано и без того бед хватает. Весь он — сосредоточенность, устремленность, готовность. Но, при педантичной аккуратно-

сти, галстук повязал наспех. Летняя рубашка прожжепа. Конечно же главный инженер «Электростали» собственным примером учил рабочих, как вести плавки. На том его и застал вызов к пачальству.

— Извини, дорогой, что от дел оторвал,— Серго разводит руками.— К сожалению, не мог на завод к тебе приехать. Садись поближе, под правое ухо. Отдохни.— Продолжает оглядывать. Наверное, Вано пе слишком красив, но для него... Нет ничего красивее одержимости делом, преданности ему и высокой мечте. Припоминается рассказанное Емельяновым: когда тот входил в сталеплавильный цех крупповского завода, то слышал знакомый голос. От литейной канавы Тевосян командовал: «Зи маль ауф!», то есть «поднимай». И крановщик переставлял изложницы, повинуясь движениям руки Тевосяна. Полгода назад этот практикант не знал ни крупповских методов производства, ни немецкого языка. И вот на лучшем в мире заводе он командует плавкой. «Нет, черт возьми, мы все-таки своего добьемся! — заключал Емельяпов.— Будут у нас и все необходимые заводы, и люди, способные управлять ими».

— Кушай, дорогой «пемец»,— Серго пододвинул тарелку с клубникой.— С Кавказа прислали. Пожалуйста... Мне говорили, что ты был единственным из наших практикантов, кого Крупп допускал в святая святых — к работе на той электропечи, где выплавляли сталь наимудрейших марок. Его мастера шутили: «Черный Иван большой человек будет».

— Да я, что ж...— Тевосян засмущался. Точно красная девица, опустил очи-сливы.— Дело у них поставлено! И техника, и технология, и организация. Да, вот именно, организация, порядок, производственная дисциплина. Сталь требует стальной дисциплины.— Куда сразу девалась его робость? С убежденностью, с ревностью мастера за кровное дело Тевосян отстаивал и ут-

верждал свои принципы, опыт европейской металлургии, доказывал, что мы должны — и можем! — взять, а что и сами сделаем лучше. Сделаем! Вот увидите! Иначе и жить незачем.

Серго с удовольствием слушал. Не хотелось перебивать, но приходилось. Многое было непонятно — и он переспрашивал. Злился: не имею права не знать. Учись. И так учусь по двадцать четыре часа в сутки. Значит, надо по двадцать пять.

— Извини, пожалуйста, Вано, одну минуту. Зиночка! Ты напомнила Антону Северииновичу, что я его жду? Нет, Вано, не выпроваживаю тебя. Говори обстоятельно, не комкай. Как вообще в Германии? Что бросается в глаза прежде всего?

— Прежде всего... Прежде всего Гитлер. Видели его на митинге в Эссене. Обещал: когда придет к власти, накормит всех голодных, покончит с безработицей, обуздает крупных промышленников и торговцев. Совсем недавно мало кто всерьез принимал его истерические — рот до ушей — разглагольствования. Рабочие крупповские рассказывали, например, такие анекдоты: штурмовик в ресторане требует селедку по Гитлеру. Официант говорит, что есть только селедка по Бисмарку. «Да как вы смеете?!» Выручает старший официант: «Не беспокойтесь. Селедка по Гитлеру очень просто готовится — надо вынуть у нее мозги и пошире разодрать ей рот...»

— Хм! Глаза у тебя зоркие, уши чуткие. И любить и ненавидеть можешь — это я знаю...

— Гитлер призывает захватить жизненное пространство на востоке. Социал-демократы, рабочие вступают в его партию. Что-то будет.

— Будет. Сталь — на сталь. И ты — во главе нашей.

— Я-а?!

— Тебе сколько? — спросил, будто не знал.— Двадцать девять? Прекрасный возраст. Назначаю тебя

начальником Главспецстали. Да, такого объединения пока нет. Но мечтаю собрать в единый кулак производство качественной стали. Договорись о сотрудничестве с профессором Григоровичем. Константин Петрович, как тебе известно, авторитетный, широкообразованный специалист, и практическая жилка в нем пульсирует, и опыта не занимать. Привлеки дельных ребят — и наших и немцев. Емельянова не забудь!

— Разве его забудешь?!

— Где он кстати? Привет от меня передай. Выпустил его из виду в последнее время.

— Был у Завенягина в Гипромезе, проектировал Запорожский завод ферросплавов. И в Горной академии преподает. Рассказывал, как ездил консультировать проект одного завода. Махина с оборонным прицелом. После экспертизы проекта начальник технического отдела... Я знаю его: умница, бог. Так вот этот самый инженер сказал: «Технически такой завод возможен, но где вы возьмете людей, которые смогут им управлять? У нас, в Германии, например, мы не смогли бы таких найти».

— А мы у себя найдем.— Серго в упор глянул на Тевосяна.— Как думаешь?

— У татар есть пословица: бог дает ребенка — бог дает на его долю...

— Хорошая у татар пословица. Действуй, дорогой. «Зи маль ауф!»

Тевосян ушел, сказав, что поспешит обрадовать Емельянова.

Пришел Антон Северинович Точинский. Еще в разгар гражданской, когда Деникин обрушился на Красную Армию, защищавшую Владикавказ и Грозный, а чрезвычайный комиссар Юга России Орджоникидзе метался с одного критического участка фронта на другой: во что бы то ни стало отстоять нефть! — и слал Ленину телеграммы: «Нет снарядов и патронов. Нет денег. Шесть

месяцев ведем войну, покупая патроны по пяти рублей... Будьте уверены, что мы все погибнем в неравном бою, но честь своей партии не опозорим бегством»,— еще тогда в поисках выхода Серго обратил внимание на инженера Алагирского завода. И Красная Армия стала получать оттуда порох, нитроглицерин, снаряды... Следующая встреча недавно — в ВСНХ. «Что же вы не подошли ко мне, Антон Северинович? — упрекнул Серго после заседания.— Прекрасно вас помню. Не было повода?.. Другие без повода лезут, не отобьешься... Спасибо вам. Здорово тогда помогли».— «Делаю все, что в силах».— «Заходите завтра вечерком, в восемь. И если можно, захватите книги, какие сочтете полезными по металлургии». Назавтра Серго слег, но вот вытребовал к себе Антона Севериновича.

— Садитесь. Чаю? Кофе? Пожалуйста.— И сразу к делу: — Не забыли о моей просьбе?

— Как же! В прихожей оставил.

— Книги в прихожей!..

— Да их полный чемодан.

— Чем больше, тем лучше. Спасибо. Один итальянец, профессор, на Днепрострое спросил у меня, сколько человек здесь учатся. «Сто шестьдесят миллионов»,— говорю. «Кто же тогда у вас работает?» — «Те же сто шестьдесят миллионов...» А в немецкой газете я вычитал, как ехал наш рабочий из Берлина в Эссен, сидел у окна вагона с книгой, бубнил. Когда спросили, чему он молится, ответил: «Еду на завод Круппа, изучаю немецкий».— «Надо бы сначала выучить язык, а уж потом на практику за границу».— «Некогда. Я ж только в прошлом году научился по-русски читать...»

— Да, некогда... И сейчас действительно у нас учатся все.

— Все,— с каким-то особым, обращенным к себе ударением повторил Серго.— Итак. Первый бой за ме-

талл мы блистательно проиграли. Это очевидно было и до того заседания, где мы с вами встретились. Что можете сказать по данному поводу? Только прямо и честно. Извините, по-другому не умеете, знаю.

— Я беспартийный...

— Черт подери! Как у нас инженер поставлен! Всего боится: обругают, оштрафуют, в газете протащат... Надо в планах предусматривать суммы на риск. Пусть пропадет десять, ну, сто миллионов — миллиарды выиграем. Риск помогает двигаться вперед. Говорите, слушаю вас.

— Что ж... Маниловщина — ваши планы по металлургии.

— Мои?!. Докажите.

— Нереальны, потому что нет условий для выполнения. Спускаются заводам не на основе учета конкретных условий, а исходя из того, какими условия должны быть. Эти планы вот где! — хлопнул по загривку.— К декабрю выясняется: план не выполнен. Кого-то отругают, кому-то выговор, кого-то прогонят. И тут же примут такие же нереальные обязательства на следующий год.

Серго молчал. Не первый год занимался он металлургией. Еще в РКИ главным консультантом у него был доктор наук, приглашенный из Германии. Молчание Серго казалось Точинскому многозначительным, но он продолжал решительно, искренно:

— Извините, но в металлургии, как в любом искусстве, свои тонкости. И в них суть. Ваш консультант приезжал на заводы, смотрел, но ничего не видел. Он исходил из идеальной схемы производства. Полагал: мы обеспечены всем для работы домен, мартенов, бессемеров, все вовремя будет подвезено и смонтировано, и только подсчитывал, сколько такой-то завод нам даст. Словом, действовал в полном согласии с толстовскими генералами, мешавшими Кутузову воевать: «Ди эрсте колон-

не маршпрт, ди цвайте колонне маршпрт». А вот и не маршпрт! Кормим домны бог знает какими рудой, коксом, известняком. Да еще не досыта. План горит. Приходится прилагать адские усилия, чтобы как-то поддерживать производство. Мало того, что оно не организовано планом, создается еще психологический барьер, дезорганизующий, да, да, дезорганизующий и расхолаживающий, размагничивающий: хоть разорвись, а до задания не дотянешь, так уж все равно, на восемьдесят процентов выполнять или на шестьдесят...

Серго по-прежнему молчал. Понимал и чувствовал, что его молчание подавляюще действовало на Точинского, но не мог и, пожалуй, не хотел ничего с собой поделать.

— Неприятный разговор получается, но...— Антон Северинович не нашел, что сказать, только рукой махнул, щипанул черные короткие усики, потер загорелую лысину.

Серго все молчал: да, этот напористо дотошный южанин стал неприятен. Наверняка читал в газетах речи-доклады Серго, где, как думалось, ему удавался основательный разбор положения в металлургии. Что, если над его «основательностью» специалисты посмеиваются? Из огня да в полымя! Но... Надо быть благодарным Точинскому: «уважает меня, доверяет мне».

— С чего же, по-вашему, следует начинать?

— С сырых материалов, естественно. Прежде всего сортировка руд, обогащение, дробление известняка...

— Но ведь горы бумаг исписаны по данному поводу!

— Вам лучше знать, выполняются приказы или нет...

— Не уклоняйтесь!

— Приказы главным образом нацеливают на достижение пока недостижимого, мешают получать то, что можно бы.— Антон Северинович отер накрахмаленным платком гордый лоб, достал из недр наглаженного чесу-

чевого пиджака блокнот: — Заветный. Никому еще не показывал. Никто мне не поручал... Мои, так сказать, доброхотные расчеты: что могут в настоящих, реально сложившихся условиях наши южные заводы...

— Погодите. Я буду записывать.

Просто, четко, доказательно, как доступно лишь глубоко знающим людям, Точинский представлял «портреты» домен и мартенов, объяснял, что можно от них ждать, если навести порядок. Заключил тем, что в нынешнем году возьмем пять миллионов тонн чугуна и примерно пять с половиной — стали.

— Меньше, чем в прошлом? — Серго приподнялся и соскочил бы с дивана, не загляни в кабинет Зинаида Гавриловна, конечно, слышавшая разговор из-за открытой двери.— Неужели больше нельзя?

— Почему нельзя? Полагаю, за год потеряем, по самым скромным подсчетам, миллион тонн чугуна и столько же стали.

— О, мамма! Зина, прогони его. Он без ножа меня режет.— Впервые после прихода Точинского Серго пошутил, но улыбка вышла болезненная, неуместная.— Почему потеряем?

— Нереальная оценка положения и возможностей. Суета, сутолока, спешка. Неразбериха и неорганизованность. Поднимать металлургию направлены люди, из которых многих к ней подпускать нельзя. Уверены, будто матросская глотка достаточный инструмент руководства. А вам боятся говорить правду, очки втирают.

Вновь Серго молчал, насупившись. Даже колкая боль в пояснице то ли притупилась, то ли отступила, то ли забылась — только он ее не чувствовал. Поглядывал на Точинского уже не как на обидчика, а как на отца, который высек без пощады, но за дело. «Что это ты разобиделся, ваше сиятельство? Правда глаза колет... А что, если?..»

— Послушайте, Антон Северинович. Что бы вы ответили, если б вам предложили стать главным инженером всей нашей металлургии? Подумайте. Не спешите с ответом. Это во-первых. Во-вторых, как только поправлюсь, пойдем в ЦК, и вы там повторите все, что здесь наговорили... Нет! Нельзя откладывать.— Взял телефонную трубку: — Сосо?.. Гамарджоба! Да, меня уложили. Можешь зайти на пять минут? Хорошо. Буду ждать...

«Днепр... Днепрострой... Днепрогэс...» Глеб Максимилианович рассказывал, что работа Комиссии по электрификации не ладилась до тех пор, пока профессор Александров не сделал доклад «О программе экономического развития Юга России», где предлагал: «Избрать наиболее мощный центр. Для Юга России таким центром может быть источник дешевой энергии на порогах Днепра. Она даст живой импульс к развитию электрометаллургической промышленности, которая в связи с марганцевыми месторождениями станет поставщиком высоких сортов стали для инструмента, сельскохозяйственных машин, автомобилей, аэропланов». Это в двадцатом году говорилось, когда Днепровские пороги называли не иначе, как проклятием природы. Еще со второй половины восемнадцатого века проблема одоления Днепровских порогов признана важной для государства — при Екатерине начали их расчистку и вели в течение всего минувшего столетия. В начале нынешнего века инженеры предложили затопить пороги тремя, двумя, наконец, одной плотиной с электрическими станциями. Именно тогда ученые начали убеждать общество: пороги не проклятие, а клад, не меньший, чем криворожская руда.

Конечно, когда Глеб Максимилианович рассказывал Ленину о проекте Александрова, Ильич уже видел, как на пути великой реки встает рукотворная скала. Как все вокруг заполняется светом, силою, богатством. Как иссохшие степи Таврии превращаются в тучные нивы, руда

Кривого Рога и Никополя — в тракторы и станки, глина — в крылатый алюминий, а заштатный Александровск, недоступный и речным судам, идущим снизу,— в морской порт, процветающий соцгород Запорожье.

Великая сила мечты... Если бы мы не умели воображать захватывающие картины будущего — ничто никогда не заставило бы нас закладывать сооружения, требующие жизни нескольких поколений, вступать в борьбу, жертвовать собой. Извечно и неизменно восстает человек против условий жизни, против других людей за утверждение нового. В этом — наслаждение и счастье. Но для этого самому надо нести новизну, как неотъемлемую часть собственного «я».

Теперь стихия грозит похоронить вековую мечту, вековые труды...

Приехавшего от Лихачева, с автозавода, Семена Захаровича Серго не спросил даже о сделанном там. Сразу стал требовать чем-то еще помочь Днепрострою. Надо сделать все возможное и невозможное. Подумайте и действуйте немедля. А что у нас в Харькове делается, на Турбострое?

Харьковский турбогенераторный — тоже, как принято стало называть, горячая точка. И Гинзбург, глава строительного сектора ВСНХ, отвечает не только за проектирование, но и за воплощение. Будущий завод — опора энергетики и одновременно ключевая проблема строительства. Все цеха и службы задуманы под одной крышей, в здании объемом больше миллиона кубометров. Фирма «Дженерал электрик» запроектировала стальной каркас в девятнадцать тысяч тонн. Купить столько мы не могли, и у себя взять было неоткуда. Ведь даже нефтехранилища строить из металла запретили на несколько лет. «Что делать, Семен Захарович?» — «Есть мыслишка, но пока говорить рано. Посчитаем, посоветуемся, поэкспериментируем...» — «Быстрей бы!» Семен Захарович тогда не за-

ставил долго ждать — вскоре объявил: «Надо заменить металлические конструкции железобетонными».— «Как? Ведь они высотой в двадцать один метр. Что американцы говорят?» — «Матерятся по-русски. И руководство Электрообъединения грозит меня прирезать».— «Ну а сами вы как считаете?» — «Я верю в железобетон».— «Давайте обсудим на президиуме, привлечем всех светил науки». Обсудили. Одобрили. Серго подписал постановление, которое тут же опротестовали руководители Электрообъединения: «Перепроектирование подсказано врагами народа, чтобы затормозить развитие нашего турбостроения». Только вмешательство Сталина прекратило споры. И теперь, сидя возле дивана, аппетитно уписывая душистые ягоды, Семен Захарович докладывал:

— В кратчайший срок возведен скелет сооружения, равного которому пока нет в мире. Австрийский профессор Залигер, крупный авторитет, буквально стонал от изумления... Внедряем разработки академика Патона и профессора Вологдина: заменяем клепку сваркой, в результате вес потребного металла уменьшается почти вдвое... Очень поддерживает руководство Украины. Когда ни приедешь — на стройке либо Косиор, либо Чубарь, либо Петровский.

Зазвенел телефон. Словно почувствовав: «Днепрострой!» — Серго схватил трубку:

— Да, да! Александр Васильевич?.. Прекрасно слышу вас. Та-ак...— Слегка отстранил трубку от правого, сравнительно здорового уха, чтобы и Гинзбург мог слышать.

Начальник Днепростроя между тем говорил:

— Борис Евгеньевич решил затопить котлован. Я приказал готовить низовую перемычку к взрыву.

— С ума сошли! — вырвалось у Серго.— Своими руками!..

— Нет, не сошли! — резко возразил голос Винтера.— Единственно правильное, отчаянно смелое решение...

— «Отчаянно»...

— Говорю прямо, потому что не мое, а Бориса Евгеньевича. Гениальное решение! Многие здесь на дыбы встали, но я убежден: оригинальное, спасительное...

Серго не слышал: так испугался и растерялся. Смотрел на Гинзбурга, отдаляя в его сторону трубку, точно хотел избавиться от нее. Да что же это? Не во сне ли? Но понемногу стали доходить слова Винтера — усталый голос его, исправно усиленный новой,— гордость Серго — советской аппаратурой, заполнил весь кабинет:

— Если ждать потопа со стороны верховой перемычки, не только в котловане сотворим хаос, но и, очень может статься, покалечим плотину. Если аккуратно затопим из нижнего бьефа, спокойная вода покроет недостроенные сооружения, сохранит их, самортизирует водопады в случае прорыва сверху. После паводка восстановим низовую перемычку, воду из котлована откачаем...

— Просто, как все гениальное! — с откровенным недоверием, нехорошо, скользко усмехнулся Серго, покачал головой, в упор глянул на окаменевшего Семена Захаровича. Посоветоваться с ним? Нет: Александр Васильевич услышит, воспримет как недоверие... Чтобы научиться говорить правду людям, надо научиться говорить ее самому себе. У тебя какое образование?.. А у Веденеева?.. Нельзя тянуть: секунды решают. Хоть бы Сталина поставить в известность. А ты-то на что? Пока будешь увязывать, согласовывать — плотину в Черное море унесет. Ответственности боишься? Хм!.. Вот оно, когда надо не на словах, а на деле... Подступило, приперло: выбирай...

— Что же вы от меня хотите, Александр Васильевич? Вы — специалисты, а я...

— Страшно, товарищ Серго.

— И мне страшно. Очень страшно!.. Да, дорогой, обсуждаем сообща — решаем единолично... Действуйте по своему разумению, под мою ответственность.

Потом, не переставая думать о Днепрострое, до конца дня просматривал почту, подписывал неотложное, приносимое Семушкиным, принимал и других сотрудников. Лукина и Губанова отстранил от работы — за рассылку ненужных форм отчетности. Думал, как лучше наладить связь на стройках и заводах. Уже есть аппараты с наборными дисками. Почему не везде используем? А чем помочь Уралмашу? Туго внедряют электрическую сварку, не успевают готовить стальные конструкции. Сколько их надо, чтобы держать крыши цехов! Один механический будет больше Красной площади.

А добрых вестей с Днепростроя все не было и не было. Черт подери! Как это вынести? Как пережить?..

Вечером потребовал пригласить Туполева и начальника ВВС Баранова. Что-то не ладится с новой машиной. Летчик-испытатель Арцеулов, в свое время одолевший гибельный «штопор», жаловался: «На ней летать, что тигрицу целовать — и страшно, и никакого удовольствия». А самолет, между прочим, Зиночка,— символ могущества страны. И не только символ... И еще, знаешь, с Лихачевым надо бы увидеться. Семен Захарович говорил мне, да я как-то не внял — только теперь дошло... И с Губкиным — непременно. Представляешь, урезали средства на дальнейшее исследование Курской магнитной аномалии! Вот насекомые! Нет! Нельзя жертвовать будущим ради сегодняшней чечевичной похлебки... Хорошо бы и с Владимиром Сергеевичем потолковать. Посмотри, как здорово Богушевский поставил нашу «За индустриализацию»! Совсем новая газета стала, «Правда» завидует. Подобрал одаренных, одержимых пятилеткой журналистов... Последнее. Самое последнее, честное слово. Не сердись, дорогая. Серебровского позови. Как его здоровье? Ведь он болен. Как там добыча золота идет?.. Да! А, забыл! Ну, самое последнее: Метрострой надо укрепить, а у меня есть на примете один человек с Днепростроя. На пленуме

будем говорить о подготовительных работах по сооружению метрополитена в Москве...

Но тут Зинаида Гавриловна встала стеной, и пришлось довольствоваться деловыми бумагами, газетами, журналами...

Когда в половине двенадцатого пришел Киров, он застал такую картину: Серго по-прежнему полулежал на диване и с карандашом в руке сосредоточенно морщил лоб над увесистым «Спутником металлурга». Рядом на стуле кожано мерцал раскрытый чемодан с книгами.

С Кировым давно знакомы — еще с девятнадцатого. Тогда, после разгрома красных частей под Владикавказом, Деникин обещал за голову Серго миллион. И создав партизанские отряды горцев, Серго отправился к Ленину для доклада о положении на юге кружным путем — зимой через главный хребет, через Грузию, захваченную меньшевиками, через Баку, занятый белогвардейцами и англичанами. Лошади то и дело скользили на тропах, спотыкались у края пропасти, но Зина засыпала в седле: два раза падала и... снова засыпала. Шли под обстрелами, ночевали в пещерах. Грызли промерзлые кукурузные початки, полусырое мясо диких коз и кабанов. Но страшнее всего и горше — тайком пробирались по родной земле. Из Баку Микоян, руководивший подпольем, где, между прочим, были Емельянов и Тевосян, помог переправиться через Каспий. Как раз от Кирова из Астрахани баркас привез оружие — обратно так же, тайком, повезет бензин для аэропланов Красной Армии. Это уже не первый рейс матросов под командой Миши Рогова. В следующем он будет пойман деникинцами и распят на мачте, но в том пронесло. Две недели плавания. Мертвая зыбь, из которой, то и жди, вырастет белый эсминец. Сваренный Зиной в забортной воде рис: и солоно, и пресную бережем... Ну, наконец-то! Земля обетованная. Красный берег, и на нем Кирыч — как избавление, как надеж-

да. С ним потом отвоевывали Кавказ, возрождали Советскую власть, партийные организации. Недаром на фотографии, висящей над диваном, они сняты в обнимку.

Вместе воевали против оппозиции, мешавшей становлению пятилетки. И когда на Четырнадцатом съезде зашел разговор о необходимости нового партийного руководителя для Ленинграда, Серго предложил Кирова. Тот смутился: нужен более авторитетный... Провожая в Ленинград, Серго дал другу «рекомендательное письмо» к старым, еще по Октябрю, товарищам: «Киров — мужик бесподобно хороший, только, кроме вас, он никого не знает. Уверен, что вы его окружите дружеским доверием... Ребята, вы нашего Кирыча устройте как следует, а то он будет шататься без квартиры и без еды...»

Очень дорожит Серго Кирычем. Родственников получаешь с первым твоим криком, а друзей настоящих приобрести труднее, чем ведро росы набрать. Родство — нить паутины, дружба — крепче каната. Никому пока не жаловался на днепровскую беду — Кирычу пожаловался, и вроде полегчало от его сочувствия.

Когда Сергей Миронович наезжает в Москву, ему не разрешают останавливаться нигде, кроме как в комнатке рядом с домашним кабинетом хозяина. Зина бережет удобную, с белоснежным бельем постель, которая всегда наготове, и никто, кроме Кирыча, не имеет права ее касаться, а комнатку называют его кельей. И к тому есть резон. Ведь квартира — на втором этаже старинного архиерейского дома, что поставлен почти вплотную у Кремлевской стены неподалеку от ворот Троицкой башни.

К доброму другу Серго с улыбкой:

— Вот, похвастаюсь. Закончил-таки статью в «Правду». Расхвалил твоих ижорцев — по знакомству.

— И правильно сделал. Как чувствуешь-то?.. Отдохнул бы. Хватит кипеть-гореть. Да, блюминг этот — эпопея целая и симфония. Честно говоря, меня в жар бросило,

когда вы решили отказаться от предложения американской фирмы «Места» сделать за год.

— Да еще за семнадцать миллионов долларов!..

— Вернулся я в Ленинград, собрал ижорцев: так и так, выручайте. Хотя реконструкцию они завершили, все же для такого богатыря... Только подготовка больше двух месяцев отняла...

— И все-таки сделали вдвое быстрее, чем американцы обещали!

— На отливку первой станины собрались рабочие всех цехов. Со мной приехал чуть не весь губком — Ленсовет, директора, главные инженеры заводов. Алексей Толстой приехал! «Хочу,— говорит,— посмотреть, как петровский завод пятилетке служит. И дух Петров ощутить в вас, чтобы продолжение романа кренче написать...» Станину и шестеренную клеть доверили мастеру Кириллову — тридцать с хвостиком у станка. Только станка подходящего не было на всей Ижоре. Привезли с «Русского дизеля».

— Вот видишь! Какое главное условие достижения цели? Существование препятствий. Трудный заказ только стимулирует развитие.

— Да... Главный конструктор — это, я тебе доложу, Сергоша! Арвед Генрихович еще немало пользы принесет. Береги Зиле, не упускай из виду. Ленинградцы мои, питерцы, не плошают. И турбины строят, и морские суда, и подводные лодки. Кто Уралмашу, Сталинградскому тракторному, Магнитке лучших, кадровых мастеров шлет? Кто вам оптику дает для приборов, для прицелов? А кто синтетический каучук подарил? Кстати: Ярославский завод скоро пустите?

— На днях.

— По танкам большую работу развернули. Отличные — чудо! — люди есть. Особо хочу порекомендовать одного. Кошкин Миша — Михаил Ильич. Возьми на за-

метку. Не потеряй. Будет толк из него, вот увидишь. Тридцать три ему.

— Возраст Иисуса Христа.

— Вот именно! Так и прозвали: Христос в танке. Для себя — ничего не просит, не требует. Живет, можно сказать, ниже уровня аскетизма. Зато для дела!.. Бунтует: неправильно, мол, танки строим — в расчете на то, чтобы пуля не пробивала, а надо, чтоб снаряд не брал. Не знаю, не спец я, Сергоша, но думаю, прав. Наш, настоящий парень. Кремень и талант. Вынуждает по-новому на вещи глянуть. Вот, сколько раз я ходил мимо царь-пушки: ну, здорово, ну, мастер Чохов шестьдесят лет работал в Пушечном приказе, отлил множество стенобитных пищалей и мортир. Что еще? Да ничего. А сейчас иду — представил, будто не Андрей Чохов, а Михаил Кошкин царь-пушку сработал... Задержался: красота какая! Совершенство! Да, может, Кошкин и есть наш, сегодняшний Чохов? А мы мимо идем или, хуже того, не признаем, мешаем, плюем.

— Хорошо говоришь, дорогой! Хо-ро-шо. Недаром чоховскую мортиру сберегли от переплавки специальным указом Петра, который высекли на стволе. А захваченные шведами пищали «Единорог» и «Царь Ахиллес» Петр выкупил и наказал хранить как памятники.

— Достается нашему Чохову. Характер — не сахар. А тут еще начальству так прямо и отбухал все, что о нем думал. Пожалуйста, Сергоша, вмешайся. Нашла коса на камень...

— Ничего, не беспокойся, и не таких бюрократов ломали... А вот, что Кошкин в плохих условиях у тебя живет, не годится. Мы с тобой можем жить в плохих условиях, а они, Кошкины, Туполевы, не должны. Свою квартиру отдай! Свой кусок хлеба, что Ильич, кстати, и делал.

— Безусловно. Они дороже нас...— Киров помолчал, вспоминая что-то.— Недавно умер инженер, профессор

Тихомиров Николай Иванович. Кто он и что, знаешь?

— Слышал. Основатель Газодинамической лаборатории. Ракеты...

— Крылов, академик, Алексей Николаевич — не далее как позавчера специально приходил ко мне, настоятельнейшим образом советовал заняться изобретением Тихомирова.— Киров многозначительно закусил губу, оглянулся, как бы опасаясь недоброго уха, со смешной важностью, никак не шедшей ему, коренастому, располневшему в последнее время так, что старый френч застегивался внатяжку, поднял указательный палец, точно вонзил его ввысь: — У-у-у!.. Понимаешь? Крылов утверждает, что со временем — в не столь отдаленном будущем — используем это и в мирных и паче в военных целях.

— И Миша Тухачевский того же мнения. А я, признаюсь, как-то упустил из виду.

— Вообще Крылов!.. Гордость и краса наша. Вот уж истинно живое подтверждение того, что в человеке все должно быть прекрасно... Нептун! И борода у него нептунья, и весь благородный облик, и осанка. Семьдесят скоро стукнет, а работает — молодым не угнаться. Претерпел немало, хоть и генералом был. И все за новаторскую дерзость мысли. В свое время еще подполковником Крылов отмечен выговором командующего российским флотом за первое предположение о теории непотопляемости корабля, которую сегодня исповедует весь мир. Душевнейший человек, балагур, острослов, любит рассказывать забавные и поучительные истории. Англичан потряс тем, что с ходу определил причину загадочной гибели дирижабля, французов да и нас, грешных, да и всех вообще — тончайшим пониманием повадок и характера любого судна. Состоял чиновником для особых поручений при морском министре, непременный член комиссий по обнаружению причин гибели военных кораблей. Еще в двенадцатом, в докладе Государственной думе, предска-

зал, как сложится война. Консультирует и направляет строительство кораблей, меня теребит: «Извольте видеть неоценимую важность флота в деле обороны государства и возможного исхода такой войны, которой будет решаться самый вопрос о дальнейшем его существовании. Успехи морских войн подготовляются в мирное время...»

— Скажи, какой молодец!

— Сам, говорит, видел в Киле, как пристально немцы анализируют сталь, из которой сделаны наши суда. Посылаем на ремонт, а с них берут стружечки — и в лабораторию...

— Не надо бы ушами хлопать.

— Поди угляди... Да, Крылов... Счастье, что он у нас есть. Ученый капитан судостроения. Любит повторять: «Моря соединяют те страны, которые они разъединяют». А мы и моря соединяем. Приехал бы, Сергоша, на Беломорканал.

— Горький потрясен им. Говорит, большое счастье — дожить до таких дней, когда фантастика становится реальной, физически ощутимой правдой.

— То ли еще можно! Взяться бы за Север по-настоящему! Я только что от Валериана, из Госплана. Побыстрее надо превращать Севморпуть в нормально действующую магистраль.

— О том еще Ильич мечтал. На ГОЭЛРО обсуждали. Эх, если бы он жил!..

Далеко за полночь позвонил Винтер:

— Котлован затопили и плотину спасли, а в камере шлюза... Там работало около тысячи. Надеялись поднять нижнюю отметку береговых стенок. Борис Евгеньевич несколько раз требовал покинуть зону затопления, но ему не подчинялись, никто не уходил, все еще надеялись успеть. Тогда Веденеев пригрозил всех отдать под суд. Стали нехотя выбираться на высокий берег. И тут... Водяной смерч, ураганный водоворот, бревна, как щепки!..

Семерых недосчитались. В том числе двух красноармейцев...

Давно — пожалуй, со смерти Ильича — не плакал Серго, но тут...

В начале тридцать второго на основе ВСНХ создан Народный комиссариат тяжелой промышленности. Пятого января народным комиссаром назначен Орджоникидзе. Название и звание новые — обязанности прежние, прежние заботы...

За семнадцать месяцев построили Нижегородский автомобильный завод. Ввели в строй Харьковский тракторный, Московский автомобильный, первую очередь Уралмаша, Саратовский комбайновый, заводы фрезерных станков в Нижнем Новгороде и револьверных — в Москве, Уральский медеплавильный завод. За Полярным кругом подняли промышленный город — начали разрабатывать хибинские апатиты. Для переработки нефти построили мощные установки, спроектированные инженерами Шуховым и Капелюшниковым. Вот-вот войдет в строй первая очередь Березниковского химического комбината, Невский и Воскресенский химические заводы. На подходе «Шарик» — так, с ласковой надеждой, называют московский «Шарикоподшипник». В той же Москве начали монтировать инструментальный гигант «Фрезер». Ввели шестьдесят девять угольных шахт. На миллион киловатт повысили мощность электрических станций. С особой радостью докладывает Серго делегатам Семнадцатой партийной конференции:

— Накануне пуска Кузнецкий металлургический завод; сегодня, тридцатого января, зажигается первая домна гигантской величины, не имеющая равной в мире, — магнитогорская домна.

Однако. В Кузнецке обещали выдать чугун еще месяц назад, рапортовали о готовности, а до сих пор домна не

задута. Зачем было обещать, черт вас подери? Очень любим присочинить и приврать! В Магнитогорске домна «идет» рывками. Холодно ей, мерзнет. Серьезнейшие специалисты говорят, что, к сожалению, их опасения оправдываются: не исключено, что и в Кузнецке и на Магнитке из зимы в зиму поднятые с такими жертвами домны будут «стоять», а работать только летом.

«Так-то, уважаемый товарищ Серго! Вы паче многих ратовали за Урало-Кузбасс — пожалуйте прежде других и к ответу...»

— Серго, ты же все сделал, что мог и не мог! И делаешь... Сам говорил, чтобы увеличить годовую выплавку с пяти до девяти миллионов тонн, Англии потребовалось тридцать пять лет, Германии — десять, Америке — восемь, а мы пробежим этот путь за один нынешний год...

— Но я же ратовал за семнадцать — за второе место в мире...

— Вспомни, что Ленин тебе советовал.

— Кстати. Где его письма?

— Да у тебя же на столе. Не вставай, наизусть помню.

Все же поднялся, перечитал — будто заново:

«Товарищ Серго! Посылаю Вам доставленные мне сообщения. Верните их, пожалуйста, с Вашими пометками насчет фактов: что правда, что неправда.

Горячитесь Вы, верно, здорово при случае?

Надо бы Вам взять помощников, пожалуй, и направлять работу посистематичнее.

Надеюсь, не обидитесь на мои замечания и ответите откровенно, что и как выправить и исправить думаете...»

«Не нервничайте, потерпите. Ведите архиосторожную политику...»

Молодец, Зинуля. Нарочно подложила под руку — на самое видное место. Вовремя Ильич приходит на помощь: «направлять работу посистематичнее», «взять помощников», «не нервничайте, потерпите»... Вернулся, улегся.

— Ну как? Отлегло?

— А все-таки... Мы добродушны потому, что равнодушны.

— Вот характер! Ничем, никогда не доволен. Годовой прирост чугуна равен выплавке всей России в тринадцатом!

— Разве это мерка? Металлургия становится тем фокусом, на который обращено внимание всей страны. Мы построили великолепные машиностроительные заводы: тракторные, автомобильные, строим огромнейший тракторный завод в Челябинске, колоссальный машиностроительный завод в Краматорске и на Урале. Но если у нас не будет металла, что эти заводы станут делать?

— Отдыхай, родной, рабочий день впереди.

Все равно не спится. Вспоминается поездка в Донбасс. На Юзовском заводе встречали с оркестром. Расстелили ковер перед входом в заводоуправление. Демонстративно обошел ковер по слою пыли, заменявшему мостовую, но сдержался: возможно, это у них не от злого умысла, а от бескультурья — и негоже начинать с выговора. Но дальше — больше: завод потрясал беспорядком, грязью. И неспециалисту бросалось в глаза, что работал он скверно. Единственное, на чем можно было задержать взгляд,— будки с газированной водой в горячих цехах. Сопровождавшие понимали это — нарочно подводили к «шипучей благодати», отвлекая от остального.

Серго крепился, хмурился, наконец, не стерпел:

— А скажите, товарищ директор...— Всегда обращался на «вы», если был разгневан.— Чем вы раньше занимались?.. Балтийский матрос... Революционер... Очень нужная в металлургии профессия, если подучиться. Что? Некогда?.. Некогда совершенствоваться?.. Но вот будки с содовой усовершенствовали неплохо. Вам, пожалуй, и нужно трудиться на поприще содовой воды.— И, сделав знак, чтоб не провожали, ушел один.

Долго ходил по заводу. Присматривался. Расспрашивал старых мастеров. Не прерывая, выслушивал их рассказы:

— Обидно читать жития святых, товарищ Серго. Изо всех профессий повыходили святые, а из доменщиков — хоть ты тресни! Завсегда он, доменщик, отпетый грешник и пьянчуга. А, между прочим, в Юзовке у нас полчища безвинных безвременно полегли. Сходите на кладбище для интересу, если не верите. Кого — машина, кого — шахта, кто — сгорел, кто — желудок оборвал «козой». По ночам снятся праведники наши... Прорвало както кладку, шибанул чугун, спалил горнового. Отлили ему крест на той самой домне-погубительнице. Юз увидал крест на могиле, велел взвесить: на восемь целковых потянул. Платите. Мы отказались. Тогда хозяин отправил крест в переплавку. Сурьезный был. Ходил по цехам с дубинкой — производство направлял по шеям, по спинам, по чему бог расположит. На родине, слышь, начальствовал над кузнечным цехом. В Мидлсбро после того, как нас побили на Крымской кампании, царь броню корабельную заказал. Когда Юз приплыл в Питер с броневыми плитами, великий князь Александр Михайлович — он над флотом главенствовал — говорит: почему бы вам не поставить завод у нас? Что ж, пожалуйста... На какой реке наш завод? Верно, Кальмиус. А приток у нее? — Кальчик. В давние времена — Калка. Так точно, та самая Калка, где битва была. Может, вот здесь, где сапоги ваши, товарищ Серго, вязнут в пыли, ханский пир происходил? Приволокли — вот сюда! — князей наших, связанных, уложили наземь, настелили на них помост и айда-гуляй, цельную ночь пировали, плясали на живых косточках. Как Юз на наших, почитай, годов семьсот погодя...

Словно колокол набатный в голове тогда ударил. И представилось, как Иван Третий рвет ханскую басму, как Дмитрий, еще не Донской, выступает в поход, как

стоят полки в тумане, в предрассветной росе на поле Куликовом. Все это хрестоматийно с первой парты. А вот какая экономика подо всем этим? — Как выплавляли сталь победы? В сыродутных, в кричных горнах или в шахтных печах-домницах рождались латы, кольчуги, боевые топоры, копья, булатные мечи? Какое требовалось мастерство, радение, напряжение от тогдашних ударников — рудокопов, угольщиков, сталевщиков, кузнецов?.. Особенно остро ощутил Серго единение, преемственность судеб и ответственность перед будущим. И опять напоминающе всплыло, как призыв: шевелись, коль не хочешь, чтоб на тебе сплясали победители.

Конечно, старый Юз — аспид, но и у него есть, что перенять, хотя бы преданность производству, уважение к металлу, как к хлебу. Прежде Серго, признаться, считал честолюбие, выражаемое словами «оставить след на земле», лирической чепухой: ему нужнее было уважение современников, нежели почитание потомков. А тут вдруг... И в нем жило подобное честолюбие, и он не только продолжатель, но и предтеча, и ему небезразлично, как оценят его после смерти. Не очень-то он прежде задумывался о том, к примеру, как мужики в лаптях, с тачками, лопатами прокладывали насыпи, равные египетским пирамидам, сквозь новгородские болота, пробивали выемки-ущелья в гранитах Валдайской гряды, поднимали стальные мосты в десятки тысяч пудов. Какой ценой далось им путешествие из Петербурга в Москву, которое ты легко проделываешь по прямой как стрела, до сих пор самой совершенной дороге Европы, а может, и мира?

Огляделся. Куда пирамидам египетским до того, что видел он вокруг! Все пространство устлано железными путями — поля путей. Пронзительно хрипят паровозы, толкая составы ковшей. Протяжно, с присвистом, с гудом и стоном дышат печи — выдыхают к небу струи пара, клубы огня и чадной пыли, которая покрывает, прони-

тывает все вокруг: и траву, и дома, и воздух. Какую громаду взбодрили средь голой степи мужики херсонские, курские, брянские! Эх, если вооружить их современной техникой, просветить наукой!.. Что тогда они смогут!.. Скажи: чего не смогут!..

Прекрасны шесть башен, выстроившихся в ряд, будто гигантские шахматные ладьи, обтянутые стальными обручами, увенчанные нимбами пламени. Красуются, плывут, скользя по облакам, крепостные башни из огнеупора. Шуршат по ним водопады, сберегая от ярости распирающего изнутри чугуна. То над той, то над этой взрываются огненно-пыльные смерчи — там, наверху, в аду, катали ублажают ненасытность печных утроб, высыпая очередные порции плавильных материалов.

Такие домны уже не строим — строим новые, со сплошными броневыми кожухами, в девятьсот тридцать, тысячу тридцать, а то и тысячу триста кубов. Небоскребы, набитые ревущим огнем, раскаленным коксом, известняком, бурлящим металлом. Рукотворные вулканы. И при них воздуходувки с батареями нагревателей — кауперов, а вернее, фабрики незатихающих ураганов жара в полторы тысячи градусов. Но и эти старушки еще служат, бог им дай здоровья. Пожалуй, из всех сооружений, воздвигнутых на земле, самое величественное и прекрасное — доменная печь. В ней стихия огня, подвластная людям, превращает мертвый камень в живой металл, без которого невозможно счастье Серго Орджоникидзе.

На рудном дворе он подошел к каталям, толкавшим «козы». В рогатой, с длинными рукоятями вагонетке — шестьдесят пудов, тонна... Поди опрокинь на верхотуре колошника, в дыму и пекле... Попробовал, благо Семушкин отстал и удерживать было некому. Перепачкался, ногу зашиб, едва не задохнулся, нахлебавшись жаркого, едкого дыма. Спасибо, не надорвался и операционный шов не разошелся. Ну и ну! Получил полное представле-

ние из первых, так сказать, рук. Тут как раз подошел, видно «по тревоге», начальник цеха. Обернулся к нему без всякой доброты и снисходительности:

— Товарищ Бутенко! Как можете спокойно смотреть, спокойно жить?!. Есть, спать, пока рудный двор в допотопном виде?

— Товарищ Серго! При остановке печей на капитальный ремонт оборудуем их наклонными скиповыми подъемниками и автоматическими засыпными устройствами системы Мак-Ки.

— Нельзя ждать! Пойми, молодой инженер...— Серго схватил его за плечи, глянул на «горовых», которые, задыхаясь от газа и дыма, опрокидывали очередную «козу».— Делай немедленно!..

И теперь, среди бессонной ночи, Серго как бы спохватился: да, Бутенко, и вот именно Бутенко! Вот кто истинный герой металла. Вот на кого рассчитывать и надеяться...

Сын азовского крестьянина-рыбака, ровесник века. Из ремесленного училища — в Донской политехнический институт. Дипломный проект посвящает переоборудованию доменного цеха Таганрогского завода, находившегося, как сам Бутенко пояснял, на крайнем фланге технической отсталости. Нарочно выбрал завод, внушавший ужас и сострадание с юности, со времен разрухи. Использовал достижения техники так, что даже профессор Вологдин, презиравший «пролетстудов», признал проект выдающимся и отметил в дипломе. Заранее облюбовал Константин Бутенко место будущей работы: приехал в Юзовку, где прежде практиковался, и стал сменным инженером под рукой обер-мастера Максименко, одного из могикан школы Курако.

Хорошо знает Серго, что это за школа, кто и что сам Курако, доменщик-легенда. Прославился тем, что пускал безнадежно остановившиеся — «закозленные», то есть за-

ткнутые, забитые громадным слитком застывшего чугуна, домны, выручал едва ли не все заводы Юга. По доброй воле, в ущерб заработку и благоденствию, иногда на собственные деньги реконструировал доменные цеха. Но чаще хозяева не принимали его предложения: «Вы слишком порядочный человек, чтобы стать управителем завода», урезонивали тем, что пока в России мускульный труд дешевле машинного,— совсем, как в песне: англичанин — с машиной, русский мужик — с дубиной. Курако не смирился. Его захватила мечта поднять современный металлургический завод на базе Кузнецких углей, уехал в Сибирь, приступил к проектированию. Однако акционерное общество, которое финансировало проект, оказалось жульническим. В довершение бед нагрянули Колчак и сыпной тиф. Так вши съели еще одного гения — гения, но не мечту его. Она жила, высилась и утверждалась в многочисленных учениках его.

Многое в образе этого замечательного человека правилось наркому Орджоникидзе. Любил слушать рассказы о нем, особенно от самого выдающегося его ученика и последователя Бардина.

Курако всегда говорил: «Тот не инженер, кто через полтора года не может быть начальником цеха. Это — не сменный инженер, это — просто бессменный инженер»... Талантище! Неуемный, неутомимый рационализатор! Изобретатель! Главное достижение — горн доменной печи, который принят у нас в настоящее время и резко отличается от американского. Под рукою Курако на Краматорском заводе впервые построены оригинальный наклонный мост, фурменный прибор, леточная пушка. Американские аналоги усовершенствованы им же на наших заводах. Справедливо кураковские домны, цеха считались самыми безопасными.

Да, бесспорно, самым выдающимся преемником Курако стал Иван Бардин. В девятьсот пятом за участие в

революции исключен из Сельскохозяйственного института. Через пять лет окончил Киевский политехнический, уехал за океан, в страну, как выражается, дорогих машин и дешевых человеческих жизней. Был рабочим на металлургических заводах Чикаго. Вернувшись на родину, стал работать с Курако. После Октября восстанавливал металлургию в кураковском духе и стиле. Опыт, решимость, опирающаяся на знания, завидная выдержка, прямодушная, грубоватая откровенность, авторитет среди рабочих («свой, все степеня мозолями протопал»).

Бардин спроектировал самую мощную и совершенную на Юге домну. Задули ее в двадцать шестом — в Каменском на Днепре, и сейчас же к ней началось паломничество металлургов: дивились ее гармоническому силуэту, объему и, главное, невиданным дотоле у нас механизмам. Студенты делали с бардинской домны эскизы для дипломных проектов. Конечно же среди тех студентов был и Костя Бутенко.

«Не случайно,— думал Серго,— поставили Бардина главным инженером Кузнецкого комбината, который строят двести тысяч рабочих. Пусть мировая наука твердит, что современная металлургия невозможна в Сибири. Пусть. Будет, будет Сибирью прирастать могущество... А Саша Бутенко, что ж... Сам он говорил, что два кураковца — обер-мастер Максименко и инженер Бардин — сыграли в его жизни решающую роль...»

Работая в Юзовке, молодой инженер проштудировал немало из того, что было написано о металлургии порусски, изучил немецкий язык, принялся за иностранную литературу. В цехе собрал технический кружок. Ничего подобного прежде не бывало — начал занятия с рабочими. Сам продолжал проходить максименковские, они же кураковские университеты. Преуспел настолько, что стал критически оценивать искусность «доменных дел колдуна». Максименко упрямо держался того, что препо-

дал Курако, а тем временем на самых захудалых американских домнах уже работали лучше, чем в Юзовке. Американцы резко увеличили дутье, то есть подачу горячего воздуха в домны, а Максименко «дул» по старинке, и даже начальник цеха не смел перечить техническому диктатору.

Но едва обер-мастер уходил домой и на дежурство заступал Бутенко, дутье увеличивалось, выплавка поднималась. В двадцать девятом Бутенко становится начальником цеха — усиливает дутье так, что коэффициент использования полезного объема печей снижает до небывалого на заводе уровня. (Чем меньше этот КИПО, тем, значит, больше чугуна ты берешь.) Трудно добиваться своего — во время одной из аварий едва не сгорел. Так рассказывал потом:

— Очнулся я в больнице на следующий день. Весь в бинтах, на лице маска, а руки привязаны к спинке кровати, чтобы струпья от ожогов не сдирал. Посмотрел: у двери Максименко с хлопцами. Я спросил: «Кого хороните?» Максименко толкает соседа: «Глаза-то целы... Глаза-то целы...» Когда с меня сняли повязку, Максименко посветлел: «Повезло тебе,— говорит, по плечу хлопает.— Мой брат в свое время тоже сгорел на колошнике. Выдержку надо иметь. Терпенья тебе не хватает. Лезешь везде...»

Цех Бутенко стал единственным во всем Донбассе, выполнявшим программу. К молодому инженеру поехали за советом с других заводов. Серго премировал его заграничной командировкой — понятно, не развлекаться отправил, а закупать оборудование. Бутенко облюбовал новейшие турбовоздуходувки. Заламывали за них втридорога, так что многие члены закупочной комиссии предлагали подыскать что-нибудь подешевле, попроще. Но Константин Иванович уперся, настоял на своем: уж онто знал, чего стоит настоящее дутье...

— За границей я увидел, что такое культура производства,— вспоминал потом Константин Иванович.— Бывало, часами стоишь у домны, и горновые за все это время лишнего движения не сделают. Все до мелочи у них рассчитано. Любо смотреть на такую работу. Дыма на заводах не видно, воздух чистый, свежий, доменный газ, газ от коксовых печей утилизируют целиком — в производство, в жилые дома. Газифицированный завод отличается от негазифицированного, как электрический двигатель от старой паровой машины. Это новая эра. У Манесмана я дал себе слово газифицировать Юзовку...

И сделал со временем... Но в ту пору... Пока ездил по Германии, дома работа разладилась: две печи необходимо потушить для ремонта. Потушить... Легко сказать... Нет! И сказать нелегко — страшно произнести. Все боятся ехать к Серго за разрешением. Наконец Бутенко отваживается. Вот он входит в кабинет, когда Серго стоит за столом, просматривая газеты. Орджоникидзе оглядывает пришедшего, улыбается, пожимает руку:

— Садись. Чаю хочешь?.. Ну, выкладывай. Вижу, натворил что-то.

Поперхнулся, еще не пригубив стакан. Выпалил, чтоб не тянуть:

— Разрешите остановить печь.

— Доменную печь?..

— Распределитель Мак-Ки не успели смонтировать. И меня на время командировки Шапо заменял. Шляпо — называет его Максименко, не спец даже — самозванец, бывший кадровый офицер немецкий, прошел краткосрочные курсы, выдавал себя за инженера.

— Совсем как в «Горе от ума»: «В своей стране истопники, в России ж под великим страхом нам каждого признать велят историком иль геогра́фом». Что у тебя за коллектив, если без тебя дело разлаживается? Что ты за руководитель в таком случае?

— Да, не в Шапо, конечно, дело. Я виноват прежде всего.

— Хорошо, что сознаешь собственное варварство. Делай так, как находишь нужным, только быстро и телеграфь мне, когда дашь чугун.

Управился Бутенко на три дня быстрее обещанного. Домна «пошла» ровно, хорошо, но другая «хромала». Опять надо обращаться к Серго. Как раз в это время он ехал из отпуска. И на стоянке в Харцызске Бутенко поднялся к нему в вагон. Серго похвалил за скорый ремонт, вспылил, услыхав новую просьбу, накричал, но разрешил остановить и вторую печь:

— Не щадите агрегаты, в которых жизнь страны! Что еще? Договаривай. Не задерживать же отправление поезда.

— Хоть до Харькова с вами доеду, а все скажу! — И продолжал, когда поезд тронулся: — Атакуют меня со всех сторон. Обложили. Выход из строя наших домен распалил дискуссию металлургов. Большинство стариков — и Луговцев, и Мессерле, и академик Павлов — считают основной причиной мою форсированную работу. Не перестраивать домны велят, а возвратиться к прежнему тихоходу — с КИПО в одну и пять десятых. Да мне лучше в банщики... Основная причина в неправильном распределении материалов... Созвали в Харькове совещание металлургов, академик Павлов категорически возражал против предлагаемых нами холодильников. Установку аппаратов Мак-Ки признали правильной, но в связи с тем, что они импортные, тоже отклонили. Перессорился я со всеми друзьями, которые прежде меня поддерживали...

Серго прошелся по вагону, привычно балансируя на ходу, стал у окна, уперся раскинутыми руками в верхний косяк. В сумраке ночи угадывались высохшие балки, пыльные терриконы, силуэты шахтных копров с громадинами колес на вершинах. Давно любимая, волнующая

земля. Разливанное море огней — там пожиже, там погуще,— у края всполошенное заревом плавки. А тут, прямо у полотна,— домны, окутанные горячим туманом, пляшущими у подножий искропадами. Не слыхать настырного гуда кауперов, но над строем этих закопченных башен облака вспыхивают пурпуром от струи шлака, словно зарю предвещают. Немало сделано там, где, казалось, все вымерло, вымерзло, и в восемнадцатом, когда чрезвычайный комиссар Юга колесил тут на бронепоезде, и в двадцать первом, когда восстанавливали шахты. Хорош Донбасс, всемогущее, всевеликое царство труда и огня... Кажется, звонкая, ковкая красота твоя уже в названиях: Енакиево, Кадиевка, Ясиноватая... А вон зарево от Макеевки. Там Гвахария поднимает домны, что не хуже магнитогорских и кузнецких, готовит к пуску ижорский блюминг — тот самый... Жаль, что не удастся туда заехать. Надо бы заехать. И как хочется заехать... А там, за горизонтом, невидимые, но, кажется, обдающие жаром дыхания Таганрог, Мариуполь — во всю палит бывший Провиданс, ныне имени Ильича, строится Азовсталь, южная Магнитка на берегу моря, вот-вот запалят небо стальные «свечи». И туда бы надо.

Вновь прошелся по вагону, остановился против тактично примолкшего Бутенко, глянул в упор:

— Со всеми, говоришь, перессорился? — Кулаками небольно ударил по бицепсам.— Ошибаешься, не со всеми... Не поддерживают, говоришь, академики?.. Нет у нас права на КИПО в единицу с пятью десятыми. Обязаны — понимаешь? — обязаны гнать наши печи в хвост и в гриву к единице с одной десятой, как минимум. Американцы и немцы делают ниже единицы. Разве мы хуже?

Заскрипели тормоза, облегченно забрякала сцепка, закряхтели буфера. Серго опустил оконную раму, выглянул и с восторгом смотрел на краматорские домны, окаймленные языками пламени. Кислый, серно-едкий ветер трепал

густую, чуть уже тронутую седьной шевелюру, щекотал кончиком уса щеку.

— Ну и аромат! — послышался из купе голос жены.— Фу!

— Ничего ты не понимаешь, Зиночка! — серьезно, без тени иронии заперечил Серго.— Куда твоим розам! Куда всем духам от Коти! Ай, хорошо, как хорошо пахнет, когда домны работают! — И вновь к Бутенко: — Сходи, пока Краматорск не проехали. Всю ночь возвращаться будешь.

— Да мне теперь хоть три ночи! Спасибо, товарищ Серго. Не беспокойтесь: доберусь, меня тут каждый вагон знает. Спасибо.

— Тебе спасибо. Действуй под мою ответственность — в мою поддержку. Понимаешь? В поддержку! — напутствовал так, а сам усомнился, вроде дрогнул. Не много ли на себя берешь? Какое у тебя основание поступать на манер Курако? Ну, положим, насчет Курако не скажу, а Ильич бы одобрил...

Не безрассудной была его смелость. И вторая домна у Бутенко пошла как надо. А рядом, в Енакиево, на таких же печах, продолжалась чехарда — КИПО не ниже полутора. Что, если?.. Чем труднее — тем крепче, выше человек. И Гете справедливо говорит, что жизнь мыслящего человека слагается из трех периодов: ученье, путешествие, творчество. Самое время назначить Бутенко техническим директором в Енакиево...

— Что за наказание! — вышла из себя жена.— Ты плохо кончишь, Серго.

— Я хорошо кончу. Я упаду головой вперед.— И мягче, прося снисхождения: — Души не хватает, какие ребята повырастали! Славим героев прошлого, а ведь где-то рядом нынешние Кулибины, Леонардо. Вдруг не откроем их?

— Ну и жаден же ты на людей!

— В этом смысл жизни. Кузнецкий мартеновский цех не будет иметь себе равного не только у нас, но и в Европе. Заправлять этим цехом ставим молодого инженера Лисочкина, способнейший человек!.. На Магнитке сначала на рудодробильной фабрике, а теперь на монтаже блюминга молодой инженер Беккер даже американцев перещеголял... В Енакиево техническим директором будет очень способный инженер-доменщик Бутенко. Ты должна его помнить, приходил к нам в вагон... Такой молодой инженер, как Тевосян, стоит во главе целого объединения. Хотя и очень молодой, но дело знает и сумел сколотить вокруг себя очень умелых и знающих людей...

— А жаловался, кто-то из молодых, живя среди сибирских лесов, требует от тебя табуретки.

— В семье не без урода. Но больше Бутенки, Завенягины, Емельяновы. Мы головы ломали, как поставить производство экскаваторов, а Сухомлин говорит, что у него один из мелких заводов строит экскаваторы, уже в этом году получим сорок пять штук! В Краснодаре завод «Кубаноль» поставил производство лебедок Оттиса, тех самых, которые мы выписываем для наших доменных печей из Америки, так как даже в Германии и Англии их не делают...

В разгар рабочего «дня» — около полуночи — принял «правую руку» Тевосяна. Емельянов сейчас пускал Челябинский электрометаллургический комбинат. Другого такого колосса у нас пока нет, а продукция необходима, особенно когда на Дальнем Востоке запахло конфликтом с Маньчжоу-Го. А дело в Челябинске, как назло, не клеилось, электроды для выплавки лучших сталей трескались и рассыпались в печах. Серго чуть не каждый день звонил Василию Семеновичу в Челябинск, наконец вызвал в Москву:

— Расскажите, из чего состоят ваши проклятые электроды.

— Обычный кокс малозольный.

— Дальше?

— Антрацит, каменноугольная смола.

— Все?

— Все. Больше ничего не входит.

— Неверно! — Серго отодвинул листок со своими записями, хлопнул на него карандаш, резко встал: — Еще организация входит. А у вас!.. Из ремонта не вылезаете. Приняли от фирмы «Сименс — Шуккерт» оборудование, не прошедшее испытания. Масло, как вы знаете, коксуется в трубопроводах гидросистем. Рейки, винты, рычаги управления не выдерживают высоких температур. Мастер, которого я премировал велосипедом, продал его, чтобы кушать. До взрыва допрыгались! Думали, диверсия. Неорганизованность хуже!

— Я готов нести ответственность.

— И понесете. Опять поедете за границу.

— Все что угодно, только не это! Работать хочу! Вот она где у меня сидит, заграница эта! И так уж Спецсталь главкомом на колесах зовут. Носимся из Лондона в Сибирь и обратно. И на заводах больше работаем, чем у себя в главке.

С утра до вечера в цехах, на прорывах, помогаем, как можем и не можем. В марте по вашему заданию я был в Италии. Потом в Бреслау, в Швеции, в Норвегии, в Англии на заводах Гадфильда в Шеффильде, на заводах Томаса Ферста и Джона Брауна, которых называют английскими Круппами. Потом снова в Руре, прижал немцев, выторговал по пятнадцать тысяч марок на каждом комплекте электропечи...

— Понимаю: надоело, но — надо. Поедете уполномоченным нашего Металлобюро на год, а может, и на три.

— За что?! Я, как губка, насыщен техническими сведениями. Пора меня отжимать.

— Пока не наладите на Урале, будете в Руре. Кстати, что заметили в Германии в политическом отношении?

— Больше безработных стало. Полно нищих. Свыше двухсот тысяч самоубийств. А Гитлер сулит рай земной. Думаю, вот-вот придет к власти. Присматриваются к нам, как никогда, пристально. Фрукт один, инженер Остгоф, начальник отдела фирмы Демаг в Дуисбурге, говорит по-русски, расспрашивал про Уралмаш и кое-что рассказывал про тот же Уралмаш, чего я не знал. «Правду» выписывает, «Известия», даже «Уральский рабочий».

— Не «даже», а «прежде всего»!.. Поезжайте к ним, дорогой. Надо успеть взять у них все, что можно, пока дают. Мы обязаны выиграть войну до того, как она начнется...

Приказ
По Народному комиссариату
тяжелой промышленности
№ 696

Днепросталь

10 октября 1932 г.

Героическими усилиями рабочих, инженерно-технического и хозяйственного персонала Днепростроя одержана величайшая победа на фронте социалистического строительства. Закончена строительством и сегодня вступает в число действующих предприятий Советского Союза Днепровская гидроэлектрическая станция в составе 5 турбин общей мощностью 310 тысяч киловатт.

Приказываю:

— Главэнерго включить Днепровскую гидроэлектрическую станцию имени В. И. Ленина в число действующих электростанций.

Народный комиссар тяжелой промышленности

С. Орджоникидзе

Иное запели теперь на Западе:

— Каковы бы ни были трудности, советская промышленность, как хорошо орошаемое растение, растет и крепнет...

— Сегодняшняя Россия — страна с душой и идеалом.

— Впервые в истории Россия добывает алюминий, магнезит, апатиты, йод, поташ и многие другие ценные продукты. Путеводными точками советских равнин не являются больше кресты и купола церквей, а зерновые элеваторы и силосные башни. Колхозы строят дома, хлева, свинарники. Электричество проникает в деревню, радио и газеты завоевали ее. Рабочие учатся работать на новейших машинах. Крестьянские парни производят и обслуживают сельскохозяйственные машины, которые больше и сложнее, чем то, что видела когда-либо Америка. Россия начинает «мыслить машинами». Россия быстро переходит от века дерева к веку железа, стали, бетона и моторов...

Тринадцатое — пятнадцатое октября тысяча девятьсот тридцать второго года — Серго на производственно-техническом совещании руководителей всех металлургических заводов Днепропетровска, на основных заводах города, на заводе «Коммунар» в Запорожье, выступает с приветствием на торжественном собрании, посвященном вручению ордена Ленина комбайностроителям.

Седьмое — двенадцатое января тысяча девятьсот тридцать третьего года — на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК. Выступает с речью по докладу «Итоги первой пятилетки и народнохозяйственный план 1933 г.— первого года второй пятилетки».

Тридцатое января тысяча девятьсот тридцать третьего года — Гитлер приходит к власти в Германии. Гитлер — это война.

ВСЯ НАДЕЖДА НА ВАС

Тысяча девятьсот тридцать седьмой год. Восемнадцатое февраля. Ночь. Серго все еще в рабочем кабинете. Так не хочется уходить!.. Не хочется, а надо. Зина заждалась, волнуется.

Уже в дверях задержался: не забыть бы, не упустить из виду... Вернулся к столу. Под стеклом на нем мельком заметил листок со словами Феликса Дзержинского, которые записал для себя и держал перед глазами вместо портрета на память: «Я не умею наполовину ненавидеть или наполовину любить. Я не умею отдать лишь половину души. Я могу отдать всю душу или не дам ничего». Пододвинул блокнот, размашисто, но четко набросал на следующий рабочий день:

«Газовые месторождения в **Дагестане.**

Йод и бром **Березкеевский.**

Проект приказа».

...Искусный шофер мягко тронул с места — и сразу тяжелый «паккард» понесся, точно взмыл над заснеженной площадью Ногина. Заспешили навстречу трамвайные мачты, расчищенные рельсы, сугробы под фонарями. Угомонившиеся, уснувшие дома улицы Разина. Поворот. Скользкая — шины завыли — брусчатка подъема от Москворецкого моста мимо храма Василия Блаженного.

Когда пересекали Красную площадь, попросил шофера:

— Останови, пожалуйста.

Вопреки строжайшим правилам, к изумлению и явному неудовольствию сопровождавшей «на хвосте» охраны, выпрыгнул из кабины. Придерживая полы шинели на вьюжном ветре, подошел к Мавзолею. Остановился перед часовыми. Поднял взгляд к мраморным буквам:

«Ленин»...

ЧТО ПОСМЕЕШЬ, ТО ПОЖНЕШЬ

Ленин...

Тысяча девятьсот одиннадцатый год, тридцать первое января. Слякоть и мозглятина парижской зимы. На совесть пошаркав у порога, двадцатичетырехлетний Григорий Орджоникидзе переминается перед консьержкой в подъезде дома номер четыре по улице Мари-Роз. Грузинские слова мешаются с русскими и французскими. Из многообразия галльского лексикона почему-то всплывают лишь «пардон», «мерси», «месье». «Месье» определенно не подходит. И пришелец бормочет, робея, но с упорством оправдывающегося:

— Очень пардон, генацвале!.. Очень мерси...

Понимает, что должен казаться нелепым, но не может понять, отчего так сердится почтенная женщина. Пытается с помощью энергичной жестикуляции и мимики показать, что не хочет обидеть, что ему надо туда, наверх. Но она злится пуще прежнего. И наконец — «Пфуй!» — оставляет миску с супом на круглом столике, проворно стучит каблуками по ступеням. Пришелец смиренно ждет. Вскоре сверху является другая женщина, миловидная, чуть начавшая полнеть, с густыми русыми волосами, причесанными на пробор.

— Вы к нам? — оглядывает недоверчиво, но с интересом.

А пришелец улыбается во все усы — во всю душу.

— Вы — Серго? — она оборачивается к консьержке,

спускающейся следом, объясняет что-то по-французски, из чего он может понять лишь «пардон», и снова к нему по-русски: — Эта добрая женщина разгневана тем, что вы отвлекли ее от обеда. Обед здесь святее обедни. Вбежала к нам: явился, говорит, месье, похожий на д'Артаньяна. Проходите, пожалуйста. Пардон, мадам, миль пардон...

Войдя в квартиру на третьем этаже, Серго сразу понял: здесь исповедуют истину о том, что стыдно жить не в бедности, а в грязи. Скромность в сочетании с чистотой и порядком. Наверное, быт маленькой семьи — Владимир Ильич, Надежда Константиновна, ее мать, Елизавета Васильевна,— вызывает удивление даже у прижимистых французов. Конечно, здесь бывает множество людей, но никто не шумит, не мельтешит, нет намека на то, что в отечестве именуем проходным двором. Несмотря на миниатюрность, квартира не кажется тесной, не заставлена мебелью. Все необходимо, обязательно, удобно. И железные кровати, и белоснежные покрывала, и строгие стопки книг. Столько книг сразу Серго еще не видел.

С улыбкой предупредив, что не может похвастать кулинарными способностями, Надежда Константиновна пригласила обедать. Подумав: «Для голодного и соль с перцем — добрая еда», забыв имеретинские правила хорошего тона, не позволяющие сесть за стол раньше третьего приглашения, гость проследовал в кухоньку, которая служила и столовой и гостиной. У стены, против газовой плиты, стоял продолговатый стол, покрытый клеенкой и уставленный тарелками. Серго сел между хозяином и хозяйкой, смущаясь тем, что рядом — локоть в локоть — Старик, основавший петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», когда Григорию Орджоникидзе было девять лет, брошюры и книги которого увлеченно штудировал Григорий Орджоникидзе с тех пор, как друг юности дал ему первую из них.

С удовольствием обнаружил на столе молотый перец, одобрительно заметил, как обильно Ленин перчил и бульон и гуляш. За обедом Ленин привычно щурился, изучал пришельца и наконец, не сдержав данное жене слово — дать человеку поесть по-человечески, легко и быстро заставил гостя разговориться. Так что Орджоникидзе только дивился себе: откуда что бралось. Рассказывал о своей сибирской ссылке в деревню будто бы с нарочно для того придуманным названием Потоскуй, о том, как еще на этапе решил бежать, как потом выверил наилучший маршрут, запасся сухарями и в августе позапрошлого года бежал, как добирался в лодке, пешком, на попутных подводах до Тайшета, а оттуда поездом в Челябинск, в Баку, как недолго пробыл в Баку и, собрав надежных товарищей, подался в Персию, сражался там на стороне повстанцев. Сначала, правда, казалось, что все это не очень-то важно для Ленина. Запнулся, но тут же ощутил его участливый, торопивший интерес и волнение.

Пережитое начинало представляться Григорию Константиновичу как бы заново. Он чувствовал ни разу еще не испытанный задор, неодолимое желание поделиться. Редкими, осторожными вопросами Ленин направлял рассказ, поддерживал уверенность, чувство собственного достоинства. Конечно, Серго еще не знал и не мог знать, что эта деликатность Ленина в сочетании с его талантом выслушать человека станет одной из лучших традиций большевистского стиля общения, будет и пребудет в нем самом, в Серго Орджоникидзе. Все больше увлекаясь, переживая, говорил:

— Лиса и шакал по одной дороге ходят. Чую сердцем — измена. Очень много охранке известно про нас. Мамма дзагли! Собачьи дети! Лучше уж драться со львом, чем держать змею в своем доме.

— Отлично сказано...— Ленин задумался.

Кажется, теперь только Серго разглядел его густые — скобой — усы, сильный выбритый подбородок, чистый лоб, высоченный, широченный. Именно за такие лбы сибирские мужики прозывают людей башковитыми. Во взгляде — вызов, готовность к действию. Коренастый, плотный, он поднялся из-за стола, шутя пригласил «в приемную». Ею служила та же кухня, только от стола пересели к окну, за которым виднелся огороженный двор, пустырь, мокро чернели стены заводика, должно быть пивоваренного, со штабелями бочек.

То присаживаясь рядом, то расхаживая, если можно расхаживать три шага туда — три обратно, Ильич расспрашивал Серго. Ничем не давал почувствовать, что на шестнадцать лет старше, опытнее, образованнее. Когда Серго рассказал — в деталях — о разброде в российских организациях, о том, что сил до слез мало, Ленин обхватил локти так, точно зашиб оба разом, но:

— Что же делать нам, товарищ Серго? — и тут же ответил: — Драться. Революция подавлена — да здравствует революция! — Походил, остановился, глянул в упор: — Будут новые баррикады и новые Советы. Будут. Смелость, смелость и еще раз смелость... Зачем вы приехали сюда? — не озадачил, нет — ошарашил. И хохотнул отнюдь не добродушно.

Серго с недоумением смотрел на Ленина. Не подумал ли Владимир Ильич, что он приехал спасаться или еще по какой-то сомнительной причине. Серго еще не знал, что это обычная для Ильича манера выведать у тебя все до точки, проверить на тебе собственное мнение, задавая и такие вопросы, которые кажутся подчас вопросами самых яростных противников.

— Как зачем?! — ответил запальчиво.— У нас говорят: «Учепье лучше богатства, острее сабли, сильнее пушки».

— Гм! Какое у вас образование?

— Класс церковно-приходской школы, двухклассное сельское училище, фельдшерская школа в Тифлисе. Дурак дураком, чувствую.

— Уже не дурак, если «чувствуете»,— Ленин засмеялся.— Я читал ваше письмо в комитет партийной школы, где вы просите зачислить вас и заверяете, что обязательное условие — возвращение в Россию по окончании лекций — вами безусловно принимается.

— Жизнь невежды хуже смерти!.. Знаете, что меня больше всего поразило в Париже? Дом Инвалидов, могила Наполеона. Вокруг основания красной мраморной гробницы по мраморному полу мозаика — названия выигранных Наполеоном битв, покоренных городов, и среди них Москва. Замер, что ты будешь делать! Стою ни жив ни мертв. Так тяжко, так обидно! Зачеркнуть хочу. Смешно, да?

— Отчего же?..

По тоске во взгляде Серго понимал, до какой боли дорога ему родина. Но Ленин говорил совсем иное:

— Люблю Волгу, луга, березы. Но всякий раз, когда вижу избу, ту самую избу под соломой или щепой, в которой веками живет и умирает кормилец всея Руси... Полвека назад Чернышевский сказал: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы». И это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей из-за отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было. Теперь ее мало, но она уже есть. Будут новые баррикады и новые Советы. Будут, товарищ Серго.

— Откуда, Владимир Ильич, такая вера?!

— «Вера»? Знание! Говорим, история за нас. Тем более должны мы стать сильнее, умнее, искуснее врагов. И не стоит забывать, что в Париже есть не только могила Бонапарта, но и Стена коммунаров. Это — к вопросу о вашей, о нашей учебе, товарищ Серго. А уж коль речь

зашла о такой материи, как вера, то, пожалуй... Она у меня от вас. И таких, как вы. Вся надежда на вас...

Июньская, без единой звезды ночь. Там повсюду в ее просветленной бездонности кто-то любит, страдает, а ты сиди тут долби: «товар есть, во-первых... во-вторых...» Лонжюмо, дремлющее знойными днями, оживает по ночам. Под окном, по всей Гранд-рю громыхают повозки со старым салатом и молодой фасолью, с цветной капустой и корнишонами, с корзинами и клетками, из которых несутся вопли поросят, кроликов, пулярок. Время от времени в кованый разнобой копыт врезается рычание грузовика и удаляется, пахнув за оконное стекло бензиновым чадом. Недальний Арпажон, знаменитый огородниками и ярмаркой зеленого горошка, шлет ко чреву Парижа непременных его набивателей: «товар — деньги, деньги — товар...»

Как-то оно дома с урожаем? Сакартвело! Не зря зовут тебя солнечной. Почему твой сын здесь? С грустной усмешкой припомнил легенду, передаваемую из рода в род: когда бог поделил между народами твердь, прибежал грузин: «А мне?» — «Где ты был, кацо? Нет больше ни пяди».— «Господи! Где ж мне приумножаться?» — «Эх, так и быть!.. Оставил для себя тут кусочек — бери».

«Не хочу учиться — хочу жениться,— подумал иронически к себе, но,— хочу любить. Хочу, чтоб меня любили. Эта ночь никогда не вернется. Как душно! И окно открыть нельзя: свеча погаснет, комары налетят...» Спустился по скрипучей лестнице. Вырвался на волю. Полетел, словно на свидание, обгоняя тяжелые фуры, взмыленных першеронов, запыхавшихся возниц. Пропустил грузовик.

Остановился, когда нос к носу возникла запыленная статуя форейтора, а над ней на постаменте бюст Адольфа Адама. Композитор Адам... Что знаешь о нем? Жил когда-

то и сочинял музыку. Не густо. Он жил так, что стал бессмертным, а ты... Июнь — румянец года... Как рано светает, вернее, совсем не темнеет...

Появился Ильич в легкой белой рубашке и сандалиях:

— Не спится... Такая ночь! Хорошо...

— Персы говорят: ночью кошка кажется соболем... Да, хорошо здесь. Европа...

— А наши дражайшие национал-либералы судят Петра Великого: почто-де прорубил сюда окно?

— В Сибири один сосланный за убийство при погроме говорил мне, что никто не нанес отечеству такой урон, как Петр, который будто бы уничтожал русскую самобытность.

— Не надо удивляться, товарищ Серго. Конечно, ревнителям «самобытности» затеи молодого Петра не по душе, но позволительно спросить: что бы стало с Россией, при всей ее «самобытности», скажем, после той же Полтавской баталии, да и была ли бы вообще Полтавская баталия, не будь петровского «уничтожения самобытности»?

Серго, как всегда, позавидовал самой сильной в нем завистью — удачным мыслям другого: почему такая мысль не пришла в мою голову? Ведь вроде напрашивалась сама собой...

Взяв Серго под руку, Ильич повел его по тропке меж домами в поле, где не столь яростно клубилась пыль от повозок и грузовиков, продолжал так, словно хотел убедиться в достоверности своих суждений:

— Несомненно, что Россия, вообще говоря, европеизируется, то есть перестраивается по образу и подобию Европы. Когда мы возьмем власть, мы окажемся перед задачами чудовищной сложности. Нам придется расплачиваться за века прозябания в крепостничестве, всеми силами перенимать у Европы лучшее, практический опыт,

прежде всего опыт индустриализации... Петр ускорял перенимание западничества варварской Русью. Любопытнейшая подробность: некоторые историки утверждают, будто бы Наполеон диктовал «Завещание Петра Великого» в виде тезисов, когда ему в восемьсот двенадцатом году нужно было создать настроение для своего похода против России. Вот вам и обратная, так сказать, точка зрения — из Европы на европеизацию России.

Занятия в партийной школе были похожи больше не на лекции, а на беседы. Постепенно Серго стал одним из самых близких товарищей Ильича. Как-то в воскресенье отправились в театр на окраине Парижа. Сначала смотрели спектакль. Серго не понимал почти ни слова, злился. Ленин склонился к нему, перевел несколько реплик, махнул рукой:

— Сентиментально-скабрезный вздор, которым так охотно потчует рабочих буржуазия. Потерпите, вот Монтегюс выйдет!..

Наконец — Серго не ожидал таких рукоплесканий — Монтегюс вышел. Ладно скроен, крепко сшит, ни дать ни взять — каменотес или кузнец с «Рено». Рабочая блуза, руки в карманах, красный платок повязан как шарф. Прядь смоляных волос выбилась из-под каскетки, глаза смотрят, задирая: «Ну-ка, троньте меня!»

Ильич заспешил, поясняя смысл куплетов:

— Позорит депутатов: забыли все свои обещания на другой же день после выборов... Гордится тем, что он — сын и внук коммунаров. О! А это — особо... «Салют вам, солдаты семнадцатого полка!» Семнадцатый полк, брошенный на усмирение, побратался с восставшими...— Он был возбужден и растроган, как всегда бывал возбужден и растроган, переживая великодушие, возмущение против неправды. Смеялся по-детски счастливо. И по тому, как радовался он, Серго понимал: ох, далеки от истины меньшевики, приписывающие Ильичу аскетизм.

Понятно, Ильич всегда в деле. Но разве жадно любить жизнь, впитывать ее, так сказать, всеми порами во всей полноте, сложности и многогранности, со всеми цветами, вкусами, ароматами, искать и находить в ней особенно созвучное твоей душе, твоей натуре — разве это не наслаждение жизнью?

Работали много. Усердно. В сущности, занятия продолжались и по вечерам, когда уходили из Лонжюмо в живописные окрестности. Серго любил подниматься на лесистый гребень, вытянувшийся с юга от Иветты, и оттуда, словно с родных гор, смотреть на далекий Париж, который чем-то, душным маревом, что ли, напоминал Тифлис. Перед ним лежали наливавшиеся хлебной спелостью поля. И среди них, в Монтлери, высилась башня, когда-то, верно, славного и неприступного замка. Ну точь-в-точь Мцхета с ее древними соборами и монастырем.

И грусть подавляла его. Тоска по родине пробуждалась такая, что в груди жарко. И червячок сомнения посасывал: «Так ли живу?»

Истомленные зноем, не раз они с наслаждением растягивались где-нибудь в длинной тени от скирды, купались в меланхолической Иветте. Выросший на берегах студеных речек, вдали от моря, Серго с ревнивым любопытством наблюдал, как Ленин по-волгарски, замашистыми саженками, плыл вдоль берегового уреза: поперек Иветты не очень-то размахаешься. Здешний зной не допекал кавказца, как других, и вода казалась ему холодноватой. Наконец он превозмог себя и... бултых животом вперед. Ой, больно!

— Все просто — надо только уметь,— смеялся, отфыркиваясь, Ильич, когда Серго подплыл к нему «по-собачьи», молотя воду руками-ногами.

Потом лежали на берегу, радуясь своей силе, живому теплу земли, запаху скошенной люцерны, становившейся сеном.

Охваченный собственным и вместе — чувствовалось — общим настроением, становясь как бы выше в собственных глазах, Серго затянул песню. Затянул так, что шедшая мимо девочка с вязанкой сена для кроликов остановилась. То ли звуки гортанно-гулкой — не французской и не русской — речи настораживали, то ли Серго по традиции предков с лихвой восполнял недостаток вокала избытком души — отдавал каждому звуку все, что было доброе и высокое,— только и девочка из Лонжюмо и товарищи слушали его, притихнув, почти завороженно. Старались постичь, вопреки языковому разделу, величаво гордую гармонию песни. Когда Серго умолк, Ленин спросил:

— О чем вы пели?

— Разве песню расскажешь?.. Сначала я пел обыкновенную «Будь здоров, дорогой!». Потом — заветную «Станем, братья, достойными Амирани!». Мать Амирани — богиня охоты, отец — деревенский кузнец. Амирани мы почитаем больше бога. На одном плече луна, на другом — солнце. Луна у нас считается мужчиной, солнце — женщиной. Амирани высокий, как Эльбрус. Глаза — во-от такие! Похож на добрую тучу, которая дарит дождь. Неутомимый, как волк. Неукротимый, как барс. Могучий, как двенадцать пар буйволов. Бежит — будто обвал в горах, земле трудно.

— Вы часто повторяли слово «гамарджоба». Что оно значит? — спросил Ильич.

— «Победа» по-нашему значит. Так мы приветствуем друг друга. Вместо «здравствуй» желаем победы. О чем пел?.. Тяжелым мечом, горячим сердцем Амирани побеждает дракона — вешапи такой, знаете, голов много, все губит: колодцы, солнце, отнимает воду, огонь, свет. Амирани побеждает каджей — злых духов и их повелителя, бога, который распоряжается погодой — грозой, дождем и ветрами. Он, Амирани, крадет небесную деву Камари, которая была заточена в башне над морской бездной.

Камари дарит людям огонь и воду. Амирани — прекрасный кузнец, учит людей ковать мечи и плуги, убивает вредные травы, помогает родиться хлебам. За непокорность и сочувствие людям главный бог приковал Амирани к скале в пещере. Там орел изо дня в день клюет его печень. А верный пес лижет цепь, чтоб она перержавела. Но каждый год в четверг страстной недели кузнецы, которых приставил бог, чинят цепь. Раз в семь лет глухие камни разверзаются и можно увидеть Амирани, но увидеть его может только тот, кто достоин его.

С треском, посвистом и воем над ними появился аэроплан.

— Вот это смельчак! — Ленин, как все, запрокинул голову. Не раз они с Надеждой Константиновной на велосипедах ездили полюбоваться аэропланами к аэродрому, над которым обычно кружили захватывающе прекрасные машины, а тут...— Верст на десять залетел!

— Все пятнадцать кладите!

Пилот склонил голову, помахал рукой в краге.

— Вот он, Амирани нашего века.— Ленин восхищенным взглядом проводил чудо-машину, вздохнул мечтательно: — Либкнехт вспоминал о прелюбопытнейшем разговоре с Марксом. Маркс издевался над победоносной реакцией, которая воображала, точно так же, как сейчас наша, российская, реакция воображает, будто революция задушена, и не догадывалась, что естествознание подготавливает новую революцию. Маркс тогда с воодушевлением рассказывал Либкнехту, что на одной из улиц Лондона видел выставленную модель электрической машины, которая везла поезд, и заметил: «Последствия этого факта не поддаются учету. Необходимым следствием экономической революции будет революция политическая». Да-с... Так-то, друзья мои... Амирани, Прометей, Степан Разин...— Умолк, обводя товарищей задумчивым взглядом. Встрепенулся: — Нет! Не только этот пилот и не он

в первую голову. Амирани нашего века здесь, со мной, сидят под скирдой возле Иветты.— И, довольный, засмеялся.

— Подкандальники расстегнулись! Натрешь ноги, Серго!

А ему видится тысяча семьсот второй год, октябрь. Во-он туда, на тот мыс левого берега, выходят войска Петра. Молодой — такой же, как ты сейчас,— царь всматривается в мокрые башни с флюгерами над конусами свинцовых крыш. А стены!.. До чего высоки! До чего, знать, толсты?! Солдаты, что копают редут под осадную батарею, только вздыхают: «Неспроста, вишь, Орешком прозвали». Взмывает над круглой башней за́мка голубое знамя с золотым львом. Гулко лопается ветер, стелет белый дым по серой воде. Ядро трескает в грязь, шипит, обдает Петра брызгами.

Тысячи солдат, ухватясь за канаты, тащат из Ладоги штурмовые ладьи, волокут по прорубленной загодя просеке в обход досягаемости шведских ядер, спускают в Неву ниже крепости. Облепив ладьи, толкают и поддерживают, чтобы ровно шли — килями по бревенчатым настилам. «Рраз, два — взяли!» — истошно командует Петр. Щиколотки посбивал, оступаясь с наката. Кафтан сбросил. Рубашка дважды насквозь — пот соленый встречь дождю студеному. Только скрученный галстук по-прежнему давит вздутые жилы длинной шеи. Вцепился в канат, глаза выкатил: навались!.. Нет, не солдаты тянут — ты, Серго, тянешь. Со вчера не евши, ладони — в кровь. Но царь сам в деле и тебе не дает спуску, материт, колошматит чем ни попадя — правого, виноватого.

К ночи пятьдесят ладей с помостами для стрелков спущены в Неву. Солдаты уж ни есть, ни пить: где свалились в мокрый мох, там и спят... Заутра, чуть свет, загрохотали барабаны. Прапорщики трясут, отрывают от

прибрежных кочек, ставят на ноги: «Зар-ряжай мушкеты! Береги патроны от дождя! По два — за пазуху! По две пули — за щеку! Ар-р-рш! Бегом!..»

Заслоняя замки полами кафтанов, забираются на помосты. Волна хлещет в борт — ладья качается, скрипит. Гребут. Плывут наперерез быстрине. С маху втыкаются в берег. Стрелки ссыпаются на шуршащую гальку. Бегут, едва волоча штурмовые лестницы. Горит крепость, но не сдается. Рвутся пороховые погреба, обваливается восточная стена. Пожарище. На башнях плавится свинцовая кровля. Словно взрываясь, рушатся стропила. Вздымаются смерчи красных искр, голубого пламени. Полыхает река. Лезут, становясь друг другу на спины, цепляются, ползут, карабкаются, обдирая локти рваными камнями. А сверху — камнепад, сверху — ручьи горящей смолы, расплавленного свинца. «Вперед!» «Знамя — на штурм!» «За веру православную, за царя-батюшку, за святое отечество!..» Назад пути нет: полыхая, уплывают по Неве пустые ладьи, подожженные шведскими ядрами. «Шары чугунные повсюду меж *нами* прыгают, разят, прах роют и в крови шипят... Швед, русский — колет, рубит, режет. Бой барабанный, клики, скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон, и смерть и ад со всех сторон...»

— Ты что стоишь, подлец? Не хотел шить золотом — бей камни молотом.

Вновь он не петровский солдат, штурмующий крепость, а ее пленник в ножных кандалах, выгнанный на заготовку льда каторжник. И перед ним на острове не Орешек, а Шлиссельбург — самая страшная темница империи, где навсегда исчезали опасные для трона люди. Теперь вот ты, Григорий Орджоникидзе... «К трем годам каторжных работ с последующим поселением в Сибирь пожизненно»...

Пожизненно... За то, что во время первой русской революции перед большим стечением народа открыто про-

возглашал: «Долой Николая!» За то, что противозаконно переходил государственные границы, издавал и распространял нелегальную литературу. И еще — за многое, многое подобное.

Мороз. Ветер. Самое подходящее время для заготовки льда. Его надо много. Целые горы, укрытые от солнца опилками, соломой, землей, пролежат до сентября. Начальство знает толк в делах, с пользой и для отечества и для себя сплавляет ледок летом, когда всем желанны кусочки зимней стужи: и пивоварам, и мороженщикам, и молокоторговцам, и мясникам, и рыбникам, и рестораторам — только давай. И дают. Надзиратель Сергеев — в недавнем прошлом унтер-офицер Семеновского полка. Доброхотно — сам вызвался — расстреливал восставших московских рабочих на Пресне, пуще всех ненавидит «образованных вумников», должно быть, за то, что под пьяную руку в ресторации поколотил студентишку, а тот возьми да окажись сыном модного питерского доктора — папаша накатал в газетку, вышли неприятности. Так что теперь Сергеев рвением ко благу отечества и просвещению превосходит самого себя. Сколько рук у Сергеева — столько разом и отвешивает ободрений подопечным. («Эх, жаль, рук маловато!») Одновременно остальных «поощряет» вычным, на совесть поставленным смирновкой, не садящимся ни в стужу, ни в жар басом — изощренно, истово.

Страшный человек. Страшный не от силы — от слабости своей. Страшный потому, что, наделенный властью, повелевает тобой да еще сотней других, чинит суд и расправу. Каторжане для него — кровные враги, хотя и зовет их кормильцами: не будь их, как бы добывал хлеб насущный? Необузданный, свирепый, он вваливается в камеры и среди ночи, тиранит каторжан за то, что «не так спят». Все его ненавидят и боятся, за глаза называют чумой. Любит он, кажется, только своего ангорского кота

Тишку, о котором может говорить подолгу, и тогда каторжане переводят дух, так что и они, никогда не видавшие Тишку, любят надзирателева кота. Когда тот пропал ненадолго, Сергеев чуть не рехнулся от горя, едва не изувечил одного арестанта.

Особое внимание Сергеева уделено сегодня уголовному Алтунову, осужденному к десяти годам каторги за убийство с целью грабежа. Алтунов — убогое, затравленное, доведенное до отчаяния существо. При всем отвращении к убийцам и убийствам, Серго жалеет Алтунова, тем более что тот немощен и, видать, на грани сумасшествия:

— Зачем такая жизнь, а? Наложу па себя руки, да как? Оправиться без надзора не дают... Хвачу пешней надзирателя по башке — или он меня убьет, или военный суд...

Сергеев, должно быть, что-то подозревал и был особенно настороже с Алтуновым. Но одновременно бес распалял и задорил неукротимого надзирателя. Могучий, будто назло Алтунову пышущий здоровьем и домашним довольством, беспрерывно издевался:

— Ау, соленый! — намекал на то, что при крещении у армян принято посыпать солью макушку младенца.— Почто на лямке виснешь? Обещал удавиться — давись, не мешкай...

Алтунов помалкивал, закоченевший и несчастный, отчаянно долбил лед частыми, почти напрасными — вскользь — ударами. Щуплый, хлипкий, с горячими глазами чахоточника.

Изо дня в день шлиссельбургские валеты, как зовут каторжников окрестные жители, ватажатся на льду, словно неводовщики. Громыхают кандалами возле майны, курящейся испариной. Майна близ берега, под стенами крепости, растет в сторону стрежня. Валеты в шинельных куртках и брюках, в ушанках из того же грубошер-

стного сукна грязного цвета, обрызганные сосульками, вырубают пешнями глыбы льда. Строго прямоугольные — чтобы без продухов улеглись в штабель и подольше хранились. Почти полсажени вглубь, полсажени вширь, сажень вдлинь — пудов по полтораста «штуки». Если вырубишь не так или расколешь, Сергеев отпихивает их к нижнему по течению краю майны — начинай все сызнова. Ровные, удавшиеся «штуки» сплавляют баграми к ближнему от крепости, наклонно сколотому краю майны — слипу, вытаскивают из воды. Так издавна принято заготавливать холод на Руси. Принято и то, чтоб лошадьми тягать из проруби. Здесь же в нарочитом небрежении к традиции вместо лошадей люди. Баграми подводят невьющиеся от наледи веревки под вырубленный — на плаву — кус, охватывают: один конец веревки снизу, другой сверху, натягивают осторожно, чтоб не соскользнули — и айда! Тянут наплечными лямками, пристегнутыми к залубенелым веревкам. Две веревки — четыре конца, у каждого по дюжине валетов — как раз четверка лошадей, что и требовалось бы. Тянут резво, споро, помогают руками, хоть и обжигающе студены веревки — даже сквозь шубные голицы прохватывает. У Сергеева не забалуешь. Чуть что, схлопочешь «жучка». Так он ласково именует затрещины, и ведь отыщет же, подлец, с ходу, без промаха, самое уязвимое место, не в плечо, не в голову даже бьет — в зашеину только. Еще хуже его брань. Вот уж истинно: рот — помойка. И тут по самому больному месту норовит. Близоруких попрекает: «Слеподыры!» Моргунов, коротышек, заик дразнит их прирожденными бедами. Одно спасение от него — работа. Берись. Навались. Запевай «Дубинушку».

— Еще раз подалась — да гоп! Баба на кол нарвалась — да гоп!..

Кряхтя, оскребаясь о закраину, глыба приподымается, показывает исколотые пешнями грани, выбирается из

проруби, катит перед собой пенистую, в ледяном крошеве, волну. Па-бере-гись! Успей так подпрыгнуть, так встать на каблуки котов, чтоб не замочить ноги.

Когда волна схлынет, той же артелью волокут салазки со сверкающей на морозном солнце «штукой» к берегу. Не зевай — успевай. Гляди, чтоб не поскользнуться перед льдиной: не сдержишь ее — раздавит. Валеты — в кандалах — ухитряются бежать, стараются держаться кучнее, друг за дружку и по снежному насту, с двух сторон ледяной колеи, отполированной до нестерпимой лучезарности. На берегу, запыхавшиеся, взмыленные, вволакивают льдину по наклонному штабелю на верхотуру. Опять выручает «Дубинушка» — только кандалы аккомпанируют на ветру да пар клубится над спинами: хоть и толстое казенное сукно, а насквозь прошибает пóтом. Сердце стучит так, что ломит под лопаткой. В больных ушах стук его отдается звенящим гулом. В глазах туман, и солнечный день меркнет. Оступишься, соскользнешь отсюда — все, как петровский солдат при штурме. Мокрую спину знобит, а в груди лихорадочный жар. Конечно, можно бы делать вид, что тянешь эту чертову лямку, а на самом деле отдохнуть, опершись о нее. Это никого не обижает: пусть отдохнет товарищ, даже Сергеев будто бы не замечает. Человек же он в конце концов, хотя и из тех, о ком на Кавказе говорят: если бы мир горел, он бы его еще керосином полил.

Вообще с Сергеевым особые отношения. С первой встречи тот, видно, учуял в молодцеватом, сосредоточенно собранном абреке (так называет Серго), остриженном наголо, очень живом и подвижном, в его нервной походке, в спокойном и вдумчивом, рассудительно остром, пронзительно добром взгляде, порождающем доверие, располагающем к откровенности,— во всем этом наметанный глаз определил признаки возможного вожака и любимца каторжан, с которым придется, как велят неписаные за-

коны тюрьмы, считаться. Маленько осторожничает Сергеев с абреком из дворян, не допекает его, как других. Да и не в допекающем призоре причина того, что Серго старается вовсю. Не привык Орджоникидзе работать вполсилы, не умеет, не может, не хочет выезжать на других. Не позволяет себе, подобно Алтунову, отравлять их жизнь сетованиями на судьбу. Несмотря ни на что, поглощен работой, даже увлечен: чем даром сидеть, лучше даром трудиться.

Увлечен? Помилуйте. Из головы не избудешь думы о том, что власти нарочно определили его именно сюда, как вообще определяют революционеров-кавказцев в холодные, сырые места. Среди таких мест коронное — Шлиссельбург. Здесь погибает девяносто процентов присылаемых кавказцев. Тюремная покойницкая, мимо которой каждый день ведут на работы, никогда не пустует.

И все-таки! Серго рубит лед, орудует багром, налегает на лямку — и тягостный, изнурительный труд, терзая, тешит, словно лихая забава.

В самом начале шлиссельбургской жизни Серго больше всего дивился тому, что вроде бы и не обнаружил здесь ничего удивительного. Постепенно, однако, окружающее стало возбуждать внимание на каждом шагу, Серго начал осознавать трагичность своего положения, дивиться и ему и себе. До чего ж человек живуч! Изумление это проживет в нем все годы каторги, оттого, верно, он и не сможет никогда с ней примириться. В то же время работа, при всей ее трудности, отнюдь не казалась ему такой уж каторжной, и лишь потом он догадался, что каторжность не в изнурительности, а в принудительности. На воле он работал и побольше, во время сбора винограда, к примеру, или когда готовил Пражскую конференцию — и ночь, случалось, прихватывал, и дням терял счет. Но то была работа с охотой, с разумными, добрыми целями, со смыслом.

Часто пугала мысль о том, что тюремное начальство может сделать каторжный труд вовсе бессмысленным. Слыхал, что консистории, знающие тонкость нравственных пыток, приговаривают попов за воровство, пьянство и другие светские слабости толочь воду... Что, если и его, Серго, так?.. Нет! Только не это. Лучше не жить. Хотя каторжная работа бывала для него и неинтересна и скучна, сама по себе она оставалась разумной. Но если заставят толочь воду, он удавится. Непременно! Различные муки пережил на своем веку за время знакомства со следователями. Попадались книги с описаниями изощреннейших пыток инквизиторов. И всегда, точно примеряясь к тем пыткам, он признавался себе, что смог бы их вынести, но пытку напрасным трудом...

Заслонив глаза рукавицей, вприщур огляделся. Заснеженный простор Невы, а за ним Ладоги. Словно вмерзли в залитую солнцем бесконечность лошадки, трусившие у горизонта, розвальни, должно быть, с рыбой. По берегам — заваленные ветром с Ладоги столбы дыма, избы, крытые щепой, такие же, что и при Петре, и до Петра, и до крещения Руси. Убожество. Жуть. Ощущение, что ты один посреди пустыни. Нет, не вырвал Петр Великий Россию из нищеты. Сколько еще труда, сколько жизней надо положить... Хватит ли отпущенных тебе, Серго, сил и дней? И вообще... Можно ли вырвать? Можно ли вырвать, если люди, стремящиеся к этому, оказываются вот здесь в качестве заготовщиков льда? Будь ты проклята, крепость-могила!

Шлиссельбургская крепость занимает почти весь остров, крепостные стены проходят у самой кромки воды, так что штормовые волны достают до них. Толсты, высоки стены. День и ночь ходят по ним часовые. И все же! Никогда не гасла и не гаснет мечта узника о свободе. Беспрерывно рождаются дерзкие планы побегов, особенно по весне. Каторжан охватывает жажда простора.

Именно весною возникают самые безнадежные утопии и заканчиваются трагически — новыми, как правило к пожизненной каторге, приговорами, а подчас и гибелью. Но пытались, пытаются и будут пытаться бежать из проклятой крепости, взламывая потолки, железные крыши, кованые двери, и готовя орудия из кроватных ножек, и оттачивая отмычки об асфальтовые полы, и разрезая стальные пруты оконных решеток чудом добытыми напильниками, и связывая веревки из простынь, матрацев, тюфяков, и убивая охранников, захватывая их винтовки, не желая понимать, что освободить может только смерть.

Словно подтверждая это, Алтунов отбросил пешню, кинулся на Сергеева, стоявшего у края проруби, сшиб в воду. Сергеев цеплялся за лед, за салазки, отчаянно бил руками по воде. Рядом с ним барахтался Алтунов, не выпускал его, старался утопить. Но тулуп Сергеева вздулся спасательным кругом, не давал потонуть обоим. Опомнившиеся конвойные, помощники надзирателя, несколько уголовных с баграми выволокли и жертву и покушавшегося. Сергеева тут же — в галоп! — погнали отогреваться. Алтунова принялись топтать. Только гулкие «Хэк! Хэк!» содрогали морозный ветер, словно рядом дрова кололи.

— Они же его убьют! — Серго рванулся на выручку.

И тут же — удар в плечо прикладом, другой — в грудь. Но это не умерило пыл: лучше погибнуть, чем видеть, чем стерпеть. Сжав кулаки, шагнул вперед. Спасибо, товарищи схватили Серго за руки, оттеснили в сторону:

— Опомнись! Ухлопают и скажут: напал на конвой.

— Кончай работы! — поспешно скомандовал старший конвоир.

Колонна униженных, обезличенных одинаково безобразной одеждой людей растягивается по ликующе синим, и голубым, и розовым снегам. Тяжелые взгляды потрясенных, но ко всему безразличных мучеников. Тяжелая поступь огруженных цепями ног.

— Шире шаг!

— Шире рыла не плюнешь! — У кого-то находятся силы огрызаться, протестовать, шутить: — Заневай веселую!..

Вон и «альма-матер» нынешняя твоя видна, Григорий Орджоникидзе,— четвертый корпус. Будто с вызовом к остальным тюрьмам острова, новая тюрьма не прячется, подобно им, за крепостные стены, а высится напоказ. Окнами, перекрещенными решетками, смотрит на застывшую Неву, на Ладогу, на тебя. Чудится, будто и твердыни крепостных башен, и позолота крестов на церковных куполах, и двуглавый орел над воротами внушают: «Мы раздавили революцию — и тебя раздавим». Прежде чем дать поглотить себя четвертому корпусу, Серго оглядывается на небо, на волю, жадно вдыхает морозный воздух. Там, за крепостными стенами, лежит недосягаемый мир с домами, где живут комендант, надзиратели, их жены, дети... Часовня в память трехсотлетия Романовых. Церковь. Могила петровских солдат, павших при штурме Нотебурга — Орешка...

В двадцатидвухместной камере только и разговоров, что об Алтунове, о Сергееве. Похоже, и в остальных «номерах» так же. То с одной стороны, то с другой слышится пение:

Покоренный на Востоке, покоритель на Руси...

Сбейте оковы, дайте мне волю...

С вызовом, с угрозой, азартно Серго затянул:

Смело, товарищи, в ногу...

В камеру вбежал дежурный надзиратель:

— Сейчас же прекратить!

Но арестанты разом подхватили грозное пение.

Ворвались три стражника, щедро наделяли зуботычинами. Но Серго уже вкусил хмеливший задор борьбы. Не

ощущал боли, даже усталость от работы будто бы испотела из пего. Злее всех кричал:

— Пока не явится начальник тюрьмы, не прекратим!

И вскоре, уже вечерело, в мятежпую камеру пожаловали их сиятельство, сами господин барон Зимберг. Розовощек, белокур, осанкой и обликом похож на императора Александра Павловича, каким Серго представлял того по портретам. Палаш, пуговица, генеральские погоны — все сияет и сверкает, как выбритый подбородок. Добропорядочен до омерзения. Не зря русские цари поручают охранять себя остзейским баронам. На этих положиться можно.

Едва вошел, пение прекратилось и арестанты встали навытяжку. Барона Зимберга шлиссельбуржцы боялись и уважали. Когда каторжане замечали, что Зимберг ходил по крепости без охраны, это приятно поражало. Больше того, если что-то среди них и назревало, то в присутствии барона никогда не прорывалось, понимали, что не напоказ, не бравады ради оп их не боялся. Надеясь на это, как на верное средство укрощения страстей, барон с такой готовностью и пришел в камеру. Острыми, издали ощупывавшими глазами привычно оценил арестантов, мягко, почти вкрадчиво обратился к Орджоникидзе, определив в нем зачинщика:

— Напрасно затеяли эти песнопения. Хотя вы и лишены прав состояния, государь милосерд. И мы, слуги его, радетельны. К тому же долг дворянина по отношению к дворянину, пусть бывшему...— Вот, мол, полюбуйся на себя, соплеменник Багратиона! Оба мы — дворяне, а какая пропасть между нами.— Жаль, по ничем помочь не могу, а если б и мог, то не соизволил.

— Спасибо,— в тон ему, подчеркнуто галантно, поблагодарил Серго, оглянулся на притихших товарищей и снова к Зимбергу: — Извините за беспокойство. Крайняя нужда.

Барон тянул, не спешил выслушать требования:

— У нас есть не менее знаменитые узники, чем вы, господин Орджоникидзе, однако они ведут себя вполне благопристойно.

Серго без особого труда догадался, что в пример ему ставили двух заключенных. Первый — Варфоломей Стоян, он же Чайкин, прославленный на всю Европу, содержался в одиночке при строжайшей изоляции — даже в баню и на прогулки водили одного. В крепости он за то, что украл из Богородицкого девичьего монастыря чудотворную икону Казанской божьей матери, одетую в ризу червонного золота еще Иоанном Грозным, украшенную бриллиантовой короной собственноручно Екатериной Второй. Опытный церковный вор Стоян — Чайкин содрал с иконы драгоценности, продал ювелиру, а саму ее изрубил и сжег. Ему, как потом он хвастливо признался, ужасно хотелось доказать, что икона вовсе не чудотворная, что ей зря поклоняются. В течение нескольких лет архиепископы и государственные деятели высшего ранга, включая председателя совета министров Столыпина, занимались Чайкиным в надежде, что икона не погибла, а где-то спрятана и удастся вернуть монастырю веками не скудевший источник дохода.

Другой знаменитостью был потомок ирландских королей О'Бриен де-Ласси, «герой» едва ли не самого шумного уголовного процесса последних лет. Серго не раз видел этого осужденного за убийство человека с жиденькой бороденкой, похожего на скопца. Представитель верхушки общества де-Ласси и на каторге не бедствовал. Инженер по образованию, он консультировал строительство в тюрьме, пользовался особой благосклонностью начальства. Все окружавшие его каторжане громыхали кандалами, а великосветский мошенник и убийца не ведал, как они натирают руки, ноги. Кстати, эта льгота для заключенных из привилегированного класса не распространялась на поли-

тических. Естественно, де-Ласси всячески старался оправдать оказываемое Зимбергом доверие. Уже после отправки Серго в Сибирь де-Ласси случайно узнает и выдаст тайну того, как попадают в тюремную библиотеку ленинские книги в переплетах различных божественных изданий...

— Благодарю за то, что ставите меня вровень со столь почтенными господами,— сказал Серго Зимбергу,— но мне как-то приятнее иная компания,— и обвел взглядом товарищей по камере.

— Понимаю.— Барон даже несколько смутился.— Вы — человек идеи, готовый за нее на крест. Не верую в вашего бога, но уважаю вашу, если угодно, богоборческую преданность... Не перебивайте, когда с вами говорит глава учреждения, в коем вам предстоит пребывать один бог ведает сколько. Так вот. Мне известно, что из партийной школы под Парижем далеко не святая троица, и в ее числе «товарищ Серго», прибыла в любезное отечество. Одного из вас, как вам, безусловно, известно, нам удалось встретить с подобающими почестями. Львиная доля забот и хлопот пала на плечи тех, кого, к великому сожалению, мы не сумели встретить. И вы, «товарищ Серго», по мнению наблюдателей-профессионалов, совершили невозможное. В Киеве, Ростове, Баку, Тифлисе возродили порушенные нами организации. Не кто иной, как вы, предложили создать Российскую организационную комиссию по созыву конференции. Вас решительно поддержал Ульянов...

«Зачем ты все это говоришь?» — недоумевал Серго и волновался, верно, от того, что никак не мог разгадать замысел противника. А Зимберг продолжал с упоением:

— Российская организационная комиссия, или, на бесподобном жаргоне социал-демократов, РОК, была создана в значительной мере благодаря вашему усердию и прилежанию, «товарищ Серго». Дело пошло на всех парусах. Ваша милость возвратились в Париж не за тем,

чтобы воздать должное жрицам пляс Пигаль. Отнюдь! Под крылышком своего патрона продолжали начатое. Так что в январе минувшего, тысяча девятьсот двенадцатого, стоглавая Прага была осчастливлена наплывом российских большевиков. С отчетом о работе РОК выступил кто бы вы думали?.. Да, вышеупомянутый «товарищ Серго». И благодать не замедлила снизойти на досточтимую паству в виде соответствующих резолюций. Там, дай бог памяти, между прочим начертано, что Пражская конференция конституируется как общепартийный верховный орган, что она считает своим долгом отметить громадную важность работы РОК по воссозданию партии в качестве общероссийской организации, тем более что работа эта велась при неслыханно тяжелых полицейских условиях. Сердечное спасибо! И нас, грешных, отметили.

— Слежка — пожалуй, единственная сфера, где наше отечество шагает впереди прогресса. Только немецкие держиморды могут соперничать с...— хотел сказать «с вами», но удержался.

— А Интеллидженс сервис? Интеллигентная служба — вот как англичане именуют, а у нас — «держиморды»... Зачем же так?.. О чем бишь я? Да! В большевистский Центральный Комитет, возглавленный Ульяновым, были избраны и ваша милость. Самый молодой, кстати, среди всех избранников.

— Да вы просто мой биограф, честное слово! — Серго был поражен осведомленностью барона и обескуражен. Потрясающая осведомленность охранки, следователя, который вел его дело. Теперь вот начальник тюрьмы... Как передать на волю товарищам, чтоб насторожились и насторожились? С другой стороны, какой пристальный интерес к каждому твоему шагу! Как внимательно изучают нас даже те, кому по долгу службы вроде бы и необязательно! Боятся. Отшутился: — Когда мы возьмем власть, я попрошу вас составить мое жизнеописание. Но должен

заметить, что вы несколько преувеличиваете роль моей личности в истории.

— Не скромничайте. К тому же лестью и душу вынимают. Но, честно говоря, я не очень уверен, придется ли вам взваливать на себя бремя власти, а мне — вашего биографа. За одно могу поручиться: для проведения практической работы на всей территории нашего государства в Праге было образовано Русское бюро, или коллегия Центрального Комитета, куда также был введен и «товарищ Серго». Прямым результатом упомянутой деятельности и явилось его пребывание в наших пенатах.

— Хм, остроумно. Да, я практик.— Серго посерьезнел.— По-моему, Россия больше всего страдает от недостатка людей, способных делать дело.— Он вдруг понял: барон решил поднять его повыше, чтобы прилюдно побольнее уронить. Вдобавок разговор на публику должен остудить накал страстей. Ну что ж, ваше сиятельство...— Изобретатели и гении почти всегда при начале своего поприща (а очень часто и в конце) считались в обществе не более как дураками.

— Прекратить большевистскую агитацию!

— Это не я, ваше сиятельство. Это — Достоевский Федор Михайлович агитирует. Вот, извольте, «Идиот»...— Выдержал паузу.— Просмотрено и дозволено особой цензурой...

— Идиота из меня строить!..— барон вспылил, но тут же осекся, не желая ронять себя дальше и смущаясь человека, мнение которого ему почему-то стало небезразлично.— «Изобретатель и гений»! Не много ли на себя берете, «товарищ Серго»? Цените хотя бы обстановку, в коей содержитесь. Наша тюрьма, и прежде всего четвертый корпус, отвечает всем требованиям европейской санитарии, гигиены, удобства. Где вы еще видели тюрьму с паровым отоплением, с теплыми ватерклозетами, с той же библиотекой, наконец?

— Бесспорно, ваше сиятельство, когда б не одна мелочь. За девятьсот седьмой — девятьсот девятый в наши удобные и гигиеничные тюрьмы поступило двадцать восемь тысяч осужденных за то, что способны и стремились делать дело. Из них семь тысяч пятьсот казнены. А кто считал погибших от побоев, болезней, приобретаемых во вверенных вам богоугодных заведениях благодаря неусыпному попечительству жрецов европейской культуры, подобных Сергееву?

— Н-да-с... Тому, кто убежден, что дважды два — пять, бесполезно втолковывать таблицу умножения. Чего добиваетесь?

— Мы требуем увольнения надзирателя Сергеева.

— И все? — барон усмехнулся так, точно ему предлагали отрезать правую руку.— И только-то?!

— Но ведь он никак не гармонирует с этой прекрасной тюрьмой, с ее живописными ватерклозетами.

— Зато он вполне гармонирует с людьми, которых следует держать на цепи. Впрочем... Обстоятельства дела будут расследованы. Виновные понесут наказание. У нас ничто не остается без последствий. Вы убедитесь в этом незамедлительно,— обернулся к сопровождавшим его: — «Изобретателя и гения» — в карцер.

Кажется, куда уж ниже опускаться, ан, еще больше унизили его. От обиды он рыдал. Рядом — ни души. Стражник за глухой дверью, конечно, давно спал, и не надо было сдерживать себя, чтоб не выказать слабость. Ох, не зря зовут арестантов несчастными. Жизнь в зловонии, в дыму печей и костров, в копоти «козьих ножек». Ругательства и надругательства. Цинизм и всеобщая беспардонность. Звон кандальный, хриплые проклятья, бесстыдный хохот.

Российский замок Ифф. Упаси нас, боже, говорят

французы, от нашествия врагов и от замка Ифф. Неизвестно, что хуже. Кажется, все тело избито, изломано. Может, через три года, когда придется покинуть сию обитель, еще пожалею о ней и пребывание здесь покажется сносным по сравнению с тем, что ждет впереди? Через три года... Три дня проживи! До какой же беспредельности вынослив человек!.. Неужели может быть еще хуже?

В кромешной тьме стянул рубаху, завязал воротник так, чтобы образовался мешок, заполз в него до пояса, прильнул к асфальтовому полу, стараясь согреться дыханием. Застиранная казенная рубаха так плотно обтянула спину, что сырой холод, пропитанный зловонием, навалился еще сильнее. Ах, как болит, как ноет внутри, у спины, слева!.. Что это? Почка, наверное. Смерть моя. Умираю...

Вскочил, метнулся и... ударился о стену. Бррр! Затоптался, запрыгал, завертелся, одной рукой придерживая кандальную цепь, другой, при каждом взмахе, задевая за осклизлые стены. Снова лег. Ой! Полжизни — за одеяло! Душу дьяволу — за подушку! Слезы, отяжеливший тело холод, пронзившая боль мешали забыться хотя бы кратким и напряженным, но спасительным тюремным сном.

Как страшно здесь, когда бездельничаешь. И, наверное, еще страшнее тому, кто не умеет любить или кто растратил себя на что попало. Только любовью жив человек, что бы ни стряслось. Всегда Серго искал любовь, был наказан разочарованием, но вновь искал. На Кавказе говорят: тот, кто не любит, испорченный человек. Любовь — суть человека, напряжение души, ее мятежное горение, только в ней перерастаешь, превосходишь самого себя. Мзия!..

Не зря так Серго мучился предчувствиями, возвращаясь из Германии на родину. Не зря говорят, сила пришла — правда в дверь вышла. Отец уломал дочку: «Волк

пастухом не станет, а вор святым... Снег бел, а весь мир его топчет... Снег бел, а ждут его, как чуму...» Корил и корил тем, чем обычно попрекает самодовольный опыт мудрую правоту юности. Надежда Мзии, что Серго вернется, постепенно таяла. Разлука угнетала и раздражала. В канун Нового года, когда по домам ходили дети, щедрили хозяев, желая доброго урожая хлебов, когда по Гореше несся визг забиваемых к празднеству свиней, отец сказал: «Вот и Васильев вечер наступает, а там и крещенье — до масленой свадебные недели. Сколько можно ждать, дочка? Излишняя святость Грецию погубила». И Мзия сдалась.

Едва священник объявил о помолвке, в Гореше появился «нелегальный» — прямо из Берлина. Старшина тут же настрочил донос. Ночью нагрянули стражники. Спасибо, предупредил друг детства, которому когда-то Серго подарил рубашку. Пришлось спасаться через окно, прятаться в горах, пробираться к Тифлису.

Тем временем в Гореше резали баранов и поросят, ощипывали индеек, толкли орехи на сациви и месили тесто для хачапури — словом, вовсю готовились к свадьбе.

Тифлисские товарищи отговаривали Серго. Подпольный центр запретил появляться в Гореше. Но... Добыл крестьянскую лошадь, кромешной январской ночью поскакал через Сурамский перевал...

Остро бьют по лицу ветки, схватывают, несут... Он летит над пропастью, над разбившейся лошадью, над волками, кинувшимися за ней. Парит невесомый, недосягаемый. Как хорошо! Если б не кандалы, которые все время тянут на дно... Волки кричат, усмехаясь в лицо. Нет, это барон Зимберг: «На перековку марш!» — «Не перековка мне нужна, а расковка!» Серго злится на то, что не слышит собственный голос. Кузнецы поднимают сзади его ногу, кладут на наковальню. Кандалы исчезают

во тьме пропасти. Серго снова летит — нет, бежит по земле навстречу Мзие. Ох, как давно он не бегал по земле! Как хорошо! Воскресение из мертвых...

Фух! Было или не было? Где Мзия? А кандалы? Вот они... Нет! Память нестерпима. Задушить ее! Окаменеть! Холодина... Как холодно!.. Это не я — это кто-то другой мучается. Я бы не выдержал. Не к своему — к чужому бреду прислушиваюсь...

Тогда, зимним утром, ему не дали замерзнуть на буковом дереве, где он повис, объездчики. Мзию с тех пор не видел. Говорят, если любишь без взаимности, то любовь бессильна, она — несчастье. Но мало ли что говорят. Говорят, будто зависть — сильнейший побудитель мастерства и творчества, лучший погоняла на пути к успеху. И, наверно, можно б с этим согласиться, когда б не было на свете любви. Любовь, особенно неразделенная и особенно с юности, оставляет шрамы, не заживающие до конца дней. И подчас в основе чьего-то мастерства, творчества, успеха лежит именно эта рана, нанесенная изменой, предательством, просто небрежением любимого или любимой. Чем опаснее рана, тем значительнее мастерство, творчество, успех. Что поделаешь? Таковы уж мы, люди.

Первая любовь жила в Серго, постоянно звучала в нем, не замирая, не затихая, как надежда, без которой не жив человек, двигала вперед. Но то было в другой жизни, а здесь... Так захотелось жаловаться на судьбу, роптать, надеяться на утешение и ласку. Но Мзие жаловаться было не по-мужски. И тогда рядом с нею возник любимый брат. Вот ему-то все можно высказать.

Папулия! Дорогой! Если б ты знал!.. Кажется, уж ко всему привык... Четырнадцатого апреля, почти год назад, арестовали в Питере. В предварилке остригли наголо, обрядили в рубище, допрашивали и таскали, и рост определяли, и цвет глаз, и нет ли шрамов, родинок, иных

особых примет. Брали отпечатки пальцев, фотографировали так и сяк, табличка на груди, как перед виселицей: «Г. К. Оржоникидзе, оп же Гуссеипов» — с грамматическими ошибками. Тюремные доктора и щупали и мяли, как резаки барана... Через полгода предварительных мытарств — Петербургский окружной суд... В Шлиссельбурге снова наголо остригли, обрядили каторжником: бескозырка на манер матросской, только гнусно-серая, пиджак, брюки, сверху стеганая куртка да шинель, спасибо, без бубнового туза, нашивание коего отменено еще в седьмом году. А перед карцером... О! Если бы ты видел, Папулия!.. Инквизиторы позавидовали бы сему церемониалу. Будто опасаясь, как бы я не удавился в карцере, сняли кандальный ремень, и теперь кандалы волочатся по земле. Отобрали портянки, полотенце, даже носовой платок. У тех, кто носит галстуки, отнимают и их, и очки отнимают: а ну как сердешный перережет горло осколком линзы. Все это не ради сохранности жизни,— плевали они на меня! — это чтобы побольнее ушибить, вернее сломить. Одежда моя была почти не изношена, ведь я новичок, так заменили, видел бы ты, какой рванииой! Понятно, не ради сохранения одежды, когда валяешься тут на полу, который с сотворения мира не знал метлы... С ушами, признаться, у меня все хуже. Надо бы в Питер. Там, в Крестах, более или менее сносная больница и врач-ушник. А здесь, хотя и сменили врача, все равно — от пустого ореха ни человеку, ни вороне пользы нет. Боюсь оглохнуть, но до Питера мпе теперь дальше, чем до луны.

Смертник. Да, я — смертник. Только исполнение приговора отсрочено. Пытки холодом, сыростью, мраком — разве их выдержишь? Что это — явь или сон? Вот!.. На голову надевают мешок. Палач ударяет ногой табуретку... Нет, не больное воображение... По законам многих стран, если лопнет удавка, смертник должен быть помилован.

Но... Когда в Петропавловке вешали декабристов, двое сорвались по неумелости палачей. Так обоих все равно повесили — и они снова ждали, снова видели приготовления!.. Когда в пятом году восставших солдат расстреливали без приговора, они спокойно стояли против ружейных дул, на что-то надеялись, но, если перед тем объявляли приговор, многие сходили с ума. О том ужасе еще Иисус говорил. Нельзя так поступать с человеком, как со мной поступают.

«Кто доживет — увидит, что этот маленький «Сержан» станет большой личностью»... Будь ты проклят, поп, с твоими пророчествами! В Гореше говорили: три вещи удлиняют жизнь — просторный дом, быстрый конь, покорная жена. Не будет! Ничего не будет. Все наперед отнято. Чего ждать?

Встал, попробовал размяться, вытянув затекшие руки, но, уже вытягивая, коснулся осклизлой стены. Мерзость! Голова болела от холода. Кромешная тьма давила, особенно в пояснице. Скажите хоть, черт подери, день сейчас или ночь! Прислушался. Чу! Где-то в углу жужжала муха. Прекрасно, звук жизни. Но откуда быть мухе, да еще зимой? Конечно, корма для нее тут круглый год вдосталь... Нет, и муха без света не может... Сорока! На крепостной стене? Сквозь все затворы и глыбы камня — голос солнечного утра. Спасибо, сорока. Самая французская птица, называл ее дядюшка Дюпон, домохозяин из Лонжюмо, и в подтверждение такой аттестации ссылался на любимого там писателя Жюля Ренара.

Лонжюмо... Ленин в Париже, а я вот... Не надо роптать. Ленина карцерами не удивишь. Четырнадцать месяцев просидел в одиночке питерской предварилки — той самой. А как просидел! Легенды ходят в партии. Жандармы надрывались, таская к нему книги. Тюрьму превратил в университет — не только для себя, от товарищей по тюремному телеграфу требовал: «День, потерянный

для работы, не возвратится...» Работать надо, а ты тут прохлаждаешься, товарищ Серго! Смертником себя счел. Э-эх! Позор.

В делах людей бывает миг прилива.
Он мчит их к счастью, если не упущен.
А без того все плаванье их жизни
Проходит среди мелей и невзгод.

«Миг прилива»! Хм. В каменной могиле, с кандалами на ногах... И все-таки! Что бы ни было, кричи громко, шагай прямо. «Мало толку, если горе несчастливого снедает... Смелость, счастье и победа — вот что смертным подобает!..»

Несмотря ни на какие препятствия, я буду идти к своей цели. Наш Энгельс думает и чувствует, как мы: «В тот момент, когда я окажусь не в состоянии бороться, пусть дано мне будет умереть».

Не дождетесь, господин барон, чтобы большевик Орджоникидзе убегал от вас подобно Алтунову. Девяносто процентов кавказцев, говорите, не выносят вашего гостеприимства? Так я не из них! Из оставшихся десяти!..

Через трое суток выпустили, но в четвертый корпус не возвратили. Месяцы, проведенные там, показались чуть ли не золотым временем по сравнению с теперешним заключением в изоляторе, а потом в третьем корпусе. Заключенные четвертого корпуса общались друг с другом в больших камерах и мастерских, а главное, работали вместе на подвозе угля, уборке снега, заготовке льда. И политические и уголовные там были вместе. Политические с интересом слушали доводы Серго о значении Пражской конференции, о роли Ильича. Уголовные чувствовали ту человечность, которая отличала с детских лет отношение Серго к «простому люду» и которую проявляли к ним далеко не все политические. Словом, и те и другие были

внимательны к Серго. А когда к тебе внимательны окружающие, то жить вроде полегче. Совсем иное дело изолятор — в обиходе «заразное отделение». Отделением для нравственно заразных называл его барон. По сути это была тюрьма в тюрьме. Закуток древнейшего, первого, корпуса. Семь камер-келий, предназначенных для инфекционных больных. Барон рассудил вполне по-хозяйски: коль скоро на острове пока ни тифа, ни холеры не наблюдается, почему бы не изолировать здесь носителей самой опасной заразы?

Режим, установленный в изоляторе, по справедливости именовали прижимом. Заключенных содержали только поодиночке. На прогулки выводили порознь и не в то время, когда гуляли каторжане из других корпусов. Сопровождал надзиратель Потапов, довольно подробное повторение Сергеева, с различием лишь масти бороды и усов да еще, пожалуй, матерился более артистично, так что невольно припоминалось: «Но злодею злое слово слаще сахара и меда». Не пускал «заразных» даже на кухню, и обеды разносил дежурный арестант — обязательно из уголовных. Но, как это часто случается при сверхосторожности, Потапов проморгал главное. Через одиночки пролегали трубы парового отопления. Между ними и стенами образовались щели, в которые легко проходили записки, так что связь от первой до седьмой камеры оставалась исправной и регулярной — были бы огрызок карандаша да клочок бумаги.

Отчаяние сильных людей — лишь мимолетная дань слабости. При первой же возможности, задобрив Потапова рублевкой, Серго упросил свести его в тюремную библиотеку. Набрал книг побольше. Расписался в получении на сугубо строгих условиях в казенной тетради — листы пронумерованы, прошнурованы, сургучная печать на цветных шнурках: «Вырвавшие листы и уничтожившие их или всю тетрадь и книгу лишаются права навсегда

или на некоторое время получать новую тетрадь для занятий или книгу для чтения». Погладил клеенчатую обложку, словно художник, получивший краски после долгого безделья. Конечно, тетрадь, которую будут просматривать ангелы-хранители барона Зимберга, не лучшее место для исповедей, но... за неимением гербовой, пишем на простой. Все равно хорошо!..

Побежали, именно побежали день за днем, потому что до предела заполненные работой дни не идут, а бегут. И тот, кто рассчитывает время по минутам, успевает в шестьдесят раз больше меряющего жизнь часами. Еще будут и железные кандалы на голых ногах, и боль в ушах, в пояснице. Будут новые стычки с начальством, новые отсидки в карцерах и записи об этом в казенной тетради:

«...На три недели в карцер (24.X — 14.XI. 913) за невставание на поверку... На две недели в карцер (10/IV — 24/IV 914 г.) за неснятие брюк во время обыска... На трое суток (30/I — 2/II 15 г.) за надзирателя...»

Пройдет он и печально знаменитый карцер в башне, прозванный «кругами ада»,— сырое подземелье, нору, недоступную солнечным лучам. Снова будет «сидеть на воде и хлебе», спать на голом, в этот раз не асфальтовом, а каменном полу, прислушиваться, как плещут за стеной волны. Познает, что карцеры в крепости или слишком холодные и сырые, или чересчур жаркие, сухие и душные. Испытает «финляндскую баню» — предложенный самим сиятельством прием, когда тебя кидают сперва в карцер жаркий, как баня, а потом в ледяной, как ладожская вода. Далеко не всем дано будет это выдержать. Многие товарищи, даже из крепких, пройдя «финляндскую баню», прекратят сопротивление, но он... Испытания и муки не сломят его, не озлобят, не погасят заложенное в нем добро. «Нечеловеческий человечина! — признает барон с досадой и восторгом.— Черт с ним, не

троньте его...» И тюремщики вроде отступятся от Серго, перестанут отвечать на его вызовы, начнут называть его не «абрек», а «прямой», уместно припомнив кличку, которой уже наделили Серго Орджоникидзе полицейские соглядатаи.

Работа — работа во что бы то ни стало! Трудно поверить, что человек, закованный в цепи, все это сможет за какие-то два с половиной года, но тюремная тетрадь, куда он записывал и прочитанные книги, свидетельствует...

Пушкин. Грибоедов. Лев Толстой. Достоевский. Тургенев. Лермонтов. Гончаров. Герцен. Чернышевский. Добролюбов. Некрасов. Гарин (Михайловский). Помяловский. Мельников-Печерский. Короленко. Горький. Куприн. Леонид Андреев. Бунин. Вересаев. Муйжель. Телешов. Сологуб. Борис Зайцев. Серафимович. Сергеев-Ценский. И опять Лев Толстой, Горький, Короленко, Байрон, Джек Лондон, Анатоль Франс. Гомер. Бальзак. Ибсен. Октав Мирбо. Бомарше. Поль Бурже. Шекспир. Гете. Мольер, Гауптман. Золя. Шиллер. Карл Гуцков. Бичер-Стоу. Герберт Уэллс...

По счастью, библиотека, собранная и собираемая каторжанами, была богатая. И все деньги, которые присылали Папулия с мачехой Деспине — по пятерке, по десятке, он мог тратить на книги... Основы политической экономии — Адам Смит и Рикардо. Труды профессора Новгородцева и Гюйо, Бельтова (Плеханова) и Богданова, Дюбуа и Джемса. Больше всего, как прежде, увлекала история... «Первобытная культура» Тейлора, «Древняя история» Оскара Зегера, «Древняя история» Беккера, «Древний мир», «Древний Восток и эгейская культура», «Лекции по истории Греции», «Очерки истории Римской империи», «Средние века», «Новая история» профессора Виппера. («Средние века» читал два раза и обстоятельно конспектировал.) «История Европы» Ка-

реева, «История Соединенных Штатов» Чаннинга, «История нового времени» Ковалевского и так далее и так далее. Только по русской истории перелопатил два с лишком десятка томов, в основном Ключевского и Костомарова...

Он оставался живым благодаря неукротимости духа, силе воли, мужеству разума, стремившегося познать. Подвижническим чтением переживал века — тысячи иных судеб в иные эпохи. Его обществом стали мудрейшие, достойнейшие люди, избранники всех тысячелетий человечества. Изо дня в день, из ночи в ночь идут занятия в шлиссельбургском «университете». Профессора подобрались такие, что любой иной университет позавидовал бы: Даниил Заточник и Ломоносов, Сенека и Конфуций, Добролюбов и Менделеев, Спиноза и Кант, Радищев, Новиков, Фейербах, Гегель... Даже кандалы меньше мешают «студенту», когда берется за дело. Вот только оконце «аудитории» от дождей и снегов делается все мутнее. Чего бы, кажется, не отдал, чтоб хоть раз протереть его снаружи... Однако пора приниматься. Сегодня лекции читают Платон и Вольтер, завтра Монтескье и Дидро, послезавтра сам Жан-Жак, сам Николай Гаврилыч:

— Из всех пороков праздность наиболее ослабляет мужество...

— Уничтожение дармоедов и возвеличение труда — вот постоянная тенденция истории...

— Всякий неработающий человек — негодяй...

По немалому уже опыту Серго знал, какие дубы ломит царская тюрьма, каторга, ссылка. Апатия, телесное и душевное истощение, болезни здесь быстрее, чем где бы то ни было, приближают старость, преждевременную смерть. Болят уши. Болит спина, поясница. И неизбывный голод одолевает — тоска молодого тела по нормальной пище. Тоска по дому, по уюту, удобству. Тоска по

близким, по любимой. Мзия! Хоть бы глянуть на тебя... Рана от сабли заживает, от неразделенной любви — никогда. Тяжко, но: «О своих истинных возможностях человек узнает по тому, что сделал...» Превыше всего — работа: книги по истории, книги по философии, политике, географии. Книги, книги... А еще с помощью самоучителя Серго старается овладеть немецким языком. А еще... пишет стихи.

Миновал обход докучный. Лязгнул ключ, гремит засов.
Льется с башни многозвучный, перепевный бой часов,
Скоро полночь — миг свободы;
Жаркой искрой сквозь гранит к мысли мысль перебежит...
Тук... тук... тук!
Условный звук,
Звук приветный,
Стук ответный,
Говор азбуки заветной,
Голос камня: тук-тук-тук!
Голос друга: «Здравствуй, друг!..»
«Спишь ли ты ночной порою
В этом склепе гробовом?»
«Я бы спал, и сон приходит —
Дух усталый вдаль уводит,—
Но не долог чуткий сон...
Жутко... Страшно... Но бывает,
Сердце тьму позабывает —
Просветленный, чудный миг...
В книге звезд душа читает
Откровенье древних книг...»
«Друг, мужайся! День настанет!
В алом блеске солнце встанет!
Синей бурей море грянет...
Будет весел многоводный
Пир широкий, пир свободный.

Он сметет грозой народной
Наш гранитный каземат...»
Тихий стук, печальный стук:
— «Нет, не мне в саду зеленом
Встретить песней и поклоном
Луч багряный — вспышку дня!..
Завтра утром два солдата
Унесут из каземата
Безымянный, бедный труп...
Душно, дурно... Умираю...
Месть тебе я завещаю...
Ближе, ближе холод ночи...
Давит грудь... не видят очи...»
Слабый стук, последний стук...

«Статейный список № 209. Фамилия, имя, отчество.— Орджоникидзе Григорий Константинов. Рост 2 аршина и 6 вершков, телосложение хорошее, глаза и волосы черные, цвет и вид кожи лица белый.

К каким категориям преступников относится? — Каторжный, осужден уже третий раз. Признан виновным в первом побеге с места водворения... и проживании по чужому паспорту, лишен всех прав состояния.

Следует ли в оковах или без оков? — В ножных кандалах...»

Барон обмакнул перо, задумался. За три года барон привык к каторжанину Орджоникидзе. И хотя тот непрерывно бунтовал, испытывал по отношению к нему нечто вроде профессиональной гордости — вот, мол, этакие-то люди содержатся во вверенной мне крепости! Теперь, перед отправкой Григория Константинова Орджоникидзе на вечное поселение, барон ловил себя на том, что ему вроде будет недоставать этого человека.

Если ты не склонен к истине и свободе, можешь стать влиятельным и сильным, но великим — никогда.

А барон — у каждого свой стих, свой жанр — мечтал о величии, не чурался ни истины, ни свободы, потому и тянулся к Орджоникидзе. Не раз, выискав подходящий предлог, наведывался к нему в одиночку, подолгу говорил с ним. Особенно участились его визиты с началом войны, когда сомнения все больше одолевали. Исследуя собственную душу, он по-новому оценивал былые промахи, уличал себя в чем-то, поневоле делался скромнее. Никому ни за что не признался бы он в том, но не только однообразная серость окружения, включая семью, не только звериная скука островной жизни, едва скрашиваемой усердным чтением, толкали его к необычному каторжнику, нет — притягивала и подавляла убежденность Орджоникидзе. Какой живой, открытый характер, сколько энергии, отзывчивости. Поразительно работоспособен. Только с ним и можно потолковать серьезно...

Когда неизбежность революции пророчили матросы или солдаты, даже всходя на эшафот, барон воспринимал их выкрики лишь как предсмертные хрипы фанатиков — не более того. Когда же рассудительно, веско, с высоким достоинством говорил этот умный и, главное, убежденный человек...

Убежденность не изобразишь, не спрячешь — у нее нет ни облика, ни формы. Барон видел и понимал: убеждения Орджоникидзе таковы, что он не поступится ими, отстоит их даже ценой жизни — уже доказал это и прежде и теперь тремя годами Шлиссельбурга. И еще важнее: убеждениями он дорожил не потому, что это были его убеждения, а потому, что считал их истинными, полезными людям, отечеству. Именно это больше всего, как сам барон признавался себе, смущало его. Подобно тому как преступника тянет к месту преступления, вновь и вновь барона тянуло в камеру Григория Орджоникидзе.

Как-то Серго привел барону аттестацию, данную Бис-

марку кем-то из марксистов или самим Марксом,— привел, намекая на него, барона: «Слуги реакции не краснобаи, но дай бог, чтобы у прогресса было побольше таких слуг».— «Благодарю,— усмехнулся тогда барон, помрачнел, возразил мысленно: — Дал бы бог, чтобы у реакции стало побольше слуг, хоть отдаленно похожих на тебя». И вздохнул. На всем протяжении неоглядного фронта позорные провалы, казнокрадство, бездарность, продажность, как в прошлую войну — с японцами, нет, еще хуже. Еще бессовестней, безответственней наши «отцы отечества»! А здесь... этот... «изобретатель и гений», в кандалах, в одиночке, вымотанный карцерами, только о благе отечества и печется, только о величии, о могуществе его и мечтает. Видно, впрямь наше дело швах, ежели некому больше печься. Варшаву сдали!.. Отставка военного министра, назначение верховной комиссии для расследования злоупотреблений, вызвавших неудачи на фронте... Нет, этим дела не спасешь. Не Сухомлинов виноват. Монархия сгнила до корней, пороки ее органические, необратимые. Господи! Спаси Россию. Помилуй.

Вновь барон обратился к статейному списку: «Может ли следовать пешком?» Что за дичь сочиняют в наших департаментах?! Ну как, милостивые государи, человек в кандалах пойдет этапом через всю Сибирь?! Идиоты! Ох, уж лучше бы вам, «товарищ Серго», сидеть у меня под крылышком...

Этап. В былые, не столь отдаленные, времена устав об этапах в сибирских губерниях учреждал на сем горестном пути шестьдесят один перегон. Сотня арестантов, скованных по рукам и ногам кандалами да еще друг с другом цепями — по три пары вместе, брела и брела: лето и зиму, весну и осень — полтора, а то и два года. Там, на этапе, рожали, там и умирали, ненавидели и любили. Ныне эпоха цивилизации и гуманности — порядки и нравы, говорят, помягче. К тому же проло-

жен железнодорожный путь к Тихому океапу. Однако... Путешествие из Питера в Якутск не своею волею остается тем же: десять тысяч верст от тюрьмы до тюрьмы, от острога к острогу в компании колодников.

Барону представилось, как шагает — зимо-ой! — кавказец, с больными ушами, с прочими благоприобретенными в Шлиссельбурге недугами. Одежонка плохонькая! — И шубы порядочной не нажил, член Центрального Комитета!..

Но ведь он — твой враг. Он хочет разрушить твой дом, пустить по миру тебя и твоих детей. Окажись он на твоем месте, а ты — на его, пощадит он тебя? Возлюби врага своего,— призывает Христос. А шеф жандармерии: жалость — ржавчина в нашем деле.

Барон помешкал, приблизил ручку к строке «Может ли следовать пешком?». Снова помешкал, отмахнулся от кого-то, как бы избавляясь от наваждения, решительно скрипнул пером: «Может» — и припечатал яростную точку, почти восклицательный знак.

Ох, не зря пугала тебя, Серго, мысль о том, что еще пожалеешь о Шлиссельбурге. Впрочем, и в Сибири люди живут — знает по собственному опыту. И тем более страшит Сибирь...

Вот выводят его из камеры, ведут по коридору, по мосту вздохов меж двумя отсеками. Грузной, верной поступью колодника он идет по ступенькам крыльца, по двору, где ходил сотни раз. Идет к великому перелому жизни — прочь из мертвого дома... Шаг. И еще — уже по сырому сумраку башенного тоннеля. Кряхтит на немазанных петлях створ ворот — свет врывается в тоннель, отражается капельками потного свода, слепит. За молочно слепящей полосой — море! — простор невской выби. Что такое? Куда она? Почему и земля зыблется

под ногами? И притвор ворот, за который стараешься ухватиться, вырывается из рук. Жандармы подхватывают Серго, не давая упасть.

— От вольного воздуха,— добродушно поясняет вахмистр.— Ничаво. Завсегда так. Обойдется.

Дождь. Слякоть. Сизовато-серые волны с белесыми гребешками под черным небом. Как хорошо! Чудо-Ладога! Чудо-Нева! Запомнится восьмое октября пятнадцатого года. Будто стремясь запечатлеть до мельчайших подробностей, будто страшась упустить что-то, огляделся. Полосатый, Николая Палкина времен, столб с фонарем. Такая же театрально полосатая будка часового. Широченная плоская грудь Государевой башни. Две зарешеченные бойницы. Чуть ниже их — двуглавый орел, резкий выступ каменного пояса и тяжелая арка ворот, оправленная массивными плитами. Отсюда не выходил с тех пор, как выкалывал льдины во-он там, должно быть.

Сколько раз он старался представить этот миг воскресения из мертвых! Предвкушал его! Но действительность превосходит все ожидания. Не от воздуху — от воли кружится голова. Уголовные, вышедшие с ним, крестятся на двуглавого орла. Серго низко кланяется — не орлу, не башням, не казематным стенам — памяти известных и безвестных, чьих жизней не хватило на то, чтобы выйти из этих ворот.

— Прощайте, товарищи! — кричит Серго, не надеясь, что будет услышан, но ему так надо крикнуть, так хочется, чтобы кто-то напутно откликнулся.

И — о, чудо! Или ветер да эхо окрестных вод, каменных стен помогают? Только из-за глухих стен отзывается живой голос:

— Не прощай, а здравствуй, Серго! Гамарджоба!

Серго ощущает: не дождь, что сечет лицо, потеплел — слезы катятся. Спасибо, дождь! Спасибо, что скрыл мою слабость.

Скольких перевез этот крошечный пароходик «Полундра»! И для скольких путь на нем из Питера сюда стал последним!.. Шкипер встречает кандальников, следит, чтобы размещались, не перегружая посудину на один борт. Мрачный старец в истертой, высоленной форменке и такой же капитанской фуражке времен, должно быть, Цусимы. Ни дать ни взять Харон — перевозит умерших в ад по волнам подземных рек, тем и кормится, получая с каждой души по оболу, что, согласно погребальному обряду древних греков, лежит у покойного под языком. Но Харон перевозит только тех мертвецов, чьи косточки упокоились в могилах, живых же — лишь по предъявлении в качестве билета золотой ветви из рощи Персифоны. А этот... Пожалуйте без билета, без разбора — живы или уже умерли...

Поднявшись на палубу, Серго вглядывался в разлив ладожской губы, в каменные стены покинутого острова, удалявшиеся от него. Постепенно картины природы отвлекали от прошлого, успокаивали. Сын земли, он хранил и нес в себе сложнейшие и тончайшие ее проявления: доброту солнечного дня и негу лунной ночи, сумрачность грозы и щедрость ливня, вспыльчивость вулкана и безмятежность хлебной нивы. Потому-то, видно, и было так просто, так естественно перед ликом земли оставаться самим собой. Конечно, чтобы испытать наслаждение от одного вида земли, да еще в ненастный осенний день, надо быть здоровым, сильным, умным. Пустельгам и средь ликующего утра недоступно возвышенное и возвышающее чувство природы.

Плывут и плывут берега. Там, на пологом взгорке, оловянно серо лоснятся пласты зяби — скудный болотный подзол. А там буроватая торфянисто-глеевая почва. Еловый лес в низинах. Повыше, на песках, сосны. Их сменяют голые осины с березами, еще держащими поредевший желтый лист. Ух, какая березища! Кряж.

— Дичи, верно, много здесь и рыбы? — Серго обращается к шкиперу, скучающему за штурвалом.

— Вы — охотник, чувствую.— Мрачный шкипер оттаивает.— И дичь и рыбешка ведутся. Вчерашний день кочегар наш аглицкой снастью — спиннинг называется — вот эт-такую семгу зацепил! А птичья этого! Да вон они, утки. Волна пароход качает, а им хоть бы что, знай нырк-нырк. Припозднились, однако, с отлетом. Видать, зима еще не скоро ляжет.— Шкипер вздыхает тоскливо, думает о своем, сокровенном.— Некому в вас стрелять стало — все стрелки друг в дружку палят. Н-да-с... Двое моих... Егорка недавно, когда Варшаву германцу сдавали... Павлик, старший, тот еще в самом начале, в Мазурских болотах...

В последних словах его откровенно прозвучал упрек, обращенный к Серго: люди вот воюют, а ты отсиживаешься — хоть и в кандалах, да живой. «Хм! Мне еще, оказывается, можно завидовать!» Как объяснить отцу двух убитых солдат, что ты прогулкой бы счел отправку на фронт? Ведь не посылают тебя потому только, что ты — опаснейшая зараза для окопников. Как объяснить отцу двух убитых солдат, что не германец окаянный убил их?

Задумавшись, Серго наблюдал за берегами, впитывал природу, и больше всего потрясал горизонт, не скрытый стенами крепости. Чем ближе к Питеру, тем заметнее следы человека на земле. Сады с кустами смородины, малины, почти голыми яблонями. Люди пахали, жгли картофельную ботву на огородах, тянули неводы. И все останавливались, едва завидев проклятый пароходик, провожали его взглядами.

— Дымит Ижора! — шкипер нарушил молчание.

Серго глянул туда, куда он кивком указал. Там, вдали, высились над равниной громады вытянутых цехов и мостовых ферм, скопище труб, строительных лесов, подъ-

емных кранов, простерших кабель-мачты, казалось, в самое небо. Не поймешь, где начинается этот завод и тем более где кончается. Однако же сразу чувствуешь, какое бы высокое слово к нему ни примерял — «колыбель», «исток», «матерь»,— все будет под стать. Еще при Петре возвращена отечеству эта земля — окно в Европу. Основанный здесь по его указу во благо флоту российскому два века без малого растет, расширяется завод. Есть — есть! — на лице земли отметины, которые говорят о величии человека красноречивее эпических поэм, заставляя учащенно биться сердца потомков, внушая трепетное уважение к самим себе и к славному творчеству отцов и дедов. Среди них и Питер, и прежде всего Питер, и завод Ижорский, проще — Ижора («Дымит Ижора!») — завод перенял имя родной земли.

Между тем подошли к Питеру. Справа — Охта, Металлический завод, не менее знаменитый, чем Ижорский, хотя и на сто пятьдесят лет моложе. Богатырь машиностроения. Подъемные краны, землечерпалки, паровые котлы... Не по случаю стал опорой Владимира Ульянова и его товарищей при создании «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»... Здравствуй, заводище! На войну дымишь? Дай срок... Рабочие твои еще скажут слово, как сказали в пятом году, когда дрались на баррикадах. И сейчас живет рабочий Питер, живут гиганты и труженики — Путиловский, Балтийский, Адмиралтейский, живут светлые всероссийские надежды на них. Из-за притихших, словно затаившихся дворцов и соборов доносилось дымно-грозовое дыхание. Ветер стлал по воде неистребимые запахи кузнечной окалины, литейной гари, вольные вздохи паровых молотов.

— Гляньте! — шкипер встрепенулся.— «Аврора»!..

Впереди, за мостом, ожидая, как видно, разводки пролета, под которым проскребалась «Полундра», стоял военный корабль под андреевским флагом. Из трех его

ЗАВОД

труб дымила одна — две были пробиты, в носовой бро-не, у якорей, ржаво темнели обширные рваные язвины. Матросы счищали с палубы следы пожара.

— Подлататься идет,— рассудил шкипер и, заволновавшись, разговорился: — Вся броневая обшивка на Ижоре сделана. Знаменитейший корабль. Замечательный! От киля до грот-мачты питерскими мастеровыми построен. Наречен в честь того самого фрегата, что в восемьсот пятьдесят четвертом году, во время Крымской кампании, отразил нападение англо-французской эскадры на Петропавловский Порт. Восемь шестидюймовок. Видите? Да двадцать четыре трехдюймовки! Да три торпедных аппарата!.. Входила в состав нашей второй Тихоокеанской эскадры. Японцам, поди, до сих пор икается? В Цусимском сражении вместе с «Олегом» «Аврора» отбила атаки девяти их крейсеров. Подняли сигнал «Погибаю, но не сдаюсь!». На одной совести до Филиппин доплюхали...

Последующее Серго знал, возможно, лучше, чем шкипер. Давно Адмиралтейство и охранное отделение озабочены тем, как бы «Аврора» не стала вторым «Потемкиным». Недаром в обвинительном акте по делу о революционных организациях на линейном корабле «Слава» и крейсере «Аврора» сказано, что во время заграничного плавания матросы «Авроры» установили связи с русскими социал-демократами в эмиграции... С начала войны крейсер в боевом строю и теперь вот идет на ремонт. На «Авроре» конечно же есть наши, возможно, даже знакомые, знающие тебя в лицо. Как обратить на себя их внимание, подать весточку, что жив, что вот — рядом с ними?! Так хотелось крикнуть! Но... Это может обернуться и предательством по отношению к товарищам-матросам....

«Полундра» приближалась к стальной, в рыжих потеках стене. Матросы на палубе «Авроры» прекратили работы, выстроились вдоль борта, как для встречи на-

чальства на смотру, напряженно молчали, смотрели на колодников, колодники — на матросов. Крутой серый борт, увенчанный строем людей в робах, медленно плыл мимо Серго. Слева был Зимний дворец, Медный всадник, Сенатская площадь, помнившая и декабристов, и девятое января пятого года. Справа — крейсер с обращенными на дворец орудиями. Так хотелось, так надо было крикнуть товарищам! Душа рвалась. Глубоко вдохнул дождевой нагонный ветер. Слегка разыгрывая простака, чуть рисуясь и бравируя, к изумлению колодников и жандармов, громогласно начал:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн...

— Не дозволяется, господин хороший! — робко одернул жандарм.

— Про царя же! — Серго читает Пушкина с упоением, с надеждой и уверенностью:

Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море...

Уже за кормой остался крейсер. А Серго все смотрел на него как на символ грядущего избавления. Показалось, что в ответ с палубы кто-то махнул рукой. Показалось? Нет. Снова! И еще!

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...

Не знал он и не мог знать, что через два года матросы «Авроры» захватят крейсер, откажутся выполнять

приказ Керенского о выводе корабля из Петрограда и двадцать пятого октября тысяча девятьсот семнадцатого года в двадцать один час сорок минут грохнут вон из того орудия, давая сигнал штурма. Не знал и не мог знать, что через пятнадцать лет знаменитейшие заводы Питера под его, Серго Орджоникидзе, руководством будут строить Днепрогэсы, Турксибы, Магнитки, дарить тракторы и танки, блюминги и телескопы, трубы и насосы для добычи нефти, буксиры для Беломорско-Балтийского канала, цистерны, прессы, ткацкие станки, подводные лодки, ледоколы, новые «Авроры». Конечно, ничего этого не знал и не мог знать колодник в потертой шинели на палубе утлого пароходика. Но все это он как бы предчувствовал, провидел в ненастной мгле своего бытия. Оттого и не стыл под напором нагонных, с брызгами, волн. Оттого и не кланялся шквальному, с дождем, ветру.

СО ВРЕМЕНЕМ В ЛАДУ

Восьмой месяц в пути от Шлиссельбурга. Зимовал в Александровском централе. Безделье томило Серго хуже каторги. «Выручила» эпидемия горячки. Фельдшер, вся тюремная прислуга с ног сбились — и тогда Серго вызвался помогать: ведь он — тоже медик...

Потом надивиться, нарадоваться не могли:

— И параши тягает от больных, и самих на носилки ложит. Ни хрена не боится. Перец с огнем, ты ему еще не моргнул, а он уж сделал — только «ха-ха» да поет на свой лад «хурлы-мурлы»...

В июне двинулись дальше — на север. Если были бы карандаш, бумага и возможность, Серго так записал бы сложившееся в уме письмо:

— Панулия! Дорогой! Я совсем отдохнул, когда наша пестрая и довольно многолюдная команда погрузилась

на паузок. Трюм превратился в огромную, плывущую вниз по течению Лены камеру. Удобств — никаких. Сплошные нары в два яруса. Вповалку здоровые и больные, теснота, закрытые наглухо ночью двери, вонь грязного белья и немытого человеческого тела. Все искупается с наступлением утра. Едва открывают трюм, мы бросаемся на палубу. Кто садится за удочки по бортам паузка, кто принимается за самодельные шашки, шахматы. Большинство просто отводит душу — долгие часы мы жадно всматриваемся в цвет неба, в игру воды, во все, что после долгой разлуки дарит природа. Ближе к Якутску паузок проплывает под нависшими над рекой островерхими скалами. Вспоминаю Кавказ...

Пойма разрастается обширной долиной, сверкает озерами, лоснится тучными травами. Лена несет свои воды с достоинством — плавно, величаво. И погожие дни — солнце почти не скрывается, и белые ночи, и простор безмятежных вод навевают томление, смутные надежды, мечтания о любви.

Вот и Якутск виден. Обширные пустыри сменяются тесно поставленным, будто сбежавшимся в кучки жильем. Большей частью видны амбары — дома, срубленные из бревен, но кое-где и юрты с покатыми стенами, со слюдяными оконцами. Лабазы с коваными, как в России, дверями, да еще некоторые — не зря, наверное? — обнесенные частоколами. И надо всем — церкви, колокольни церквей. Мрачный двухэтажный дворец губернатора. Дом полицмейстера. Дом воинского начальника. Громадное деревянное здание тюрьмы...

Приход новой партии ссыльных — событие, особенно для здешних поселенцев, а их тут, по слухам, больше четырехсот. Высыпали на берег. Суют хлеб, кисеты, черемшу — от цинги. Кричат:

— С благополучным прибытием, бог вас храни, господа!

— Братья! Страждущий во Христе приветствует единоверцев!

— Товарищи! Разрешите представиться. Большевик Ярославский, он же Гименей, он же Лапин, Крупихин, Истомин, Ватный, Емельянов...

— Как вас не знать?!

— И о вас наслышаны, товарищ Серго. Вот, знакомьтесь, пожалуйста, жена моя Клавдия Ивановна Кирсанова. Отроковица у нее на руках — дщерь наша Марианна.

— Очень приятно.— Серго принимает букетик каких-то неведомых ему цветов, благодарит не только из врожденной деликатности.

Вдруг среди общего гомона:

— Гамарджоба, кацо! О! Шенгенацвале! О! А! Вай!..

Невероятно. Впрочем, что же тут невероятного? Объятия до ломоты в груди. Поцелуи земляков. Слезы радости. Надо же! — за десяток тысяч верст от Тифлиса встретить не кого-нибудь — знакомого! Ведь обнимал его и тузил и тискал, больно наступая на ноги, Сандро Кецховели, младший брат Ладо — Владимира, того самого, что вступил в революционное движение еще учеником Тифлисской православной духовной семинарии. Того самого, что вместе с Джугашвили и Цулукидзе руководил марксистским меньшинством «Месаме-даси», давшим начало социал-демократии в Грузии. Того самого, что создал в Баку первый комитет РСДРП ленинского толка, в Тифлисе подпольную типографию, где печатали «Брдзолу» — грузинскую «Искру», если хотите. Заключенный в Метехский замок, Ладо отказался давать показания, но бесстрашно назвался профессиональным революционером. Тюремщики убили Ладо выстрелом через окно камеры.

Хорошо помнились похороны Ладо, гора Давида, толпы обескураженных и разъяренных тифлисцев, родные погибшего и среди них рыдавший Сандро. Семнадцатилет-

ний Орджоникидзе, только что принятый в партию, выступил тогда с пламенной речью. Теперь, возле пристани, на якутском берегу, ему так хотелось сказать что-то доброе-доброе:

— Не плачь, Сандро! Будь здоров, дорогой!.. Гамарджоба...

Прожив в Якутске около двух месяцев, Серго непрерывно выступал на тайных сходках — говорил об отношении Ленина к войне, рассказывал о встречах с ним, о Пражской конференции. По справедливости власти сочли, что «придерживающийся опасно крайних взглядов ссыльнопоселенец Орджоникидзе пагубно влияет на окружающую среду» и перевели его в село Покровское. По здешним меркам, недалеко, под боком,— ста верст от Якутска не будет, но места, по тем же здешним меркам, глуховатые. Недолгий путь на пароходе в сопровождении жандарма, в обществе милого доктора Варвары Петровны Широковой, тоже из ссыльных, пострадавшей за участие в первомайской демонстрации. Варвара Петровна врачует в больнице, где и Серго предстоит работать. От пристани идут втроем.

— Места здесь, правда, глухие,— Варвара Петровна продолжает начатый на пароходе разговор.— Зато красивые.

Верно. Покровское раскинулось по просторному нагорью вдоль берега широкой Лены. Обступая село, искрится под солнцем тайга, уже тронутая багрянцем осин, желтизной берез, червонным золотом лиственниц. Все както стремительно пышно в здешнем скоротечном лете, точно природа боится не успеть и старается поскорее выплеснуть все, что накопила, претерпевая долгую-предолгую зиму. Оглядывая мелколесье, по которому они шли, Серго понимал, что земля оттаяла на аршин-полтора. Корни деревьев не уходили вглубь, а стлались по тощей почве.

Варвара Петровна взяла на себя роль гида:

— Весной наша Лена разливается верст на двадцать — настоящее море. Случается, и Якутск затопляет... Крепкие мужики держат по паре, а то и по две лошадей. Зимой тракт, идущий вдоль берега, кормит и поит, но особенно поит, подчас доставляя нам новых пациентов. Гоняют почту. Девять месяцев в году почтовая эстафета — единственное средство сообщения. Как во времена Радищева. Неудивительно, что и письма и газеты теряются, опаздывают на месяцы... Поздравляю! Перед вами как на ладони богом спасаемое село Покровское. Все пятнадцать дворов, из них лишь десять — крестьянские. Тем не менее Покровское считается весьма значительным поселением, чуть ли не центром. В самом деле, основные атрибуты государственности, как видите, налицо: три церкви и волостное правление...

— Прошу,— пригласил жандарм, не проронивший до того ни слова.

Исполнив необходимые формальности и сдав поселенца с рук на руки земскому заседателю Протасову — он же местная полиция, гласный и негласный надзор,— жандарм остался пить чай в правлении, а Серго с Варварой Петровной двинулись дальше.

— Вот, пожалуйста, еще немеркнущий очаг цивилизации — лавка знаменитого по всей Лене охмурялы Кушпарева. Вот телеграфное отделение, почтовая станция. А вот церковноприходская школа...

Тут... Серго замер, точно вдруг обессилев. По ступенькам школьного крыльца легко и гордо взбегала девушка — тяжелая золотисто-русая коса до пояса. Судьба! Ну, оглянись же!..

И уже словно из-под воды слышал низковатый грудной голос Варвары Петровны. Кажется, она говорила о том, что в Покровском часто устраивают ярмарки и сюда на своих крепеньких мохнатых лошадках съезжаются ко-

ренные жители окрестных мест, что якутские селения — наслеги — начинаются в двух-трех верстах от Покровского, что якуты живут оседло, но летом перебираются со скотом на другой берег Лены, в пойму, в заливные луга. Трава там такая сочная! Ну вот и пришли...

Из больницы села Покровского медицинская помощь должна простираться па север до пятидесяти верст, на юг — до двухсот, на восток за Лену — до двухсот пятидесяти и охватывать территорию двух Бельгий, правда, не со столь же плотным населением, но... Нелегкий труд выпадал на долю одного лишь врача и двух фельдшеров, которые были в непрерывных разъездах. Теперь, спасибо, третьего бог послал. И третьему предстоит работать в стационаре, в амбулатории, в аптеке, единственных на «две Бельгии». Пока Варвара Петровна показывала комнату, где Серго будет жить, он видел только девушку с тугой косой.

И все следующие дни, едва только выпадала свободная минута, фельдшер отправлялся на прогулку, и неизменно маршрут пролегал мимо школы. Полюбопытствовал бы, к примеру, что вытянули мужики неводом, как идет сибирская белорыбица — нельма. Так нет же — далась ему школа...

Одинокий — только тень человека, а нелюбимый одинок вдвойне.

Видеть ее! Говорить с ней! Смотреть в глаза! И он видит ее каждый день, знает, когда она появится, когда исчезнет, но подойти так и не решается. Что с ним? Казалось бы, не робкого десятка, а поди ж ты. Словно мальчишка, томится, краснеет. Видно, любовь, подобно ненависти, сплавляет воедино, казалось бы, несоединимые, даже взаимоисключающие чувства: страдание с наслаждением, радость с тоской, трусость с бесстрашием. И ты ощущаешь, как возбуждаются в тебе силы, такое богатство открываешь в себе, столько нежности, добра, ума,

что сам дивишься: откуда? Неужто это я умею так любить?

Серый сентябрьский полдень. Вместе с подругой она идет навстречу по селу. Серго нарочно не сворачивает. Лицо готово расплыться в улыбку. В последний момент он не выдерживает напряжения — нервы сдают,— галантно уступает дорогу. Представляет себя таким, каким, верно, видят его сейчас. Варвара Петровна говорила ему как врач, что он слишком истощен и нуждается в усиленном питании, что худ и бледен: «Так вы до весны у нас не дотянете, якутская зима свой смотр производит, невзирая ни на что». Отощавший, с горящими глазами навыкате, он наверняка производит впечатление чахоточника, и девушка с тугой косой просто боится его. К тому же одет он... Серго любил принарядиться, хотя и не был рабом тряпья, не стыдился даже арестантского рубища. Но сейчас... Все золото мира за самый завалящий костюм! Так хотелось быть элегантным, привлекательным. Поношенное пальто угнетало, усиливало ощущение ущербности. Он нарочно шел без шапки, показывая длинные, почти до плеч, вьющиеся волосы.

Снова он спасовал при встрече, которую так ждал. А ведь по ночам придумывал красивые, добрые слова. Все же на этот раз она, кажется, обратила на него внимание. О чем-то спрашивает подругу. Та пожимает плечами. Проходят мимо. Ну, обернись же! Я загадал. Не оглянулась. О! Проклятье!

Новая встреча — у пристани. Подваливает пароход. Прибытие парохода здесь — единственное публичное развлечение. Пароход дарит свежие вести из иной жизни, вместе с волнующим шумом века электричества и машин приносит новых людей. И так хочется, так хочется аборигенам на них посмотреть, показать им себя...

Кажется, все жители высыпали на берег, все слои общества представлены. Дома побросали — хоть грабь. Хо-

рошо, что грабить некому. Мужики. Бабы с детишками на руках, а одна даже на сносях. Торговцы-якуты с соленой нельмой, с вяленой осетровой тешкой, с икрой в долбленых кадочках. Дьякон. Звонарь. Церковный староста. Телеграфист. Приказчик. Батюшка. Сами господин Протасов. И... учительша Зинаида Гавриловна Павлуцкая в окружении питомцев. Стоит на мостках между берегом и пристанью, смотрит с детской непосредственностью и девичьим любопытством, будто пароход из другого мира к ней приближается. В который уж, поди, раз встречает, а никак надивиться и насладиться не может, все ждет чего-то из ряда вон, суженого. Погляди на меня, Зина!..

Оглянулась! Будто почувствовала... Всю жизнь берег бы тебя! Никогда, никогда не обидел бы ни словом, ни вздохом. Почему нельзя подойти к тебе и сказать все это?

Белый пароход, тяжко отдуваясь клубами дыма и гулко шлепая плицами громадных колес, причалил. По трапу сошел почтарь с казенными мешками, запечатанными сургучом. Обгоняя его, сбежали краснорожие от вольготной выпивки в салоне покупщики ценной рыбы. Проковылял безногий, на костылях, солдат, которого тут же кучей облепили родичи. Между тем Зина смотрела на пароход все так же зачарованно и даже кому-то помахала рукой. «Не капитану ли?» — ревниво насторожился Серго, завидуя всем капитанам на свете и всех капитанов уже ненавидя.

Дородная, статная, румяная. Ни красоты, ни стати, ни силы не занимать. Истинная сибирячка, наглядное подтверждение того, что красота прежде всего в здоровье, что в здоровом теле — здоровый дух. В жакете из вишневого сукна, подбитом лисьим мехом, в пуховой начесной шали она, казалось, вышла из игрища на картине Сурикова «Взятие снежного городка». Тут же, од-

нако, пылкое воображение все переиначило. Нет, не в картине она виделась, а выплеснулась из всемогущей реки, замерла и вот-вот обрушится на тебя волною — захлестнет, подхватит, унесет. Серго зажмурился, мотнул головой, стараясь избавиться от наваждения, и сквозь щемяще тревожную грусть, какой никогда еще не было, подумал: до чего ж это здорово — жить!

Когда он открыл глаза, учительша по-прежнему стояла лицом к студеному ветру с реки и поправляла шаль. Мягкие белые руки плыли над головой, над пенистой кромкой берега, над волнами с барашками, над морем по имени Лена. И он почему-то вдруг увидел, какое светлое и высокое над ним небо, какая ясная красота вокруг.

Стоял без шапки, глядел на учительшу. О чем она думала? Может, о далеких краях, из которых пришел и в которые уйдет последний в этом году пароход? Или о том, что скоро зима и солнце почти не покажется? А может, о нем, о Серго Орджоникидзе? Вот бы она упала в воду и оказалась одна в бушующей Лене! И он кинулся бы ее спасать... Он подплывает к ней, уже выбившейся из сил, отчаянно пытающейся удержаться на волне, и легко подхватывает ее. Лена неистовствует. А он с драгоценной ношей, наперекор стихиям, захлебываясь, но не сдаваясь, пробивается сквозь штормовую ярость волн — вперед и только вперед!..

— Убрать трап. Отдать кормовую.— Пароход шумно отваливает.

Что за игра воображения? Сбросил девицу в набежавшую волну — да еще в ледяную! Сам вымок до нитки! Не-хо-ро-шо, товарищ Серго. Сколько еще в тебе мальчишества! А может, это и хорошо? Но позвольте... Она уходит. А ты думал, зазимует на берегу?..

Верно, ощущать и любить жизнь в другом — не только предназначение, но и талант человека. И любимый для него никогда не бывает отсутствующим. А здесь,

в селе, где так трудно не встретиться и еще труднее не познакомиться, тем более фельдшеру с учительницей... Она просит Варвару Петровну сделать детям прививки против оспы. Кто придет в школу? Неужели не ясно?

Подавляя волнение, Серго вошел в единственный класс, тесный, надышанный десятками разновозрастных ребят,— такой же, в каком сам не так уж давно учился. Только окна поменьше да рамы двойные.

Учительша напряженно следила за тем, как фельдшер приступал к процедуре. А ребятишки были напуганы вторжением усача, да еще чернявого, да еще с сумкой, на которой в белом кругу краснел крест, не суля ничего хорошего. Во все глаза глядели, как разложил на столе холодно сверкавшие коробочки, возжег, словно шаман, спиртовку. Окаменев, слушали, как велел всем закатывать рукава. Но не подчинялись. Беспокойно принюхивались, чем так приятно и устрашающе запахло. Двое забились под парты, а один метнулся вон, так что учительше пришлось его, самого великовозрастного, задержать и пристыдить. Но усатый не спешил злодействорать — и тем несколько успокоил аудиторию. Занял место учительницы, у всех на виду, возле грифельной доски, закатал собственный рукав:

— Па-апрашу внимания. Все смотрят на меня. Все! Тэ-эк-с...— Крошечным ножичком царапнул по плечу себе: — Разве это больно? Зато оспа мне теперь нипочем.

Одобрив его кивком, учительша закатала рукав шерстяного платья и подошла к фельдшеру. Его рука, признаться, дрогнула, когда прикоснулся к обнаженному плечу, но прививку сделал вполне профессионально. Объясняя, зачем прививка, и уговаривая наиболее пугливых, учительница очень помогала фельдшеру. За день все сделали. Когда сторож прогремел колокольчиком и ученики, истомленные переживаниями, разбежались по домам, Зина заметила:

— Вижу, любите детей... У нас не только из Покровского учатся — из ближних наслегов тоже. Очень велика тяга к образованию.

— И вы посвящаете себя этому?

— Разве не стоит? Кому же еще?..

— Чернышевский, помнится, писал отсюда об ужасающих условиях жизни, о нищете местного населения.

— «Я присмотрелся к нищете; очень присмотрелся. Но к виду этих людей я не могу быть холоден: их нищета мутит мою заскорузлую душу. Якуты живут хуже негров Центральной Африки».

— Вы читали Чернышевского?!

— А вы полагаете, нас только псалтырь интересует?

— Извините... И «Что делать?» читали?

— Почему же я в этом классе?.. Вы знаете, как живут якуты? Хозяин с женой, старики, дети, весь их скот, и собака, и кошка почти никогда не едят досыта. Еще шутят: в юрте мышь не заводится, нечем поживиться. Край непрерывного голода. Плюс повальная трахома, волчанка, сифилис. А люди, обязанные заботиться, презирают народ. Тот же губернатор считает себя незаслуженно сосланным сюда просветителем, твердит: «Черт бы вас побрал с вашими фельдшерами и учителями, с вашим чванливым тупым чиновничеством, с пошлой, провинциальной купеческой роскошью, с туземцами, которые лопают сырое мясо и сырую рыбу, но никак не удосужатся создать хоть завалященькую письменность!» Если бы этот прекрасный, добрейший народ, народ-труженик и подвижник, жил хоть чуть-чуть по-человечески! Если бы вывести его на свет божий из кошмара, что зовется юртой, где только грязь, вонь, всяческая зараза!..

— Н-да... Мечтать о сытости и сносном жилье для народа на несметно богатой земле все равно, что голодать на ларе с хлебом. Самое просвещенное воображение

не в силах представить реальные возможности этого края, а он вымирает!

— Однако что-то все же делается. В нынешнем году для народного образования в области отпущено тридцать четыре тысячи двести...

— Как раз половина того, во что обошелся браслет! Да, да! Тот самый, что великий князь подарил великой княгине! Тот, что добыт здесь же, в Якутии, теми же якутами... При полумиллионном населении, при территории шести Франций — семнадцать больниц, двенадцать врачей, десять акушерок, двадцать восемь фельдшеров. Я — двадцать девятый. Не мудрено, что в итоге — те самые трахома, волчанка, сифилис, о коих вы упомянули, два процента грамотных, а в якутских поселениях — и того меньше.

— Вы хотите сказать, что все наши усилия напрасны? Капля дробит камень не силою, но частым падением.

— Боюсь, вам тот камень не раздробить. Как бы, напротив, он не раздробил вас с вашими благими порывами.

— Что же вы предлагаете?

— Прибегнуть к помощи кайла и кирки, к помощи каменотесов и молотобойцев. Если все арестанты в тюрьме станут просвещенными, вряд ли от этого тюрьма перестанет быть тюрьмой.

— При чем тут тюрьма?

— При том, что мы живем в стране, которую по справедливости величают тюрьмой народов.

— Тюрьмой народов? Кто сказал?

— Мой учитель в школе под Парижем. Чтобы добыть свободу и свет, надо разрушить стены тюрьмы.

— И этому вы себя посвящаете?

— И именно поэтому я здесь — перед вами. Спасибо судьбе...

— Погодите. Где вы этого всего набрались?
— Я же вам сказал: в школе под Парижем.
— Вы правда были в Париже? Расскажите...

Младшая сестра Вера снимала комнату в Якутске, училась в пятом классе гимназии. Тосковала по маме, по Зине, часто писала домой, просила подробнее рассказывать о новостях в Покровском. И Зина так же часто отвечала. Но одно ее письмо — в сентябре шестнадцатого — особенно запомнилось Вере. В нем Зина вроде между прочим упомянула, что в село приехал новый ссыльный. Молодой. Очень красивый — волосы до плеч. Вера сразу насторожилась, всем тринадцатилетним существом учуяв что-то, заревновав старшую сестру к неведомому молодцу, очень красивому — волосы до плеч.

Предчувствия ее не обманули. Понемногу все новости села в освещении Зины стали собираться вокруг нового ссыльного, преломляться сквозь него или отражаться от него и, наконец, свелись к нему одному. Зина пускалась в рассуждения о том, что вот прежде ей казалось, будто раз этих людей выслали из родных мест в немилую им Сибирь, то они непременно должны быть суровыми, озлобленными. Ничуть не бывало! Ох, Веруня! Как я была глупа! Когда узнаешь их, оказывается, не унывающие, не теряющие лица ни при каких обстоятельствах. Ничто их не сломит. А как с ними интересно! Начинаешь больше себя уважать, видя в них такой неиссякаемый напор, порыв, жаркую страсть жизнелюбия. Широкие, добрые, глубоко, красиво думающие, тонко чувствующие, переживающие беды других, прежде всего отечества нашего, как свои собственные...

В другом письме Зина подробно рассказывала, как встретила фельдшера, когда его пригласили брат с невесткой Катей лечить их старшенького. Представь, Веру-

ня, он вошел, наш новый фельдшер, и дети Иннокентия, трое Катиных девочек, так напугались. «Цыган!» — завопил кто-то. И все девчонки попрятались под стол. Фельдшеру, конечно, не очень-то приятно: таким людям не по душе, если их боятся, да еще дети. Но он не подал виду. Вот что значит воспитанный человек. Прошел как ни в чем не бывало мимо девчушек, будто их и не было в комнате. «Ну-с, показывайте, где тут больной мужчина»,— и все с улыбкой. И выдержка притом. И галантность. Мне вспомнились мысли Толстого: человек, который так хорошо улыбается, не может быть плохим. К тому же он так любит детей... Видела бы ты, Веруня, как заботливо осмотрел десятилетнего «мужчину»! Как выслушал и его и Катю! Прописал лекарства, успокоил: ничего страшного — обычная инфлуэнца. Катя хотела его «поблагодарить» — сунула рублевик. А он так возмутился — зарозовел. Даже мне страшно стало. Так искренне, так неподдельно. Девчонки — самой взрослой ведь нет и шести, надеюсь, ты помнишь? — с еще большим страхом смотрели на него из-под стола. Тогда фельдшер подошел к ним и с шутками-прибаутками на своем языке стал вытаскивать их на свет божий. Мне запомнилось: «Бахахы цхалши хыхынэпс», в переводе, оказывается, это значит: «Лягушка громко квакает в болоте». Сначала девчонки отбивались и пищали, но улыбка его — такая подкупающая! — как видно, успокоила их, расположила к нему. Уже через пять минут стали друзьями — водой не разольешь. Воссели у него на коленях, он обучал еще одной грузинской скороговорке. «Дядя Грузя, а что это значит?» — «Спляши, тогда скажу. Ты лезгинку танцевать умеешь? Хочешь, научу?» Пришла мама. Сели за стол. Иннокентий стал рассказывать о своих прихожанах, о том, что в бога он не верит, а служить приходится: четверо детей, место пастыря наследственное, от тестя. «Я бы никогда так не мог, ни за что!» — говорит дядя

Грузя.— «Не зарекайся»,— мама ему сказала.— «Нет, Агапия Константиновна, верьте совести. Лучше сам себя зарежу». Допоздна просидели, проспорили...

Дядя Грузя стал частым гостем в доме Иннокентия и Кати, и с его приходом начиналось общее веселье. Купить любовь нельзя, тем более любовь ребенка,— старая истина. Вроде ничего такого он им и не рассказывает, ничего из ряда вон выходящего не делает: любит их — и они платят любовью за любовь. Это относится не только к Катиным детям. Часто из дальних якутских селений привозят в стационар больных ребятишек. С каким вниманием, с какой заботой лечит их! Умеет как-то быстро, сразу подойти к маленькому человечку, подобрать к нему ключик. Сам отмывает, отскребает многолетнюю грязь, сам делает перевязки, сам кормит. Верно, оттого он такой сердечный, что пережил немало тяжелого — три с лишним года в кандалах, и детство трудное, без матери, хотя и говорит, что рос в любви и ласке...

Всякий раз, когда он приходит, в доме Иннокентия начинается спектакль. К нему загодя готовятся, его предвкушают. На стены наклеивают бумажные носы. У фельдшера, я бы сказала, орлиный нос. На стенах не просто дружеские шаржи, но и своего рода приветствия. И фельдшер, как человек, умеющий видеть себя со стороны, никогда не обижается, ценит юмор и легко отличает его от насмешек...

В октябре ему исполнилось тридцать лет. Как раз к этому дню подгадала посылка от любимого старшего брата Павла, который служит телеграфистом на железной дороге в Тифлисе. Прежде Грузя, или Серго, как мы его называем, очень гордо, с вызовом даже носил красный галстук. Со значением шутил: флаг несдавшейся крепости. Теперь подпоясывается красным кушаком с кистями — тоже, конечно, флаг с вызовом...

Так часто письма от Зины еще не приходили. И Вера

подозревала, что сестра спешила не столько поделиться новостями, сколько душу излить. Трудно, что ни говори, Веруня, южанину привыкать к нашему климату, тем более что приехал в легкой одежде. Мы ему не без помощи мамы справили тулуп необъятный и столь же необъятную доху. Тулуп черный, длиннющий, с соответствующим букетом ароматов, и если его снимают, то вешать не надо — стоит, будто на посту, только часовой на минуту вышел из этой будки. Оленья доха покороче, помягче. Когда наш фельдшер снаряжается в дальние страны, как он называет каждую поездку в улусы, облачаем его в полном соответствии с принципом «семеро держали — трое надевали», целой артелью запаковываем в тулуп, сверху тулупа напяливаем доху и под общий хохот обматываем шерстяным шарфом. Но едва усядется в сани, все разматывается, развязывается. Однако с нашим морозом не забалуешь... Поднесла свечу к оконной наледи, продышала глазок — мамоньки! — сорок на градуснике по Реомюру. Заставляем нашего фельдшера поберегаться, кутаться, делаться, по его же словам, витязем в бараньей шкуре...

А какой наблюдательный! Возвращаясь из поездок, увлеченно рассказывает, что где повидал. И, казалось бы, хорошо тебе известное приобретает новый смысл. Страдает от того, что якуты живут в темноте и грязи. Радуется, как сложены камельки в юртах — мало топлива, много тепла, и вытяжка придумана, говорит, гениально. Завидует, как метко якуты стреляют — бьют белку только в глаз, как быстро аркапят нужного оленя в громадном стаде, где все олени вроде одинаковые. Восхищается искусностью якутских женщин: как делают посуду из бересты, шьют из оленьих шкур одежду и обувь. Уже завел торбаса — не нахвалится: легко и удобно, как в кавказских сапогах-чулках, да еще тепло. Ну и, слава богу, можно не беспокоиться, что обморозит ноги.

Постоянно грозит кому-то: «Придет время — этот край даст силы не только себе...» Вообще, Веруня, видел ли кто его унывающим, подавленным? Во всяком случае, ни разу не слышала от него жалоб, всегда шутит, улыбается, заряжен порывистой, бьющей через край энергией, будто светится благородной силой. Вселяет, даже если не хочешь, свою убежденность. Быстро завоевал симпатии не только нашей семьи, но и тех, кто приходит к нему на прием. Далеко не все поселенцы ведут себя так. Уж мы-то знаем! Иные стараются подружиться с чиновниками, которые берут взятки, войти в доверие к полицейским, иные спиваются...

Когда Зина ей написала, что мама приняла столоваться двух фельдшеров — Слепцова и Серго, Вера догадалась: по настоянию Зины, Слепцов — для отвода глаз. Так точно! — Дальше Зина писала, что откармливают Серго как могут. Он так любит сибирские шаньги с картошкой и с грибами и со всем, что дашь, щи кислые, пироги с мясом и, понятно, пельмени — пельмени! А еще очень любит черную смородину и бруснику мороженую, называет их «ягоды самосахарные», потому что покрываются инеем, когда вносишь в комнату. Ест с чувством, не жадно и красиво. Мама смотрит на него с удовольствием, называет его удальцом, дарит афоризмы, вызывающие у него восторг, оказывающиеся созвучными большевистским лозунгам, вроде «несуженный кус изо рта валится», от души потчует. Но он не остается в долгу, ты ему рубь — он тебе три. Приходит с гостинцами — покупает в лавке. Мама его журит за то, что напрасно деньги тратит. Какое там жалованье у ссыльного фельдшера? Еще меньше моего. Но у нас-то хозяйство, а у него... Однажды даже косулю купил — целую тушу. Прямо на улице развел костер, поджарил на угольях кусочками, нанизанными на прутья. Вкуснота! Называется шашлык — по-кавказски. И мастер на все руки, и труженик, и размах —

поистине княжеский. Как-то прочитал наизусть мне Тургенева — стихотворение в прозе «Два богача». Это, говорит, мое кредо и вместе с тем нравственный эталон народа. Действительно, крошечное стихотворение, а стоит романа. Там Ротшильду противопоставляется мужик, который берет в свой разоренный домишко сироту-племянницу, хотя знает, что теперь не на что будет соли добыть, похлебку посолить... Ничего, мы ее и не соленую... Далеко Ротшильду до этого мужика!..

Каждый вечер Серго бывает в нашем доме. Прежде вечер для меня был самым скучным временем и тянулся, тянулся, пока не уснешь за книгой, а теперь... Уж поскорее бы наступил! Поглядываешь на наши милые ходики: ну, когда же, кукушечка, прокукуешь?! Нет-нет да и глянешь в окно — ничего не видать, сплошная наледь и темно. Тогда на крыльцо выйдешь...

Что за волшебство наши зимние ночи и небо ночное! Прозрачное. Спокойное. Кажется, для тебя только величаво сверкают звезды. И Большая Медведица выше плывет. Наверное, из-за того, что воздух промыт и высушен морозом, но мне хочется думать: из-за чего-то другого. Дымы столбами над Покровским — белоснежные, чуть пошевеливаются, словно засыпая. Но вот в печь подкинули дров — то ли в доме заседателя, то ли у приказчика, тут же из трубы искры снопом, дым клубится к небу. Далеко за Леной часто, пронзительно лает лисица. И собаки в Покровском откликаются. Как хорошо, Веруня!

Наконец он приходит. Опять получил посылку от брата. Содержимое ящика тут же оказывается на общем столе: сушеные груши, яблоки, абрикосы, винные ягоды, связки красных стручков перца, бусы из орехов, засахаренных в виноградном соке — чурчхела, россыпи золотого изюма. Помнишь ссыльного, который столовался у нас прежде? Каждую посылку прятал под подушку и съедал все один, забиваясь под одеяло. Конечно, я не судья го-

лодному, но тут... Все с приходом Серго становится ярким, значительным. Такими короткими кажутся эти вечера!

Сидеть бы и сидеть у затихшего самовара. Накрытый стол, скатерть мягко освещены семилинейкой. Наши тени — стоит шевельнуться — стремительно разрастаются по стене. Серго рассказывает о Персии, о Париже и Праге, о Германии и России, о Тифлисе, Питере, Москве — о таких далеких сторонах, что они кажутся сказочными. Больше всего говорит о Грузии — говорит особенно тепло, по временам дыхание у него перехватывает и, мне кажется, оттого, что слезы подступают.

Вдруг он вроде сам себя перебивает. Хмурится. Произносит: «Родина в ничтожестве! С такими богатствами — такое убожество! Лупят на всех фронтах, кому не лень...» И продолжает уже не о дальних странах, а о главном деле жизни, о товарищах. Они, несмотря ни на что, делают свое. Во что бы то ни стало, чего бы ни стоило — сделают. Долг всякого честного человека, всякого патриота — прокладывать дорогу в будущее. И как только заговаривает о будущем, тут же вспоминает Старика — так называет любимого учителя, рассказывает о нем, о его думах, мечтах...

Мама полюбила нашего Серго. Да его нельзя не полюбить...

Больница с печными трубами походила на корабль, брошенный командой среди замерших по чьей-то злой прихоти волн. Ни звука, ни шороха. Но вдруг — трескуче и раскатисто, словно выстрел из пушки,— где-то лопнул ствол дерева. И вновь тишина. Холодно до ломоты в коленях, до колик в уша́х. Всегда выражение «кровь стынет в жилах» он воспринимал как избито напыщенную метафору, но теперь оно, кажется, материализовалось.

Жутко от холода. Земля закочепела, время закочепело — день пикогда не наступит.

Шарик — добросовестный страж больницы, жалуясь, повизгивал, жался к ногам. Видно, и ему жутковато, ко всему привычпому старожилу. А может, устал гоняться за наглыми зайцами и обиделся на них за то, что ни его, ни кого в грош не ставили, неслись, неслись куда-то, растворяясь в серой мгле.

Вновь морозный воздух треснул — на этот раз от недальнего удара в колокол. Звонарь приступил к работе, отец Иннокентий — к делам. Пора и нам... Зина! Верно и ты уже не спишь. Интересно, о чем думаешь. О ком?

Семь часов утра — прием больных в разгаре. Придя в половине девятого, Варвара Петровна замечает, как много уже сделано. Поистине, кто рано встает, тому бог подает... Спрашивает:

— Почему так мало отдыхаете? Никто же не гонит.

— Варвара Петровна! Если б вы знали, какое это счастье — работать, после крепости, после кандалов! Все легким кажется. К тому же больные собираются. Не заставлять же их ждать.

— Как вы умудряетесь объясняться с ними?

— Главным образом по-французски. Ей-богу! Немножко по-русски, немножко по-грузински, а в основном по-французски. Сам не понимаю — они понимают. Правда, помогают еще пантомима и мимика. Вот этот жест, например, означает «разденьтесь», это па — «дышите», этот пируэт лезгинки — «не дышите».

— Любопытно. Ну а как вы, скажем, станцуете диагноз? Волчанку, или трахому, или острый аппендицит?

— Это уж пусть сам больной танцует, если сможет.

— Истинно медицинский юмор! Ну вас, право...

Но выражение лица фельдшëра доброе. И Варваре Петровне думается, что больные, должно быть, в самом деле понимают его оттого, как стремится, как старается

он им помочь. Особое его пристрастие — дети. Вот, пожалуйста, приглашает:

— Полюбуйтесь, каков джигит!

«Джигиту» месяцев шесть. Он лежит в коросте, в невообразимой грязи и вони, на куче лоскутьев полуистлевшего пыжика. Варвара Петровна с трудом пытается представить, что перед ней прекрасное дитя, но не может, как ни напрягает воображение. И только спустя некоторое время, к удивлению своему, спохватывается: а ведь фельдшер-то прав — действительно чудный ребенок, если мыть дочиста, кормить досыта. Почему самой сразу в глаза не бросилось? Ведь ты — врач, а он всего лишь фельдшер... Даже завидует: «Умеет схватить суть вещи, явления, отбросить второстепенное, наносное, шелуху... Плюс талант, интуиция...»

Тем временем Серго берет на себя роль санитарного просветителя, с помощью всех доступных ему языков начинает вдалбливать больным, что грязь — мать любых болезней и нет лучшего лекарства, чем мыло с мочалкой, не придумано лучшее шаманство, чем банька с березовым веничком. Увлекается — от санитарии быстро переходит к политике. Вот отмочил шутку-прибаутку по поводу того, что вши у нас в империи не столь от запущенности, сколь от усердного попечительства государя и его сановника. Докторица Варвара Петровна отводит фельдшера в сторону, шепчет:

— Вы бы все-таки поаккуратней. Донесут Протасову.

— Не умею, не могу, не хочу изменять себе самому...

Варвара Петровна косится на обмерзлое окно, вздыхает сочувственно и виновато, не решаясь что-то сказать, но решается:

— Не хотела вас огорчать сразу... В Синском тяжелый случай дифтерита. Сто с гаком верст по такому морозу...

— Что ж, если надо...

Через полчаса фельдшер в кибитке. Погоняет пару мохнатых заиндевелых. Частит колокольчик под дугой коренника. Спешит фельдшер, шлет с каждой станции на тракте телеграммы: так и так, мол, едет без задержек. По устоявшемуся обычаю, спешные его послания достигают Варвары Петровны в конвертах, к которым приклеивают птичьи перышки: «Лети как птица».

Полюбили якуты искусного фельдшера. А может, положа руку на сердце, не был он уж таким искусным? За что же тогда? Может, за то, что не обижал равнодушием, сердечно вникал в их дела, страдал от их болестей-горестей-бед? Немало перебыло в Покровской больнице фельдшеров, и почти все брали за врачевание «признательности» — кто деньгой, кто песцом, кто и золотишком. А этот... Гол как сокол, а попробуй сунуться к нему с «признательностью»!.. Другие лекари из тех же ссыльных от трудов праведных понаживали не то чтобы каменные, однако же палаты... Позови только тойон или купец Барашков, моргни только — все бросят, прилетят, хотя и не на их участке жительство имеет. Потом расписывают, как обласкал, как пировали да как там, у Барашкова, все заведено-устроено, даже коровы при электрическом освещении, «нам бы такое для больницы!». А новый фельдшер о Барашкове и слушать не желает, зато к любому голодранцу, ночь-полночь — пожалуйста, с дорогой душой...

Коля Степанов, пятнадцати годов, поехал за сеном на остров. Одежонка не ахти — вроде той, в какой Серго прибыл из Якутска. Воротился мальчишка, слег в постель, не встает. Отец, мать видят: помирает. Кинулись к шаману. А тот уехал в ближние наслеги — за полтораста верст. До Покровского — всего сорок. «Айда-валяй Колин брат за фершалом». Тот приехал и говорит: воспаление легких, жизнь на волоске. И до того, случалось,

наезжали фельдшеры. Все как есть сердитые, что тойоны. Кричали на пациентов: «Сыроеды, так вас разэдак! Безбожники!» Не то «фершал Григорь Константиныч». По-якутски, правда, не горазд, больше через переводчика, зато терпеливо толкует, пока не втолкует. Выведал не только то, что касается Колиной хворобы, но и всей жизни. Четверо суток не отходил от больного. Чаем поил, порошки из сумки с красным крестом давал да ягоды «самосахарные» — велел побольше, побольше кладите в чаек-то. Да за медком гонца — того же Колиного брата — посылал в ближнюю лавку, стало быть, в Покровское. Спиртом грудь растирал, спину — ух, духмяно! Сушеницу запаривал — настой пить заставлял, спину, грудь травой обкладывал запаренной. Выходил Колю, вторым отцом сделался. «Проси у нас, что хочешь,— отдадим. Скажи, что знаешь,— поверим».

Возбужденный, довольный, возвращается Серго из поездок, рассказывает Зине, признается в промашках:

— Сплоховал я на той станции — поторопил писаря за шиворот. Не давал лошадей, и баста! Видели бы вы, какая прыть сразу!.. Сколько в нас, во всех, рабства и раболепства, барского хамства и хамского барства! Верно, я был поистине страшен? Просто фельдъегерь николаевских времен. Фу! Вспоминать стыдно.

— Но ведь вы действовали в интересах спасения жизни.

— Ничто не оправдывает ни барства, ни хамства, ни унижения. Спешил спасать одну душу — наплевал в другую да еще в третью — свою собственную...

Под рождество начальство поручило Зинаиде Гавриловне произвести перепись школьной библиотеки — содержимого двух шкафов, к которым учительница так любила подходить и на которые Серго поглядывал буквально с вожделением... Вечер после ужина. Двое хлопочут возле заветных шкафов, освещенных керосиновой лам-

пой с белым стеклянным абажуром. Серго бережно доставал книгу, обтирал влажной тряпочкой, просматривал улыбаясь, точно встречал давнего друга, искал и находил то, что искал: ее пометки, еле видные: не дай бог повредить бумагу! — точечки на заложенных страницах. Особенно заинтересовали тома Чехова:

«Как богата Россия хорошими людьми!.. Дайте человеку сознание того, что он есть, и он скоро научится тому, чем он должен стать... Какое наслаждение — уважать людей!.. Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой... Человеческое жало опаснее змеиного», — читал и читал Серго, забывшись, увлекшись, поражаясь, как полно и глубоко для своих двадцати постигала Зина Чехова: — «Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь...» — Может, выписывала все это, а потом учила этим детей, внушая им нравственный кодекс человека, который, по собственному признанию, всю жизнь выдавливал из себя раба — каплю за каплей.

Что, если?.. Вечерами, за столом с самоваром, не раз они игрывали во флирт цветов. Один выбирал на картах подходившее его настроению и мыслям изречение, передавал карту другому, называя цветок — псевдоним выбранного изречения. Партнер таким же образом отвечал. На картах постоянно встречались «Я трепещу, я содрогаюсь», «Люби меня, как я тебя», «О, коварный тиран моего сердца!» и прочее в том же роде. Здесь же под рукой были светлейшие — многие из тех, кем за девятнадцатый век Россия одарила человечество: Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой. Что, если?.. Серго взял очередную книгу: Белинский. Раскрыл на месте закладки. Ага! Как нельзя кстати. Протянул Зинаиде Гавриловне:

— Страница сто двадцать девятая, второй абзац сверху.

Приняв игру, Зина прочитала вслух:

— «Человек должен быть мужчиной, а не самцом, женщиною, а не самкою...— Тут же покраснела, но продолжала: — Человек не зверь и не ангел; он должен любить не животно и не платонически, а человечески... Духовная близость ведет к тому, что мужчина видит в женщине и, наоборот, женщина в мужчине прежде всего не существо иного пола, а человека».

Серго протянул новую книгу, назвал страницу и абзац. Зина опять прочла вслух:

— «Любить — значит желать другому того, что считаешь за благо, и желать притом не ради себя, но ради того, кого любишь, и стараться по возможности доставить ему это благо».— Еще больше покраснела.— Ну, погодите! Я отомщу. Вот вам. Вот вам. Страница двадцать вторая, третья строка снизу. Получайте!

— «Мужчина лучше женщины философствует о сердце человеческом, но женщина лучше его читает в сердце мужчины...» Под дых!

— Я вам задам!

И пошло...

Серго: «Люди смертны, как смертны растения, но бессмертна любовь, как зерно».

Зина: «Любовь узнается по-настоящему только после того, как ее подвергнут испытанию».

Серго: «Минута любви говорит сердцу больше о любимом, чем целые месяцы наблюдений».

Зина: «Ни один человек не прожил настоящей жизни, если он не был очищен любовью женщины, подкреплен ее мужеством и руководим ее скромной рассудительностью».

Серго: «Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя».

Зина: «Любите и уважайте женщину; ищите в ней не

только утешения, но и силы, вдохновения, удвоения ваших нравственных способностей».

В ход шли новые и новые книги. Вот из глубин шкафа Зина, оглянувшись, достала изрядно потрепанный том.

— Чернышевский в школе? — Серго покачал головой.— Опасно... Что прикажете читать у Чернышевского?

— Все подряд! — Зина засмеялась.

Смех ее Серго так любил. Улыбка делала Зину особенно привлекательной. И тут же словно по инерции, набранной во время игры, он подумал стихами: «Она его за муки полюбила...» Лишенный всех прав состояния, сосланный навечно, Серго не ощущал себя отверженным. Напротив, пережитое рождало в нем прилив энергии, жизнелюбия, упорства. Великие писатели не просто сближали Зину и Серго, но делали их прозорливее, умнее, сильнее.

«Ты мой свет в окне,— думал он, с благодарностью глядя на нее.— Ты мой воздух...»

А Зина думала: «Как люблю его голос, говор! Пошла бы за ним куда угодно! Все бросила бы. А он... Где ж тот кавказский темперамент? Вот возьму и поцелую — сама, первая...»

И поцеловала.

Потом они молча смотрели друг другу в глаза, будто пораженные чем-то, внезапно открывшимся только им двоим. И, словно бы навсегда решив что-то очень важное, отринув что-то, сковавшее их обоих, Серго будто вновь увидел, как прекрасно лицо Зины, какое красивое платье на ней, как ладно оно облегало ее стан. Будто вновь и по-новому заметил ее румянец, нежные ресницы, влажные, чуть насмешливые глаза. Ощутил в ее существе такую чистоту, такую силу любви и саму любовь — не только к нему, но и к тем, кто тогда, осенью, на берегу Лены, встречал-провожал пароход, кто промелькнул на нем, ко всем на земле. Он знал, что в Зине

жила эта любовь, потому что она жила в нем. Знал, что в этой любви он как бы соединялся с нею, Зиной. Счастливый, он привлек Зину к себе, предложил:

— Едем встречать Новый год в Якутск!

— Едем! — согласилась она.

Он подкатывает к ее крыльцу. Да не как-нибудь, не на паре больничных — на тройке почтовых с бубенцами. Когда Зина является на крыльце, Серго готов опрокинуть сани с кибиткой, разнести школьный дом, задушить ее самою, Зину. Но она и так уже задушена тулупом и дохой: постаралась мама, снаряжая дочку, хотя и не выражала восторга. Напротив:

— Постыдилась бы, учителька! Срамота! С черкесом!..

Его же предупредила:

— Снимаю с довольствия.

— За что, уважаемая Агапия Константиновна?

— Поматросишь и бросишь. Видали таковских.

— Здоровьем клянусь! Куском хлеба! Честью!

— Не про нас та честь. Не ходи к нам боле.

Могущества Агапии Константиновны хватило на то, чтобы подвергнуть «черкеса» блокаде и голоду, но оказалось недостаточно для тушения любви. Дочь не покорилась. Не смирился, тем более, и «черкес», не страшившийся ни голода-холода, ни черта-дьявола. Смириться пришлось матери. По вечерам Серго вновь сиживал за столом с сибирскими шаньгами и пельменями... Не зря называет его Зина «Мой Неистовый».

Как жаль, что снег стекольно чистый, а не грязь да лужи на улице, и на плечах у Серго не бобровая шуба, а то бы он сбросил ее Зине под ноги, чтобы, как по ковру, перешла в его карету! Теплынь: всего двадцать пять градусов ниже нуля. Хорошо катить на тройке с ветерком под гору! Эх, если бы мама не подпортила настроение

накануне!.. Глядя в крошечное оконце кибитки, Зина особенно остро ощущала на себе провожавшие, настороженно изумленные взгляды звонаря, приказчика, самого господина Протасова. Но вот, слава богу, село позади. Под косогором открывается заснеженная равнина.

— Э-эх! — ямщик встрепенулся, привстал: — Жалеть коня — истомить себя. Балуй у меня! Возишь воду — вози и воеводу!..

Бегут кони, как в песне, как в сказке: из ушей полымя, из поздрей дым столбом. Наезженные колеи ведут напрямик по застывшей Лене. А там, где ледостав наворочал прозрачные гряды, чуть подаются в сторону и опять прямиком, прямиком. Солнце играет — мороз будто сжимает воздух, делает его крепче, а настой бодрящей свежести гуще. Ветер хлопьями срывает иней с лошадей. Гремят в честь путников орудийные залпы: где-то впереди лопается лед, садится от зимней убыли воды. А вот и совсем рядом салют. Сквозь трещину волна шибает ввысь на сажень, катится навстречу, вот-вот долизнет до конских копыт, до кованых полозьев. Берегись! Наддай! Не лошади, не кнут выручают — добрый овес вволю.

Протяжный стон воды подо льдом долго стоит в ушах, откатывается и вниз и вверх по реке, гулко повторяется эхом далеких берегов, пока не замрет под глухим льдом...

Среди полного счастья вдруг — неясные подспудные сомнения. Но не в том ли и величие человека, что он может тосковать, томиться, страдать и быть несчастным? Чурбан этого не может. Говоря, что человек соткан из силы и слабости, из озарений и ослеплений, из ничтожества и славы, мы не судим себя, но выражаем собственную суть. Однако усердие, с каким мы отражаем удары судьбы, терпение, выносливость, недоступные никакому чурбану, не делают нас менее уязвимыми, чувствительными.

Возница обращал все внимание к лошадям, корил, попрекал их.

— Упреждали меня люди: не бери девку пронскую — не купляй лошадь ямскую! Но-о! Но-о, дуропогая!

Зина дремала, засыпала и просыпалась, закрывала и открывала глаза — улыбалась виновато и вновь закрывала. Наконец она уснула, положив голову на плечо Серго. Как хорошо!.. А где-то люди избивают друг друга: мы — немцев, немцы — нас... Берлин... Какие мосты, заводы! Сколько электричества, машин!.. Светло так, что глазам больно. Станция берлинской подземки. Прямо на Серго бежит поезд — бежит и бежит. И грохота почему-то не слышно — только цокот копыт по льду... Прямо по льду бежит поезд, мимо цехов Ижоры, по плотине электрической станции... Огненная река. Чугун? Золото? Или алюминий, о котором мечтал Чернышевский, коченея в вилюйских снегах? А вот и Ильич... Лонжюмо... А это Маркс: «На Риджент-стрит я видел выставленную модель электрической машины, которая везла поезд... На Риджент-стрит... На Риджент-стрит...» Копыта, что ли, отстукивают?.. «Следствием экономической революции будет революция политическая...» Будет, будет...

Серго проснулся, когда смеркалось. Стараясь не шелохнуть затекшей рукой, подложенной под голову Зины, приподнялся так, чтобы лучше видеть ее лицо. Она то хмурилась, то улыбалась во сне чему-то своему, не связанному с ним, с Серго, улыбалась загадочно, мечтательно, по-детски надувала пухлые губы. Он смотрел на нее ревниво, ревновал ее к ее снам. И ему становилось страшно оттого, что с его жизнью объединяется ее жизнь. Он уже отвечает, волнуется, хлопочет не за одного себя, а за двоих.

Путь перегораживал хаос торосов. За ним чернела полынья. Ключами кипела вода. И над нею грузными космами клубился пар. Дорога пошла берегом. Зина от-

крыла глаза. И вдруг — что случилось? — впервые Серго заметил, как хороши таежные дали, простиравшиеся в бесконечность мутно-серого неба в тусклом — нет! — мечтательном отсвете канувшей в ночь зари. Впервые он был счастлив от того, что небо — небо, а река — река. Впервые понял: вот это и есть прекрасное, главное в жизни, истинное, на поиски и достижение чего человечество истратило свои лучшие головы,— быть участником и продолжателем этого, несмотря ни на что, ликующего мира.

Эх, а лошади!.. Лошади здешние до чего хороши! Стелют по ветру длинные-предлинные гривы. Серая, в яблоках, коренная. Левая пристяжная — чисто белая. Правая — стальной масти, в яблоках, с белой гривой и белым хвостом. Ну чем тебе не Мерани?..

— Слушай, дорогой! — Серго попросил ямщика: — Дай вожжи, а?

— Лучше жену у меня проси.

— Полуштоф сверх уговору!

— Ишь, распалился! Ну, садись, коль не шутишь. Мотри, не больно-то. Понесут — не удержишь: тут тебе не Россия.

Серго сбросил доху, оставшись в тулупе, забрался на облучок:

— И-эх! Гей! Гей! — размахался, как заправский ямщик.

Никакого результата. Как тащились, так и тащатся. И вожжами бодрил, и кнутом поощрял — все едино. Ямщик смеялся:

— Не бей рукой — посыпай мукой...

Серго горячился пуще прежнего. Так хотелось покрасоваться перед Зиной! Но лошади под чужой рукой шли развязно, с издевкой, переча самозванцу, насмехаясь над ним.

Спрятал кнут, запел по-грузински — ласково, про Сулико. Лошади запрядали ушами, испугавшись незнако-

мой речи. Потом насторожились, прислушиваясь, невольно подчиняясь ритму мелодии. Пошли чуть резвее. Разошлись. Даже ямщик удивился:

— От хозяйского глазу и конь добреет...

Звезды морозной ночи. Сугробы. Крыша кибитки ссыпает иней с елок, сошедшихся у дороги поглазеть на быстролетную тройку. Верно, задор возницы передался коням. Признали его покоряющую доброту, подчинились порыву его воли, увлеклись. Не бегут, а творят бег — с наслаждением. «Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке?..»

— Гей! — И с маху пробит перемет.

— Гей! — И с треском расступаются ветви.

— Гей! — Лётом летит кибитка.

Праздник силы и удали. Молодечество. Мужской задор. Сухой шорох инея. Свист полозьев. Девичий смех. Когда кибитка клонится на ухабах, кони согласно умеряют бег, позволяя вознице в его тулупище спрыгнуть, пробежать сбоку и плечом подпереть кибитку: упаси бог опрокинется. И снова — во весь дух, во всю прыть:

— Гей, гей, гей! — Понимай: «Я люблю тебя, Зина! Люблю!»

Звон бубенцов замирает во дворе. И вместе с клубами пара в тесную комнату врывается нечто буйное, шумное, с трудом в нее вмещаемое, еле сдерживаемое вблизи спящей Марианны...

Ворчит самовар. Тикают часы на стене. Пока ямщик отходит от мороза и негромко, по-ночному толкует с Клавдией Ивановной и Зиной, Емельян Михайлович вполголоса рассказывает Серго о новостях, о том, между прочим, что нашего полку прибыло: в Якутске — Григорий Иванович Петровский. Да, именно тот председатель большевистской фракции, которого за его речи в Государственной думе черносотенец Пуришкевич требовал повесить

и повесил бы с удовольствием. Тот самый екатеринославский токарь из крестьян господ Марковых, что по прихоти судьбы в царской Думе выступал против потомка своих господ Маркова-второго, председательствовавшего на заседаниях, ярого монархиста, сочувственно повторявшего «крылатые» слова Пуришкевича: «С голодухи не забунтуешь. Драть их розгами! Мне не нужен Стенька Разин. Мне люб мужик, ползущий ко мне на брюхе». Марков-второй и сам не дурак, по достоинству оценивает Петровского и таких, как Петровский: «За ними, к сожалению, идут рабочие. Это они, кочегары революции, подбрасывающие без конца под котел уголь, чтобы нагнетать пары...»

Кочегары революции... Отлично сказано! Смутное, но сладостное предчувствие говорило Серго: да, сбудется, да, повезет. Возможно, то было лишь томление надежды, которая не оставляет человека вообще и в преддверии нового года особенно. Серго вновь переживал бодривший жутковатый задор бойца перед боем. Дело звало и манило, сулило и требовало: вперед! Самым счастливым становится тот, кто сделает счастливыми возможно больше других. Самое дорогое в тебе — талант, в жизни — подвиг. Они сокращают путь к цели. Серго прислушивался к себе, подчиняясь порыву надежды, мысленно обращался к Зине: «Прости, не могу сказать тебе, что вся жизнь моя только в тебе, только ради тебя. Да ты бы и разлюбила меня, отрекись я от себя самого».

Жизнь сводила Серго с еще одним замечательным человеком, истинным героем-рабочим. Неспроста ведь Ленин выделял Петровского как особо выдающегося депутата и партийца. Писал про него и таких, как он, что они блистали не краснобайством, не «вхожестью» в буржуазные, интеллигентские салоны, не деловой ловкостью «европейского» адвоката и парламентария, а связями с рабочими массами, самоотверженной работой в них, выпол-

нением скромных, невидных, тяжелых, неблагодарных, особенно опасных функций нелегального пропагандиста и организатора. Верил и верит Ильич: ей-ей можно с такими людьми построить рабочую партию, черт знает, какие победы одержать при росте движения снизу.

В пятом году Петровский — в боевом стачечном комитете Чечелевки, при одном из первых Советов, на окраине Екатеринослава. Чечелевка стала неприступной крепостью революции. Всероссийская стачка была подавлена, а «Чечелевская республика» держалась семьдесят два дня — столько же, сколько Парижская коммуна. Григорий Иванович был любимым героем рабочего люда. Рассказывали, что в Донбассе шпики боялись за ним ходить: стоило пожаловаться шахтерам — тут же расправлялись с соглядатаями. Но главное — Петровский виделся с Лениным, получил от него советы и наставления в июне четырнадцатого, перед самой войной, когда Серго был на каторге, а Ярославский — в ссылке.

Как летит время! Кажется, недавно встречали новый век, а уже девятьсот семнадцатый год настает. В тесной комнате елка — свечи, самодельные хлопушки. Праздничный стол: омуль вяленый, муксун копченый, олений холодец, казарка жареная, капуста квашеная — небольшими ядреными кочанами и рубленая. Все стараниями Клавдии Ивановны и Зины припасенное, общими усилиями приготовленное, при сочувственном участии Марьянки, с трудом достававшей до края стола. Рядом свидетельство усердия Серго: сациви — орехи грецкие заменены кедровыми, а чеснок — черемшой.

Во главе стола — Емельян Михайлович. Он на восемь лет старше Серго и успел больше. Девяти лет от роду начал трудовую жизнь сын ссыльного поселенца из Читы, кормившегося хлебопашеством и скорняжничеством. Маль-

чик в аптеке, фармацевт, землекоп на постройке железной дороги — той самой, до Тихого океана, великой сибирской магистрали. Потом — действительная служба... Читинский комитет партии, Петербургский, Тульский, Московский... Организация стачки на Большой мануфактуре в Ярославле — оттуда и основная партийная кличка. Военно-боевая конференция в Таммерфорсе, речь, которую Ленин назвал замечательной. Пятый съезд партии в Лондоне — делегат военных организаций Питера и Кронштадта... Семь арестов. Одесская тюрьма, питерские «Кресты», московская «Бутырка», предварилки и пересылки, две голодовки и два побега, один в компании смертников. Гордится: «Могу быть педагогом, переводчиком, газетчиком-журналистом, могу столяром-мебельщиком, рисовальщиком, выжигателем по дереву». Кстати, мебель в доме, утварь, игрушки, конечно и елочные, сделаны руками хозяина. Но еще больше горд тем, что с тех пор, как существует у нас большевизм, он всегда был большевиком, никогда не уходил от партии, никогда не изменял ей.

Емельян Михайлович не позволяет себе расслабляться, ни при каких обстоятельствах не сидит сложа руки. По примеру Ильича превращает тюрьму, каторгу, ссылку в университеты. Поскольку тюрьмы, каторги, ссылки без малого двенадцать лет, то и знания соответствуют... Емельян Михайлович основательно широкий, крупноголовый — ни дать ни взять Тарас Бульба, только сабли не хватает. Пользуется большим влиянием в городе. Заведует метеорологической станцией и краеведческим музеем, работает в отделе Русского географического общества. Энциклопедист и просветитель. Академиком зовут Ярославского в Якутске — и молодые люди, которых он потихоньку обращает в свою веру, и видные ссыльные интеллигенты, и губернатор, благосклонный к нему, смотрящий сквозь пальцы на «революционные художества».

заведующего музеем. Этому обстоятельству, между прочим, Серго обязан направлением на юг, в Покровское, вместо определенного ему Вилюйского округа, а Григорий Иванович — оставлением в Якутске по пути к убийственному для него Средне-Колымску.

Свободно владея английским, немецким, польским и еврейским, Емельян Ярославский изучает французский, испанский, шведский, японский, украинский, армянский, тюркский языки. А познакомившись с Серго, заинтересовался и грузинским языком. Еще в одиннадцатом году предсказал, какую роль сыграет человек, умеющий летать, написал дельные статьи о дирижаблях, аэростатах, аэропланах. Весьма серьезными считаются работы Ярославского как первого краеведа-ботаника Якутии. Поговаривают, будто за большую научную и просветительскую работу его собираются избрать в Русское географическое общество — честь, которой удостаивались Пржевальский, Семенов-Тян-Шанский, Миклухо-Маклай, Владимир Даль, адмирал Крузенштерн, адмирал Макаров...

За новогодним столом он говорил значительно, остро. Причем, как всегда, особенно доставалось господу богу и его служителям:

— Дидро прав! Религия мешает человеку видеть, под страхом вечных мук запрещает смотреть. Философия и медицина сделали его самым разумным из животных, астрология — самым безумным, суеверие и деспотизм — самым несчастным.

Марианна, воссевшая на коленке Серго, завороженно смотрела на отца, покоряясь музыке его мягкого и глубокого, словно из души, голоса. Напротив Серго, слева от мужа, расположилась Клавдия Ивановна, возбужденная празднеством и хлопотами. Красивая! Только теперь спохватился, иронически усмехнулся: наконец-то разглядел... Чуть правее Клавдии Ивановны — острые, но усталые глаза. Клин густой черной бороды, такие же смоля-

ные, с проседью усы, просторный, светлый и чистый лоб — лицо человека, немало страдавшего и мужественно одолевающего страдания. Долгое время Петровский был без работы: нигде не принимали опасного бунтовщика, даже в городе ссыльных. Нуждался, мыкался — безделье хуже каторги.

— Теперь, спасибо Емельяну, работаю при складе сельскохозяйственных машин. Слесарем. Токарем. Был на молотьбе за машиниста. Молотили при сорока пяти градусах мороза! А обычное время в кузне. Холод, дым, пыль буквально создают каторжные условия, ну, да нам не привыкать... Товарищи по думской фракции не забывают, сами в ссылке, а мне шлют. Понятно, я деньгами не воспользуюсь, заработок у меня есть, а пошлю товарищам, тому же, скажем, Шагову: бедствует, по слухам...

Серго с интересом поглядывал на него. А Григорий Иванович — на Серго. Хотя, может, больше его привлекала Зина? Вспоминал, наверное, жену, оставшуюся в Питере, тосковал на людях больше, чем в одиночестве. Зина сияла рядом, по правую руку от Серго, искрилась довольством молодости, здоровьем, счастьем. Впрочем, жило в ней и некое напряжение, настороженное ожидание и смятение, словно у невесты на свадьбе.

В конце раздвинутого до предела стола, друг против друга, сидели два якутских товарища. Робели, старались держать себя чинно, изысканно, с трудом орудуя вилками: «Нам легче пешней лед рубить или олешек арканить». Представляя их, Ярославский не сдержался, похвастал: «Мои новообращенные — первые якутские эсдеки».

Восьмой стул, у противоположного от хозяина торца стола, был свободен. Когда Марьянка спросила, для кого он, отец многозначительно и торжественно подмигнул собравшимся:

— Для Деда Мороза... Чтобы поскорее вернулся на родину, чтобы нам поскорее с ним встретиться...

Потом снова шутил, оседлав любимого конька:

— В музее у нас есть очень хорошая статуя шамана-колдуна, в полном облачении, со священным бубном. Однажды какой-то дьякон презрительно сказал, обращаясь к посетителям: «Вот шарлатан!» А молодой якут ему тут же ответил: «Ваш коллега!..»

Стрелки шварцвальдских, с кукушкой, ходиков приблизились к двенадцати. Емельян Михайлович поднялся.

— Товарищи!

Слово-то какое! Мороз по коже. И слезу вышибает.

— Желаю вам счастья. Счастье...— творчество новых форм жизни, вечное стремление к новым, более совершенным формам жизни и борьбы за них. По-моему, быть счастливым — значит чувствовать красоту природы, познать радость любви и через страдание, через ненависть к злу жизни прийти к еще большей способности страдать за то, что считаешь смыслом жизни.

«Ку-ку...»

— Здоровья всем, добра и благоденствия!

«Ку-ку, ку-ку...»

— С Новым годом, с новым счастьем, товарищи!

«Ку-ку, ку-ку, ку-ку...»

— Урра! — Все оживились.— С Новым годом!.. С Новым годом!..

А Петровский, хитро глянув на Зину и Серго, крикнул:

— Горько!..

Но тут в дверь постучали. В клубах пара на пороге предстала оленья доха, увенчанная медвежьей папахой, с плоским дубовым бочонком в виде баула впереди себя.

— Дед Мороз! Дед Мороз! — Марьянка захлопала в ладоши.

— Сандро Кецховели! Добро пожаловать!

Сандро сбросил доху на пол, папахой отер иней с лица, огляделся, моргая, стряхивая капельки с ресниц:

— С Новым годом! Гамарджоба, генацвале! Ух, ты! Целый интернационал за одним столом: душ — восемь, наций — шесть...

— Кто про что, а курица знай про пшено,— бросил Серго.

Сандро хотел сесть на незанятый стул, но Ярославский предупредительно подставил другой.

— Ага, нельзя сюда! — Прежде чем сесть, Сандро выложил на стол пакет чурчхелы, попросил, чтобы Марианна раздала всем:

— Такой у нас обычай — на Новый год дети угощают всех сладостями, чтобы жизнь сладкой была,— и глянул на Серго, как бы ожидая поддержки. Похлопал бочонок по боку, умело вынул затычку, разлил вино по рюмкам.— Конечно, не натуральное. Натуральное сюда ни в какой посылке не доставишь, но все же кахетинское. Чувствуешь, генацвале, Алазанской долиной пахнет? — Заговорил по-грузински, обращаясь только к Серго.

И чем дольше он говорил, тем больше Серго мрачнел, косился на незанятое место, словно стыдясь чего-то. Наконец Сандро умолк и, стоя с поднятой рюмкой, ждал ответного слова.

— Извини, дорогой...— Серго опять покосился на незанятое место. Мельком вспомнилось говоренное Надеждой Константиновной о том, ка́к, расходясь с друзьями политически, Ленин рвет с ними и лично.— Извини, но... Говорить в компании на языке, который большинству непонятен... Где хочешь тебе скажут: хоть в Париже, хоть в Тифлисе...— Обратился ко всем: — Этот господин предлагает тост за Грузию, отдельную от других, особенно от русских, которых он ненавидит за то, что убили его брата Ладо в Метехском замке. Извини, дорогой! Но

не русские убили — убили те же, кто убил Ивана Бабушкина. Хоть это пора бы уже понимать!.. Крошечной патриархальной республики с тебя довольно, а мне, правильно ты сказал, интернационал подавай — и ни на грош меньше! Да лучше меня тебе ответит твой светлой памяти брат, который так любил повторять нашу народную пословицу: «Одной рукой в ладоши не хлопнешь»... Знаешь, что он делал в подобных случаях?.. Очень прошу уважаемую хозяйку меня извинить... Вот что он делал в подобных случаях.— И Серго выплеснул вино из рюмки себе под ноги.

— Кровная обида! — вскричал Сандро.

— Молодец! — поднялся Ярославский, указывая на незанятое место: — И он бы вас одобрил, Серго.

Клавдия Ивановна встала рядом с мужем, как бы защищая его и защищаясь:

— Марксисты считают национальный вопрос пробным зубом социал-демократа. Гнилой, Сандро, зуб у вас.

Их поддержал Петровский:

— Не любите вы свою Грузию.

С бочонком в одной руке, другой успев нахлобучить шапку, подхватить доху, Сандро вылетел прочь. Стало тихо, тихо.

«Тик-так, тик-так, тик-так...»

Теперь только Серго посмотрел на Зину и почувствовал, как устал, как душно в тесной комнате. Молчание нарушила Марьянка:

— Это Дед Мороз был, мама?

— Нет, девочка, успокойся...

— Когда же он придет?

— Скоро... Обязательно придет. Ложись, родная, тебе спать пора.

«Тик-так, тик-так, тик-так...»

Наступил тысяча девятьсот семнадцатый.

Прямиком из поездки к больным, в дохе и тулупе, Серго ворвался в комнату Зины, подхватил, закружил:

— Ур-ра! Сейчас же едем в Якутск!

— Дорогой! На носу экзамены...

— Революция, а у нее экзамены!

— Но пойми же... Приеду к тебе в Якутск, а пока...

Очень обиженный, в тот же вечер Серго заказал на почтовой станции перекладных лошадей и укатил.

В Якутске ссыльные уже избрали ревком: Кирсанова, Петровский (председатель), Орджоникидзе (избран заочно товарищем председателя)... Взять власть в свои руки... Потом это станет хрестоматийным и общепонятным, но тогда... «Я так утомлен, что еле вожу пером»,— пишет Серго родной Зине и ждет не дождется, когда же она приедет к нему. Живет на скудных харчах в комнатке при больнице — железная койка, стол, табуретка. Больше, если б и захотел, сюда не поставишь...

Замечательное, однако, помещение! Хотя и редко, но здесь появляется Зина. И тогда комнатка при больнице превращается в сказочный дворец. Конечно, не оттого, что Зина чисто выбелила стены, повесила кружевную занавеску — собственное рукоделие... И еще чем хороша комнатка: отсюда идешь делать настоящее дело...

Вот бурное заседание Комитета общественной безопасности. Обсуждают, признавать или не признавать союз, организованный служащими правительственных учреждений. Гражданин Орджоникидзе весьма запальчиво спрашивает, состоят ли в означенном союзе бывший окружной исправник и бывший полицейский пристав. Да, состоят. И гражданин Орджоникидзе вскипает:

— Как смеете взывать к доверию? Никогда не будем доверять вчерашнему шпику и надзирателю за ссыльными! Все чиновники взяточники.

Зал взрывается топаньем, шиканьем, криками «долой», одобрительными аплодисментами.

Председательствующий Петровский энергично трясет колокольчик, повышает голос:

— Прошу к порядку. Прошу не топать ногами. Вы не топали ногами ни Тизенгаузену, ни прочим, когда нас, революционеров, оскорбляли и поносили.

Шум помаленьку, как бы нехотя, утихает. Но поднимается кадет Семчевский, местный учитель. Голос хорошо поставлен:

— Предлагаю Орджоникидзе извиниться за брошенное корпорации чиновников обвинение.

— Как бы не так! — Серго тоже вскакивает с места.— Требую убрать из профессиональных союзов всех чиновников, потому что все чиновничество — взяточники. Об этом знает весь мир.

Респектабельный делегат от чиновников акцизного ведомства Сабанчеев молча встает и идет к выходу, но на полпути останавливается, не выдержав, оборачивается, кричит неожиданно хлипким при его солидной внешности дискантом:

— Я не могу оставаться! Я удаляюсь.

Единомышленники поддерживают Сабанчеева.

— Не давайте Орджоникидзе говорить!

— Вон его!

— Долой!

А Серго смеется им в глаза:

— Кто из вас не брал взятки, подходи сюда. Я утверждаю, что вы все взяточники.

С новой силой вспыхивает шум — возмущение одних, одобрение других. Чиновники, облаченные в прежние, царские, мундиры, члены фракций кадетов, эсеров, меньшевиков поднимаются с мест.

Серго, утонувший в их толпе, как бы выныривает из нее, становится на стул, распрямляется во весь рост:

— Ну, подходи сюда, кто из вас не брал взятки!..

Многие тогда называли Комитет общественной безопасности якутским конвентом. И наверное, справедливо. Но Серго не до пышных сравнений. Просто от души делает дело. Изо дня в день возрастает ярость схваток с меньшевиками, эсерами, кадетами, с попами и спекулянтами, с купцами-воротилами и царскими сановниками.

Несмотря на то что большевиков было в Якутске сравнительно немного, именно под их давлением, с их участием за какие-то два-три месяца новая власть успела не так уж мало. Ввели восьмичасовой рабочий день. Полицию заменили народной милицией. Выслали большинство царских чиновников, а вместо них назначили комиссаров Комитета общественной безопасности. Избрали суд и революционный трибунал. Ввели справедливое распределение продовольствия, что ударило по спекулянтам и спасло бедноту от голода. Создали Бюро труда во главе с Ярославским. Отпустили деньги на помощь освобожденным из тюрем. Организовали десять профсоюзов. В наслегах установлены новые порядки, смещаются исправники и заседатели, князьки и старшины, избираются местные комитеты общественной безопасности. Однако большинство делегатов крестьянского съезда проголосовало против предложения большевиков передать всю землю тойонов беднякам. И в Советах большинство поддерживало курс Временного правительства на продолжение войны до победного конца.

Нет, недаром так бурно встретили Новый год — быть ему мятежным. От предчувствия небывалого, почти несбыточного Серго делался словно хмельным. Оно томило, и тешило, и звало его. Не раз по ночам он просыпался, выходил на ленский берег, с надеждой вглядывался в глухие дали глухого льда под глухими звездами: «Когда же весна придет?» В марте термометры, которые Ярославский ставил на реке, показывали минус пятьдесят.

Промерзли до дна городские водопои, лошадей приходилось гонять к прорубям на стрежне Лены. Чудилось, будто дыхание вырывалось из груди с шорохом, со скрипом, и каждое неосмотрительное путешествие на свежий воздух могло обернуться обмороженным носом или пальцем.

Но вот началось однажды смягчение воздусей. Стремительно прибывали дни. Солнце светило по-старому яростно, по-новому тепло. Лишь ночами стужа охватывала город, цепеневший нехотя, с отвращением. Хороводили вокруг домов косматые белохвостые демоны — метались и завывали, стенали и рвались куда-то. Первыми зачуяли весну лошади. Забегали вдоль ограды больничного двора, словно внезапно обезумев — глаза пьяные, хвосты, гривы по ветру. Смятеннее всех оказался белый жеребец, прозванный Седым Дьяволом. По ночам рвал путы, перемахивал через ограду и уносился к почтовой станции, возле которой всегда ждали кобылицы, затевал дуэли с тамошними жеребцами. Больничному конюху стоило немалых трудов заарканить беглеца и водворить на место. Однако в ближайшую ночь все повторялось тем же порядком: завывание вьюги, топот копыт под окном, проклятия конюха-якута, бранившегося только по-русски.

Ветры бесчинствовали до начала апреля: то нагоняли сухую, трескучую стужу ближнего океана, то дышали сыроватым теплом дальних. Вскоре ожил снег. Окаменевшую землю под ним засверлили ручьи. В разгул зимы ворвалось лето. Серго старался всласть надышаться после зимнего долготерпения в духоте. Благо возможностей хоть отбавляй: с утра до ночи по всему городу митинги, сходки, схватки. И вдруг:

— Ленин вернулся!

Тут же в Питер летят телеграммы:

— Якутская организация социал-демократов радостно

приветствует Вас с возвращением к массовой социалистической организационной работе...

— Ленину. Из Якутска. Празднуем Ваше возвращение к открытой деятельности. Да здравствует возрожденный Интернационал. *Петровский, Серго, Емельян Ярославский...*

Как-то особенно остро Серго почувствовал: главное — впереди. Особенно рвался туда — «к нему». Особенно нетерпеливо поглядывал на ленский лед. Как же еще далеко до первого парохода! В лугах кое-где уже зеленели травы, пестро зацветали ирисы, пронзительно голубели озерца, а на Лене ноздристый лед черпел и чернел — и, казалось, что он никогда не тронется...

Под утро Серго проснулся от стона, скрежета, грохота, несшихся с реки. Боясь поверить, оделся, побежал. Как раз против города одно ледяное поле наползало на другое, сокрушая и сокрушаясь. Потом, словно изнемогнув и отчаявшись, оно замерло. Серовато-грязный вал, поигрывая в лучах зари колотыми гранями, перегородил русло. Там и тут из него чернели вывернутые с корнями деревья, оглобли саней, даже скелет плоскодонной баржи с мачтой и лохмотьями паруса. Из береговых прорезей в затор изливались ручьи, похожие на реки, усиливали и без того могучий гул, переполнявший долину.

Серго стоял ошеломленный и зачарованный. Думал о том, что успел полюбить этот край с его реками, подобными морям, с лесами в пол-Европы, со скудными полями и тучными лугами, с молчаливой суровостью и размашистой щедростью, сдержанной добротой и неуемной любовью, унылыми песнями и лучезарными преданиями.

Тем временем затор словно бы вздохнул, натужился и... ахнул на весь мир. Бревна, торчавшие изо льда, шевельнулись. По ледяным полям черные молнии скользнули — грянул гром. Хаос льда и обломков двинулся с таким грохотом, с каким, верно начинается извержение

вулкана. Всезахватывающая, всесокрушающая лава, казалось, вот-вот раздавит берега, опрокинется на город — кипела исступленно, с капризной и свирепой досадой. Но вот, чуть раздвинув берега, рассосался аатор. Льдины, важничая, толкая и тесня друг дружку, сокрушая комлевые бревна, поплыли к океану...

За день до отправки первого парохода якутские товарищи, принявшие бразды от русских революционеров, принесли альбом с тиснением «Память о якутской политической ссылке».

«Прощай, страна изгнания...— вывел Серго на чистом листе и замешкался. Не то. Зачеркнуть бы, да неловко: с таким старанием готовили альбом... Поставил запятую, продолжил с особым нажимом, как бы поправляя самого себя: — страна — родина.— Да. Вот так. Только так: «родина». Снова продолжил, размашисто, листа не хватило: — Да здравствует Великая Российская Революция! Да здравствует Всемирная Революция! Да здравствует Социальная Революция!»

В Покровском пароход простоит два часа. За это время Серго успеет подняться к школе, встретить Зину. Да вот она! Сама его встречает. Что с ней? Как похудела! Как похорошела!.. С трудом сдержался, чтоб не расцеловать на людях.

Возле дома решимость, однако, оставила их. Зина позвала сестру. Вера тут же вышла в палисадник. Зина шепотом:

— Верочка, помоги мне. Я не знаю, как маме сказать...

— Так и скажи: «Выхожу замуж».

— Что ты кричишь на всю улицу?!

— А чего таиться? Серго хороший.

В горнице сухощавая Агапия Константиновна — скорбь и страдание. Резче, заметнее морщины на смуг-

лом, опаленном годами и заботами лице. Должно быть, знобит ее в этот жаркий день: накинула на худые острые плечи шерстяной полушалок.

— Дочь уезжает — камень в воду.— Заплакала, запричитала, но, словно оглянувшись на пароход у пристани, заспешила, накинула черный полушалок, принесла икону в серебряном окладе, два золотых кольца.

— Мама! — Зина виновато глянула на Серго.

— И так без ножа меня режешь! Не отдам по-собачьему! Без благословения уедешь — нет у тебя матери.

Зина сникла, растерянно смотрела на Серго: ему легче руку отрезать, чем осенить себя крестным знамением. «Все равно уеду!»

«Нет, не могу,— думал Серго.— Однако вот Ленин венчался в церкви... Ленин был вынужден, иначе Надежде Константиновне не разрешали остаться с ним в Шушенском... И ты вынужден: ради доброго уважения к доброму человеку, к его совести». Подступил к Зине:

— Зачем обижать маму?.. Благословите нас, мама...

Плывет по Лене первый пароход, разрезает белую гладь воды. Теплынь. Ликование чаек. Благодать неба и солнца, зеленых берегов и багровых скал. Только на самом пароходе не до благодушества и умиротворенности. В салоне продолжаются баталии большевиков с меньшевиками. До хрипоты спорят о министрах-капиталистах, о предстоящем съезде Советов и продолжающейся войне. Тут же скучает Марианна — возле Зины. Зина слушает, стараясь не пропустить ни слова. Товарищи мужа так участливо приняли ее, так заботились о ней, что она понемногу вроде бы забыла тяжкие минуты расставания с родными, меньше мучилась от жалости к маме.

Марианна интересуется колечком на руке тети Зины, старается снять. Кольцо сверкает, кажется Серго, на

весь салон. И Петровский, и Ярославский, и Кирсанова неодобрительно косятся, переглядываются. Серго отзывает Зину в сторону:

— Пройдемся.— И на палубе: — Дай мне, Зиночка, твое кольцо.

Достал из кармана еще и свое, посмотрел с сожалением, размахнулся и оба — за борт, буль-буль.

— Ты что?! Золото!..

— Не плачь, пожалуйста. Не к лицу нам, Зиночка, побрякушки.

— Этого нигде, никогда не бывало!

— Бывало. Вот здесь на этой земле, декабристы и их жены ставили судьбы отечества повыше надобностей собственного брюха...

Ильич поднимается навстречу — живой, настоящий:

— Ну-те-с, покажитесь. На глаз молодцом. Как самочувствие?

Серго хочет пожаловаться на то, что после шлиссельбургских карцеров и якутских морозов одно ухо почти не слышит, спина, поясница болят, но вместо этого улыбается:

— Пять с лишним лет не видались — с самой Праги...

— А с вами, товарищ Петровский,— Ленин оборачивается,— с Поронина, если не ошибаюсь?

Никаких воздыханий, никакого суесловия. Сразу за дело. Расспросил о жизни в Якутии, о настроениях на местах: ведь вы чуть ли не всю страну проехали из конца в конец. Что бросается в глаза? Как живут, что говорят, за что ратуют? Поздравил Серго с женитьбой, узнал, кто и что Зина, одобрил, что она старается быть не просто спутницей, но и товарищем. И опять к делу:

— Землю крестьянам дали?

— Кха, кха...— Серго смущенно отвел взгляд.

— Эх вы, революционеры!..

Поселились молодожены в квартире Петровского на Выборгской стороне. В Питере, где собрался цвет партии, у Серго было немало товарищей. С иными успел поработать в подполье, иных прежде знал понаслышке. Встретил Кобу — Сталина, Алешу Джапаридзе, Дзержинского, Свердлова, Крупскую, Стасову...

Рано утром уходил Серго из дому, за полночь возвращался. Ильич поручил ему, как говаривали во времена «Союза борьбы», революционное обслуживание Нарвского района, где расположены крупнейшие заводы Петрограда, в том числе и Путиловский. Бывая у путиловцев, Серго и сам учился у них. Ведь двадцать пять тысяч рабочих завода в свою очередь играли не последнюю роль в революционном обслуживании народа. Одно пребывание рядом с ними давало надежду, жизнестойкость, уверенность. Именно их деды и прадеды сто с лишним лет назад, не страшась ни царских указов о работе по воскресеньям и праздникам, ни избиений палками на китайский манер, ни смен по одиннадцать с половиной часов, бунтовали, ратуя за человеческие права, за рабочее достоинство и честь. Именно путиловский кружок, собранный «Союзом борьбы», играл ведущую роль за Нарвской заставой. Именно здесь начиналась революционная работа Ильича. И неспроста двадцать два года назад вместе с ним арестовали девятерых путиловцев. На смену им заступил токарь пушечной мастерской Михаил Калинин, стал во главе социал-демократической организации. До сих пор действовал его станок и товарищи со значением вздыхали:

— Токарь тот обточит кое-что, дай срок...

Но и сами по себе станки, безотносительно к тому, кто на них работал, привлекали Серго. Жила в них магическая сила. Хотелось поработать на них — как когда-то тянуло вскочить в седло. Верно, от этой силы начи-

налось еще одно воспитание Путиловским заводом. Увлекала, покоряла более чем вековая история труда и мастерства, которую нес и хранил завод. Основанный в восемьсот первом, он отливал чугунные вьюшки, горшки и снаряды, которыми, между прочим, побили Наполеона.

Быть может, все это еще пригодится Серго Орджоникидзе, скажется на его судьбе, поможет ему? Как знать...

Часто вместе с ним Зина ходила на рабочие собрания. Присматривалась, прислушивалась. Когда мужу мешали говорить, а то и сгоняли его с трибуны, страдала, ненавидела всех на свете меньшевиков, всех эсеров. Если же он одолевал их, радовалась как ребенок. Всего десять дней прошло, как приехали в Питер, а сколько было прожито, сколько пережито! Казалось, что они здесь уже годы и годы.

Путиловцы наладили производство рельсов, необходимых в пору бурного транспортного развития России, давали и паровозы, и вагоны, и пушки, а с начала мировой войны, с четырнадцатого года, делали современные тяжелые орудия, строили эсминцы и тяжелые крейсеры.

Большевики требовали прекратить бессмысленное кровопролитие империалистической войны, которую Россия вела ценой неслыханных жертв уже почти три года, немедленно заключить справедливый мир. Временное правительство, напротив, призывало: «Война — до победного конца!», надеялось успехи на фронте использовать для того, чтоб направить политический подъем народа на путь «революционного оборончества», а неудачи приписать тому, что большевистская агитация разложила армию.

В начале июля столицу потрясли вести об очередном провале очередного «решающего» наступления на фронте: сорок тысяч убитых!.. Все поняли — и те, кто прежде не понимал, и те, кто не хотели понимать: правительство не помышляет о мире, а меньшевистские Советы пле-

тутся у него на поводу. Поражение усилило реакцию, стремившуюся покончить с двоевластием — отнять остатки власти у Советов, сосредоточить всю ее в собственных руках. А революционеры считали, что надо добиваться перехода власти к Советам. Рабочие, солдаты, матросы Питера призывали Советы к решительным действиям.

Зина слышала и видела это — солдаты пулеметного полка, расквартированного неподалеку, на Выборгской стороне, решили выступить с оружием и послали делегатов на Путиловский за поддержкой. «С оружием...— Зина испугалась.— На Путиловский... Там, на Путиловском, Серго...» Поспешила туда чуть ли не через весь всполошенный город.

Когда она вошла, вернее, втиснулась в заводской двор, первым, кто бросился в глаза, был Серго. Стоял на большом ящике и кричал что-то с присущей ему порывистой жестикуляцией.

Все пространство кругом него затоплено людьми. Солдаты — винтовки с примкнутыми штыками на ремнях. Матросы крест-накрест перетянуты широкими лентами с патронами. У многих рабочих на поясах револьверы в кожаных и деревянных кобурах. Лузгали семечки, но лица возбужденные, злые.

Зине стало нестерпимо жарко — то ли от солнца, то ли... Пахло ружейным маслом, потом, сапогами, литейной окалиной, махрой. И обстановка и атмосфера показались отчужденными, даже враждебными. Что, если стащат Серго с трибуны? Затопчут. Разве за последние дни не было подобного? Зина постоянно боялась за мужа, и тем более боялась, чем меньше остерегался он. Не то, чтобы она знала — нет, пожалуй, больше чувствовала, подсознательно догадывалась, что ли: смерти меньше всего боятся те, чьи жизни всего дороже. И старалась уберечь его, защитить, заслонить. Низкие люди пекутся лишь о своей выгоде. Серго же — благородный, благороднейший ее

Серго знает один свой долг — только долг. Именно поэтому ее Серго столь человечен, столь человеколюбив...

Как хочется пить! Зина огляделась. Наверное, тут было десять, или двадцать, а может, и тридцать тысяч — море людей, если глянуть с высоты. Но гула толпы не было — слышалось, как шуршал пар в заводских трубах да ухали сизари на крыше ближнего цеха. Стараясь утихомирить биение сердца, словно заглушив его, отвлекшись от его надсадного шума, прислушалась. Решительно действуя локтями, стала пробиваться к мужу — на выручку. А он по-прежнему бесстрашно говорил явно не сочувствовавшим ему людям о том, что демонстрация сейчас нецелесообразна: ведь контрреволюция может использовать ее для вооруженного нападения на рабочих, солдат и матросов, выступление против Временного правительства с оружием пока еще не созрело. Центральный Комитет и Петроградская конференция большевиков, приславшие его, Серго Орджоникидзе, сюда, сейчас против выступления, потому что оно преждевременно. Надо подождать, чтобы волна революции поднялась не только в Петрограде, но и в провинции и на фронте. Терпение, товарищи! Сейчас наше оружие — выдержка и спокойствие.

Рослый чернобородый матрос, едва не столкнув Серго, поднялся на ящик, стал рядом с ним, возвышаясь, нависая над ним, крикнул неожиданно хлипким, но истошно пронзительным тенором:

— Смерть Керенскому! Кто за выступление — подними руку!

Все стоявшие вокруг Зины тут же подняли, а солдат справа — даже с винтовкой. Зина, повинуясь до сих пор неиспытанному, но захватившему ее разудало отчаянному порыву, тоже подняла руку. И только теперь заметила, что Серго смотрел на нее — с тревогой и укором.

Когда толпы людей вышли на улицы и стало ясно,

что стихийный порыв не сдержать, большевики решили возглавить неизбежное и стихийное движение, с тем чтобы организовать его, направить в нужное русло,— пошли впереди колонн громадной демонстрации.

С путиловцами пошел Серго. Пошла и Зина.

— Боишься? — он на ходу склонился к жене, обхватил за плечи, но тут же отдернул руку: негоже на людях...

Зина тоже смутилась, отвела взгляд, призналась:

— На медведя бы легче идти.

— Да, тут пожарче будет, нежели в Якутске. Ступай домой, а я...

— Нет. Я — с тобой. Не прогоняй меня... Не нравится мне что-то этот грузовик впереди колонны. Подозрительные люди в нем.

— Наши. Не беспокойся.— Он смотрел и смотрел на нее.

Как всегда, она была причесана, прибрана, подтянута. Статная, сиявшая здоровьем и силой, она не бросалась, однако, в глаза. Недаром, знакомясь с нею, товарищи прежде всего замечали ее простоту. Но только отвернешься от нее — и снова хочется посмотреть, опять отвернешься — и опять тянет взглянуть. Возможно, и не красавица, если разбирать, раскладывать по полочкам, но... Глаза... Тянут и зовут к себе, и нет сил оторваться. Кажется, все в них — все изведали, все знают, все видели. Смотришься в них — и себя узнаешь, и жизнь открывается тебе, и сама она, Зина, такая неподдельная, такая прекрасная в этот свежий летний день, в этом дивном городе, освещенная солнцем, твоя женщина, твоя жена. Пройдет по красивому мосту — будто век тут ходила и нарочно для него создана, мимо знаменитых статуй, парапетов, дворцов — тоже на месте, и они ей рады.

Конечно, страшновато. Но и весело от сознания того, что в одном ритме с твоими шагали тысячи ног, согласно

с твоим стучали тысячи сердец. С тобой, за тебя была сила тысяч незнакомых, но близких людей. Нет! О, нет! Не напрасные это слова: единодушие, единство, сплоченность. Перед ними, перед силой начатого ими и Серго и Зина как бы склонялись. Благодаря им испытывали упоение борьбой, обретали молодую жажду подвига, сознание собственной нужности другим. Вместе с тем и робость сковывала, угнетала обоих одинаково. Ведь все, что они, Серго и Зина, делали сейчас, делалось впервые. Как же не робеть, не сомневаться тут?

Рабочий Питер забастовал и восстал. По слухам, почти полмиллиона человек двинулись к Таврическому дворцу, где помещался Центральный Исполнительный Комитет недавно возникших Советов. Рабочие шли под охраной красногвардейцев. Солдаты, матросы-кронштадтцы — с винтовками и пулеметами. И не зря. Провокаторы, ехавшие на грузовике впереди колонны, обстреляли ее и скрылись за углом. Оружие тут же было взято на изготовку — колонна ощетинилась штыками. То в одной, то в другой стороне города слышалась перестрелка. Санитары-добровольцы увели раненых, унесли наспех, из винтовок и шинелей, связанные носилки, на которых лежал кто-то, укрытый с головой...

С балкона особняка Кшесинской Ленин говорил, что необходимо превратить движение в мирное и организованное выявление воли всего рабочего, солдатского и крестьянского Петрограда, что лозунг «Вся власть Советам!» должен победить и победит, несмотря на все зигзаги исторического пути, призывал демонстрантов к выдержке, стойкости, бдительности.

— Говорит то же, что и ты путиловцам говорил,— Зина обернулась к мужу, обдала жаром дыхания, шепнула: — Люблю. Так люблю тебя! Спасибо.

— За что?

— За все это. За такую жизнь...

Временное правительство воспользовалось мирной демонстрацией как предлогом, чтобы разделаться с большевиками. На тротуары и мостовые Питера полилась кровь — на Сенной площади, на Литейном и Невском проспектах, на Садовой, возле Инженерного замка. В мирные демонстрации летел свинец из пулеметов и винтовок, из наганов провокаторов.

Рабочие, солдаты, матросы оборонялись.

Правительство вызвало с фронта верные ему части, ввело в столице военное положение, разоружило восставшие полки и принялось громить рабочие, прежде всего большевистские организации. Войска Керенского захватили особняк, в котором находились Центральный и Петроградский комитеты партии. Еще на днях Пуришкевич сокрушался, что с балкона этого особняка «Ленин хлещет огненными бичами Россию! О, как слушает его толпа! Проклятие, они дождались своего мессию». А теперь... Наконец-то своего часа дождался и Пуришкевич. В рабочих кварталах, особенно на Выборгской стороне, где жили Серго и Зина, шли сплошные обыски. Юнкера разгромили редакцию «Правды». Ленин был объявлен германским шпионом. И Временное правительство отдало приказ арестовать его.

Вместе со Сталиным Серго спешил на квартиру Аллилуева, где скрывался Ленин. Орджоникидзе хорошо знал Аллилуева. Сергей Яковлевич на двадцать лет старше и давно, еще в бытность помощником паровозного машиниста, стал социал-демократом. Поднимал забастовки в Тифлисских железнодорожных мастерских, на бакинских промыслах, вел партийную работу в Москве и Закавказье, среди электриков Питера, будучи механиком станции на Обводном канале. Товарищи говорили об Аллилуеве как добром семьянине: воспитал двух доче-

рей, трех сыновей — все дельные, стоящие. Ставили в пример дом его, где приятно бывать, прежде всего главу и хозяйку этой «полной чаши» Ольгу Евгеньевну — образец русского радушия, хлебосольства и неиссякаемой домовитости. Словом, Аллилуев — свой, вполне можно положиться.

В июльский полдень, когда и мостовые и стены домов излучали жар, Десятая Рождественская почти обезлюдела. Серго радовался этому и слегка досадовал: лучше бы дождь лил, теперь для прогулок по Питеру ненастье предпочтительнее. Ветер пахнул прохладой недальней Невы. Уф, хорошо... Но чу! Позади послышался цокот копыт. Ближе... Нет, не извозчик — всадники. Только не оглядываться. И тут же оглянулся: так и есть, казаки, разъезд, характерная примета Питера последних дней. Конечно, паспорта у них со Сталиным настоящие, но... рабочего Воинова убили на улице неподалеку отсюда только за то, что нес «Листок «Правды». С тяжкой, гнетущей тоской вспомнились подробности последнего, перед Шлиссельбургом, ареста. Такая же питерская улица. Массивная спина извозчика впереди, позади — так же нарастает цокот кованых копыт. Так же не можешь сдержаться, чтоб не оглянуться. Трели полицейских свистков, руки твои — в чужих, непреклонно горячих, потных руках...

Верно, что-то подобное вспомнилось и Сталину. Оба прибавили шаг. Цокот нарастал. Должны бы проехать мимо... Рысью, рысью, ребята! Не останавливаться... Не задерживаться... Фух! Кажется, проносит... Покачиваясь, проплывают сбоку молодые сытые лица, удалые чубы под красными околышами...

Конечно, ищут того, к кому они идут. Вот и дом семпадцать. Пройдя мимо нужных дверей, Серго по-грузински спросил, нет ли хвоста. Сталин, оглядевшись, также по-грузински:

— Ара, ара.

Возвратились, проскользнули в подъезд, стараясь ужаться до полной незаметности... В тесноватой квартире номер двадцать Ильичу была отведена комнатка, обращенная одним окном к соседнему двору. Кроме Ленина застали Надежду Константиновну, Марию Ильиничну, Стасову и Ногина. Женщины торопились уходить. Ильич сказал:

— Надюша! Давай попрощаемся, может, не увидимся уж.

— Ну, что ты! И не то бывало...— Они обнялись.

Орджоникидзе пристально рассматривал книгу на столике и не видел ее. Сталин подсел, будто бы заинтересовавшись той же книгой. Ногин растерянно глядел на Марию Ильиничну, терзал галстук и густую, красиво подстриженную бороду. Едва женщины ушли, он басовито откашлялся в тяжелый, но мягкий кулак. Стараясь ни на кого не смотреть, высказался в том духе, что, мол, вождю партии брошено тяжкое обвинение, надо бы явиться к властям и перед гласным судом дать бой. Иначе у партии не будет возможности оправдаться. Так считают многие наши, московские, товарищи.

Серго не выдержал:

— Величайшая, преступная глупость!

Ногин пожал плечами, умолк и отвернулся к окну. Ленин положил руку на плечо Серго:

— Не горячитесь. Что говорят в Питере? Только правду.

Сталин поднялся с венского стула:

— В рабочих районах смущение, замешательство. От солдат — и от павловцев, и от преображенцев — слышим: «Подкачали мы, опростоволосились, не знали, что большевики — германские шпионы».

— В Таврическом только кривотолки о недавних событиях! — подхватил Серго.— У нас-де в партии не все благополучно. Даже левые эсеры так говорят.

— Даже наши! — обернулся Ногин. — Видные большевики!

— Гм... Давайте подумаем. — Ленин заходил от двери к окну и от окна к двери, точно хотел вырваться на простор и не мог.

Серго заслонил окно, став к нему спиной и упершись в теплый подоконник кулаками.

Ленин благодарно кивнул. Ходить взад-вперед места почти не осталось, он выглянул в раскрытую дверь с виноватой улыбкой:

— Ольга Евгеньевна, можно я здесь побегаю?

— Бегайте, бегайте на здоровье.

Расхаживая из двери в дверь, Ленин сосредоточенно молчал.

«Какое завидное хладнокровие! — думал Серго. — Какая выдержка, воля!.. Как ему удается оставаться таким собранным, спокойным, когда, быть может, в подъезд уже входят юнкера, уже поднимаются по лестнице, чтобы через минуту убить его, Ленина, растерзать?.. Чудом ушел из редакции «Правды» за несколько минут до того, как там учинили разгром... Кто он — пасынок судьбы или баловень ее? Обречен историей или обручен с нею?.. Что, если сейчас ворвутся юнкера или казаки? Что ты будешь делать, Серго Орджоникидзе? Что буду делать?.. Пока жив, не допущу... Встану на пороге — буду отстреливаться до последнего патрона. И Сталин и Ногин будут — несомненно...» Запустил руку во внутренний карман пиджака, ощутил прохладную твердость браунинга, трех запасных магазинов к нему, несколько успокоился.

А Ленин остановился, продолжал думать, но уже вслух:

— Не повредит ли мой переход на нелегальное положение авторитету партии, ее деятельности в массах? И потом... Ах, как заманчиво явиться на суд, общепа-

родно зажарить всю эту сволочь, используя такую трибуну!..

Сталин, не очень рослый, щупловатый, внушительно преградил дорогу.

И Серго шагнул наперерез, точно испугавшись, что Ленин уйдет сдаваться на милость Керенского:

— Никакого гласного суда не будет, Владимир Ильич! Вы лучше нас это понимаете!

— Так-то оно так, да уж очень унизительно прятаться...— Конечно, Ленин был против явки на суд, но его смущал Ногин, на которого он поглядывал озадаченно и настороженно.

Весомо, с ударением на каждом слове, Сталин произнес:

— Юнкера до тюрьмы не доведут, убьют по дороге.

В наступившей тишине из передней раздался сочный девичий смех. Затем вошла дочь Аллилуева. Несмотря на напряженность момента, Серго успел заметить: Сталин весьма оживился и смутился одновременно. Так что Серго отметил про себя: «Ишь ты! Седина в бороду — бес в ребро!»

Ильич между тем с пристрастием выспрашивал у вошедшей, что она успела увидеть, услышать, пока возвращалась из-за города в поезде. Девушка, польщенная вниманием, слегка играя и рисуясь под взглядами, сфокусированными на ней, рассказывала:

— Тащились!.. В час по чайной ложке. Разговоры в вагоне!..— Помедлила, но решилась, мило скорчила пухлые губки, раздула свежие, чуть матовые от загара щеки, пародируя кого-то, несимпатичного ей: — «Главный виновник недавнего восстания бежал к Вильгельму».

— На чем же я бежал?

— На миноносце и на подводной лодке сразу. Да еще с какой-то артисткой, одни говорят, певичкой, другие — танцовщицей.

А может, и с певичкой, и с танцовщицей? — Ильич закатился тем безудержным, от души, смехом, который объяснял, почему его так любят дети.— Ох, шуты гороховые!

Девушка, поощренная таким оборотом, разошлась:

— Больше всех старался дьякон, против меня сидел, у окна: «Паства православная! Народился антихрист. Имя ему — Ленин».

— Гм...— Ильич посерьезнел. И к товарищам: — На разведку в Таврический идут представители двух взаимоисключающих течений, ну, допустим, товарищ Серго и товарищ Макар.

— Что еще разведывать? — возмутился Серго.

Но Ленин:

— Дисциплина есть дисциплина. Торопитесь. Время не терпит.

Всю дорогу Серго и Ногин спорили о предстоявших переговорах с Анисимовым, членом президиума Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета. Ногин доказывал, будто можно добиться гарантий того, что Ильича посадят в Петропавловскую крепость, где гарнизон целиком наш.

— А если в «Кресты»? — возражал Серго.— И вообще! Какие гарантии могут быть в нынешнюю заваруху? Как можно рисковать его жизнью? Ты можешь быть уверен, что будешь жив завтра? Я могу быть уверен? Но это — мы с тобой, а то — он... Спят и видят, как бы обезглавить партию...

Анисимов относительно Петропавловки наотрез отказал и по поводу гарантий содержания Ильича в «Крестах» высказался не слишком уверенно. Серго потребовал абсолютных гарантий безопасности Ленина. Понимал, ни один здравомыслящий человек дать подобные гарантии сейчас не мог, но потребовал — пусть Ногин убедится в сомнительности своей позиции. Анисимов

был хотя и меньшевик, но из донецких рабочих. Серго чувствовал, что ему страшно подумать о возможной ответственности за жизнь Ленина, и объявил:

— Точка. Мы вам Ильича не дадим.

Ногин поддержал.

У Анисимова вроде от сердца отлегло. Пожаловался доверительно:

— Не знаешь, ребята, где сам завтра окажешься. «Гарантии»! Смешно.— Прощаясь, он пожал руку молча, но красноречиво, будто желал Ильичу подольше не встречаться с ним, Анисимовым. Нет, недаром потом террористы-эсеры признают, что покушения на Ленина ни в коем случае нельзя поручать рабочим.

Ногин задержался по делам в ЦИК, а Серго поспешил обратно.

У выхода из Таврического дворца встретил Луначарского. Анатолий Васильевич проводил Серго через дышавшую зноем площадь, просил передать Ленину, чтобы ни в коем разе не садился в тюрьму. Власть у коалиции «демократов» лишь формально. Фактически она — у корниловцев, а завтра, возможно, и формально перейдет к ним.

С тем Серго и возвратился в квартиру Аллилуева...

Сидя на холодных, еще не нагревшихся досках лодки, Серго с ожиданием вглядывался в лохмы дымчатой пелены, стлавшейся над уснувшей водой. Ни всплеска — жаль даже эту гладь, когда Сережа мастерски, по-морячки, без брызг, опускает весла и рывками, с трудом дотягиваясь ногой до упора, гонит лодку вперед. Ох, до чего ж устал Серго! Веки держать трудно. Закрыл глаза:

— Что-то птиц не слыхать, только дергачи.

— Кукуй кукушечка до петрова дни,— вполне по-

мужицки шепотом ответил Сережа.— И соловьи после петрова дни смолкают.

— А рыбы здесь много?.. А утки есть?

— Тише! После потолкуем.

Серго прислушался к тому, как стонала под лодкой и хлюпала в лодке, под стланьями, вода.

— Уключины смазать бы не мешало,— шепнул тихо-тихо.

— Забыл! — подосадовал Сережа.— Папаня наказывал, а я...

Серго ощутил себя мореплавателем в океане, под небесами с луной, неспешно клонившейся к закату. Почудилось, будто бы все последние дни колол дрова, таскал бревна, долбил камень и вот наконец-то, изнемогнув, удостоился беспечности. Перестали стучать в висках кузнечики-надоеды, что так досаждали по утрам, когда он поднимался, не выспавшись. Уключина мерно попискивала. Вода — под лодкой и в лодке — баюкала.

А вдруг вон там, у берега, в дымке за камышами, поджидают юнкера?.. Жизнь слишком коротка, чтобы отравлять ее страхом... Конечно, отец Чумбуридзе наставлял когда-то: в ком страх, в том и бог. Но тот же батюшка, благословясь доброй бутылочкой кахетинского, утверждал: черт стращает, а бог милует. На все беды страху не напасешься. Бессильно опустив веки, наслаждаясь покоем, Серго понимал, что покой призрачный, и тем более жаждал покоя. Отодвинься мгновенье, когда опять нагрянут переживания и тревоги последних дней, глухое неизбывное беспокойство за Ильича, за Зину. Ох, как нехорошо вышло, что не успел ее предупредить!.. Срочное поручение. Ждет мужа, ищет по городу. Ай, нехорошо вышло!

Лодка проскрипела сквозь камыши, мягко наползла на прибрежный ил. И Серго увидел перед собой нависшие кусты, стену мелколесья — не то осинник, не то

ольшаник. Выходя на берег, промочил штиблет, давно просивший каши, попенял себя за неловкость — не дай бог потом ноги сотрешь, они сейчас, ох, как нужны! — и за то, что не удосужился починить. Но теперь не до переживаний. Наверное, Ленин где-то неподалеку, на одной из дач. Продравшись сквозь кусты, они очутились у края скошенного луга. Впереди в отсветах лунного неба виднелся стожок. Сережа остановился, подал знак остановиться, присвистнул, негромко позвал:

— Николай Лексаныч!

Из-за стога вышел мужчина с граблями — по виду рабочий.

— Папаня,— тихо сказал Сережа и кивнул на привезенного.

Тут к ним подошел незнакомец. На десятом плане сознания промелькнуло: где-то видел этот чисто выбритый, сильный подбородок. Но не до воспоминаний. Тем более, что незнакомец раскланялся, расшаркался как-то игриво. Совсем некстати! На его приветствие Серго ответил весьма сдержанно. Незнакомец тут же хлопнул его по плечу, засмеялся, очень довольный, и заговорил голосом Ленина:

— Что, товарищ Серго, не узнаете?

После рукопожатий и расспросов: как добрались? Как живы? А домашние? Молодая жена? А Надя? — подошли к стогу.

Серго заметил, как изможден Ленин. Недешево приходится платить за годы изгнания, непрестанной тяжелой работы — здоровьем, самой жизнью расплачивается Ульянов за то, что он — Ленин.

Ильич пригласил всех на царский, по его мнению, ужин: хлеб и селедка!

— А больше ничего нет? — Послышался из-за стога тонкий голос Григория — послышался жалобно и вместе с тем, как показалось Серго, упрекающе, капризно. Вслед

за тем показался и сам Григорий — Зиновьев. Опустился на корточки перед салфеткой, расстеленной Николаем Александровичем на скошенной траве.

— И за то скажем спасибо,— Ленин обратился к Николаю Александровичу Емельянову, словно прося извинить за бестактность товарища.— Считайте, что господин Рябушинский, как обещал, уже душит революцию костлявой рукой голода.

Серго обругал себя: «Пожаловал с пустыми руками! Не грузин ты — мямля!» Ильич почувствовал его угрызения:

— Не беспокойтесь, товарищ Серго, мы тут прекрасно устроены. Надежда Кондратьевна, Николай Александрович, их дети в обиду Рябушинскому нас не дают.

Бритое лицо Ленина стало «совсем не тем» — как-то посуровело и осунулось, что ли, хотя памятный по Франции открытый подбородок, крутые скулы и сократовский лоб выглядели знакомо. И улыбка оставалась прежней: лапки морщинок у глаз. Хитрющие, такие добрые, такие пронзительно острые глаза как бы возмущались против лжи и беды, страдали, радовались, иронизировали, пробуждали в Серго ощущение правды, пусть даже Ильич произносил самые обычные слова, как сейчас:

— Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою... Кажется, я расшумелся сверх меры?

— Тс-с! — грустно усмехнулся Зиновьев.— К несчастью, мы снова в подполье.— Он произнес это обидное слово, и жалуясь, и будто бы упиваясь им.

Было в Зиновьеве нечто от человека, случайно оказавшегося с Лениным, напуганного, обиженного на себя и на тех, кто втравил его в безнадежно опасное дело, на комаров, докучавших ему, кажется, больше, чем остальным, и на весь белый свет. Сравнивая Зиновьева и Ленина, Серго думал: «Большое дерево сильный ветер любит, а малое от него гнется». Но тут не вся правда. И Ленин

отнюдь не ликовал под напором урагана, который старался их сокрушить, только не показывал это, все шутил:

— От Керенского-то мы спрятались, а вот от комаров...

Серго задумался о том, что, наверняка, и на Ленина накатывают волны досадливой горечи, тоски, гнетущего одиночества на людях. И наверняка тем сильнее они его бьют, чем больше непрерывного напряжения, выступлений перед тысячами и тысячами людей, необходимости собранности, выдержки, дававшихся ему, как всякому, далеко не просто. После ужина он пригласил широким жестом:

— Пожалуйте в апартаменты,— и первым заполз в стог.

В шалаше уютно, сонно пахло свежим сеном и теплом. Но Серго не покидала мысль: Ильич в клетке. В тесно замкнутом пространстве жутковато.

Ленин чутко уловил настрой товарища:

— Только, пожалуйста, без меланхолии!.. Должен признаться, я постоянно думаю о политическом значении июльского события в общем ходе событий. Из какой ситуации проистек этот зигзаг истории и какую ситуацию он создаст? Как должны мы изменить наши лозунги и наш партийный аппарат, чтобы приспособить его к изменившемуся положению? Итак, прошу вас, докладывайте. Ну-те-с...

Долго Серго рассказывал, что делалось в Питере за время отсутствия Ленина, каково настроение у рабочих, солдат, матросов, что происходило и происходит в большевистской организации, в Петроградском Совете, в меньшевистском Центральном Исполнительном Комитете:

— Демагоги всех мастей только и болтают, что о революционной демократии, обещают ускорить созыв Учредительного собрания, сулят всем и каждому хлеб, мир, труд! А на деле продолжают громить наши организации.

Причем Советы спокойно взирают, я бы даже сказал: бездействуют, попустительствуют.

Ильич переспрашивал, по обыкновению требуя подробностей, точности, досконального знания. Наконец, выслушав Серго, заключил:

— Меньшевистские Советы дискредитировали себя; недели две тому назад они могли взять власть без особого труда. Теперь они — не органы власти. Власть у них отнята.

Власть можно взять теперь только путем вооруженного восстания, оно не заставит ждать себя долго. Восстание будет не позже сентября — октября. Нам надо перенести центр тяжести на фабзавкомы. Органами восстания должны стать фабзавкомы.

Серго слушал, напряженно притихнув, и, пожалуй, состояние его можно было бы вернее всего определить словом «ошеломление». «Нас только что расколотили, а он... Не просто предсказывает победоносное восстание — обдумывает, как и кому его поднимать... Часть рабочих отошла от нас, плюет на нас, поносит нас, а он... Неизменно верит в рабочего: «Органами восстания должны стать фабзавкомы» — рабочий не подведет, выручит, вывезет, невозможное могут только люди, небываемое бывает...»

Серго передал Ильичу слова одного из товарищей о том, что не позже августа — сентября власть перейдет к большевикам и председателем правительства станет Ленин.

— Да, это так будет,— просто, даже обыденно ответил Ленин.— Только, пожалуй, не в августе — сентябре, а в сентябре — октябре.— И тут же к делу — как сейчас же создать наряду с легальным ЦК его нелегальную ячейку, наряду с легальным печатным органом — нелегальную типографию.— Будем в нелегальных листках договаривать то, что не дадут говорить в легальной

прессе. И еще. Вам должно быть известно, товарищ Серго, что автобронедивизион сыграл заметную роль в событиях Февральской революции — досталось от самокатчиков кому следовало. И вот, только что, уже нам с вами от них досталось на орехи. Отсюда ясно... Что отсюда ясно?

— Что новейшее оружие должно играть решающую роль в восстании.

— Так. Естественно: передовая техника. Что еще ясно?

— Броневики — ключ к положению в городе: у кого будут броневики, тот и сможет распоряжаться всей столицей.

— Резонно. А посему: внимание, внимание и еще раз внимание тем заводам, где одевают броней английские автомобили, прежде всего это Ижорский и ваш, Путиловский. Далее — флот. Выяснить, пригоден ли фарватер Большой Невы для захода крупных военных судов.

— Пригоден. Я сам видел «Аврору» позапрошлой осенью.

— Во время нагона воды? А если нагона не будет?.. «Не знаю»!.. Надо точно, архиточно знать, товарищ Серго! Далее. «Аврора» стоит на ремонте у стенки Франко-Русского завода... Надеюсь, вы меня понимаете? Поторопите рабочих, матросов с ремонтом... Да, дорогой друг, всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться. И не только защищаться, но и наступать. И не только, не столько оружием, хотя и это, конечно, играет свою роль... На второй день после того, как мы отвоюем ее броневиками и крейсерами, нам предстоят сражения более тяжкие, иным оружием — хлебом, доменными печами, электрическими станциями. Ведь всего этого — проклятье! — у нас в России трагически мало. Долго спали — многое проспали. Придется наверстывать, иначе крышка. Не одной жизнью придется за

вековой сон расплачиваться, возможно, жизнями нескольких поколений. И ваша и моя-то уж наверняка уйдут на это, и жизни наших детей, а возможно, и внуков...

Проснувшись поутру, Серго не сразу понял, где он. Помотал головой, вытряхивая из шевелюры сухие травинки. Нащупал часы в кармане сложенного под головой пиджака. Ого! Одиннадцать. А рассчитывал в шесть подняться. Ну и ну! Вздремнул называется... Выглянул на свет. Зажмурился, потянулся. До чего ж хорошо!

Слева от него на площадке, расчищенной среди молодого ивняка,— Ленин. Сидит не то на пеньке, не то на чурбаке. Перед ним чурбак побольше — стол. Ильич быстро пишет. Солнце палит голову, и он свободной ладонью прикрывает ее. Вокруг жужжат мухи, он то и дело отмахивается, но не видит их: все внимание — листу бумаги. Серго слегка завидует: как быстро Ленин осваивается в любых условиях, где б ни был,— работа, прежде всего работа...

Неподалеку от Ленина, словно приглядывая за ним и обходя дозором округу, Емельянов косил скошенную траву.

Увидав, скорее, почувствовав Серго, Ильич не сразу поднялся. Дописал несколько фраз и только потом:

— Всю ночь завидовал вам, так сладко спали... С добрым утром! Выспались? Отлично! А я тут кое-что нацарапал — ряд статеек, письма товарищам, Наде. Вот, пожалуйста, передайте. И газеты пробежал — Николай Александрович привез.

Возле чурбака Орджоникидзе заметил стопку газет, бережно придавленную камнем.

— Вот,— Ильич подхватил газеты,— послушайте, что о нас пишут: «Партия народной свободы требует, чтобы немедленным арестом Ленина и его сообщников свобода и безопасность России были ограждены от новых пося-

гательств». Это кадетская «Речь». А вот бурцевское «Общее дело», статья самого Бурцева: «Они не провокаторы, но они хуже, чем провокаторы: они по своей деятельности всегда являлись вольно или невольно агентами Вильгельма...»

— Владимир Ильич! Ну стоит ли время тратить?

— Напротив! Послушайте речь Милюкова: «Во всех случаях, связанных с именем Ленина, я отвечаю только тремя словами: арестовать, арестовать, арестовать!» Не правда ли, мило? Есть антраша и позабавнее. Хотя бы вот это: «Критика ленинизма». За вход всего тридцать копеек. Можно развлечься и за десятку, пожалуйста: «Кабаре Би-Ба-Бо. Лекарство от девичьей тоски. Песенка о Ленине. Кусочек пляжа. Песенка о большевике и меньшевике...»

С одной из лодок па озере послышался похмельный голос:

Мне не надобно ханжи,
Поцелуя женина...

С другой лодки тут же подтянули:

Ты мне лучше покажи
Спрятанного Ленина.

— Какая пакость! — Серго поморщился.

Очень остро он ощутил вокруг себя неоглядную страну куркулей и лавочников, одичавших от жадности, страну «что изволите, ваше благородие?» и «пошел вон, болван!», страну дачников и в прямом и в переносном смысле — тех самых, что из лодок и газет своих и с амвонов льют помои на него, Серго Орджоникидзе, на Ленина. Чему тут удивляться? Ложь и клевета — их любимое оружие. За всю историю человечества вряд ли назовешь хоть одного из посвятивших себя благу людей, кого бы «дачники» не окатили помоями. Мещанином всегда управляет

желание хоть как-то принизить достойного гражданина, низвести его до собственного уровня, свалить, втоптать в то разлагающееся и разлагающее болото, которое сами они, мещане, сотворили и нарекли обыденностью, обыденщиной. Это как зуд: малевать неприличные слова на заборах, вырезать на живой коре живых деревьев, осквернять памятники. Страстное желание изувечить все, что хоть как-то выдается из ряда своей ценностью или красотой...

Откуда это? От желания непременно очернить добро? Все, выходящее за рамки, враждебно мещанину, мешает существователю существовать так, как ему охота. Он вопит: «Не мешайте мне жить, как я привык! Не мешайте мне жить в моей стране, с моими самоварами и перинами, с моими чудотворными иконами и задом, который я люблю подставлять под розги, с моим разгульным бунтарством во имя монархии и благочинным, смиренным поклонением социалистам, коль скоро они делаются министрами, со всей, всей тысячелетней Матушкой нашей, которая еще ударит вашего Ильича отравленными пулями. Не мешай нам жить привычно».

Впрочем, портрет родины, нарисованный тобой, Серго, неполон, однобок. Ну куда, скажи, в ней, представленной тобою, определить самого Ленина? Или Емельянова, Аллилуева? Десятки, тысячи Емельяновых, Аллилуевых? Собой рискуют, семьями, детьми — передают из рук в руки эстафету спасения Ильича. Какие там тридцать сребреников?! Какие груды злата, посуленные за его, Ильичеву, голову и достаточные на десяток сладких жизней?! Ни посулами, ни муками ада не собьешь их, не согнешь, не заставишь сделаться отступниками. Оттого-то, видно, так хорошо и таким хорошим чувствуешь себя в товариществе Емельяновых — Аллилуевых. Потому-то, верно, и жизнь прекрасна, и жить стоит. И так хочется жить!

Словно услышав эти размышления, Ленин как бы утешил Серго, а быть может, еще больше и себя самого.

— Что ж...— произнес Ленин, провожая взглядом лодку с «дачниками».— Все равно... Все равно мы не свернем. Дурные вести и дурные люди только укрепляют характер.— Кивнул в сторону лодки: — Полезная глупость. Да, да. Все они, вместе взятые, от мудрейшего Милюкова до дачного забулдыги, со всеми их могучими газетами и популярными кафешантанами, хлопочут о нас, за нас, привлекают внимание массы к нам, а массы, будьте уверены, товарищ Серго, разберутся, кто есть кто, как говорят англичане.

— И все-таки!..— Серго с трудом удержался, чтоб не выругаться.

Возможно, потому, что рядом был близкий, свой, Ленин дал волю чувствам — заговорил, волнуясь, об Алексинском, который помог сфабриковать гнусную клевету о германском шпионстве Ленина:

— С первой же встречи у меня явилось к нему чисто физическое отвращение. Непобедимое. Никогда, никто не вызывал у меня такого чувства. Приходилось вместе работать, всячески одергивая себя, неловко было,— чувствую: не могу я терпеть этого выродка!..

— Владимир Ильич!.. На прощание ответьте, пожалуйста. Откровенно... Что вам дает силы? На что вы надеетесь?

— Гм... Что дает силы? На что надеюсь? Пожалуй, на то же, на что и десять и двадцать лет назад, на те же два чуда, вернее, на соединение двух чудес. Одно из них,— кивнул на Емельянова,— косит для отвода глаз. Другое стоит передо мною, отоспавшееся, посвежевшее, в дорожном пальто, в штиблетах, которые не мешало бы починить и просушить как следует... Действуйте, дорогой товарищ Серго! Мой привет молодой жене вашей. И мои

извинения. Наверное, очень беспокоится о вас. Берегите себя. И действуйте.

Человек в длинном пальто и широкополой фетровой шляпе подошел к паровозу, ухватился за поручни, легко вбросил себя в будку, словно домой поднялся. Накрахмаленная сорочка, черный галстук, очки — ни дать ни взять пастор. Конечно, Гуго тут же узнал того, кого два месяца назад вез от Удельной до Териок. Только тогда «пастор» выглядел питерским рабочим средней руки — поношенный костюм, старенькое пальто, кепка. Но так же был он в парике, без усов и бороды. И рука его так же крепко жала руку машиниста.

— Пяйвяя, пяйвяя, Гуго Эрикович! Киитос! — По-фински здоровается, благодарит.

— Тэрвэтулоа! Добро пожаловать...— Гуго чуть было не обратился по истинному имени-отчеству.

Спасибо, Эйно ввалился в будку, наставительно предупредил:

— «Константин Петрович»! Пяйвяя! «Константин Петрович Иванов с Сестрорецкого оружейного завода».— И еще раз огляделся, теперь уже через дверной проем, торопяще кивнул в сторону семафора.

Спокойно, с достоинством мастера Гуго положил руку на рукоять, другой рукой оперся о кожаный подлокотник, выглянул в окно, потянул за кольцо на цепочке гудка... Закряхтели, залязгали буфера. Напряглась, но не вздрогнула машина. Бережно приняла состав. Натужно старался пар в трубах инжектора, гнал воду в котел. «Хук, хук, хук!» Покатили.

— Не помешаю? — Константин Петрович оглянулся на кочегара, присел на чурбак, с почтением осмотрел надраенные вентили, манометры, маховички. Все было основательное, аккуратно исправное, сияло надежностью и

чистотой. Сразу видно, что не поденщик здесь властвует, а мастер. Не отбывать смену приходит, а на свидание с любимой машиной. И она благодарит его чуткой послушностью, добрым кипением, плавно стремительным бегом.

Эйно, заслонивший Константина Петровича от сквозняка и недоброго взгляда через проем двери, тронул машиниста:

— Пить!

Не отрываясь от окна, Гуго нащупал у ног железный сундучок, достал медную кружку, нацедил кипятку из краника в чудесном переплетении труб на лбу котла, подал Константину Петровичу. Тот отстранил кружку, указывая на Эйно: ему, мол, сперва.

— Пейте, Константин Петрович. Самовар у нас! Чаю всем хватит.— Из того же сундучка Гуго извлек ржаную краюху, обернутую салфеткой. Карманным ножичком на ремешке нарезал хлеб, раздал и себя не обидел, не сходя с рабочего места. И ел, привычно ведя паровоз. Остальные жевали также с удовольствием, пуская кружку по кругу. Когда последняя корочка исчезла, Константин Петрович с сожалением вздохнул, собрал крошки, высыпал в рот.

Хлеб... Он в судьбах людей и народов превыше всего. Много войн пережили на земле люди, но есть одна битва, которую они вели, ведут и будут вести. Это — битва за хлеб. Она называется жизнью.

Не усидел на чурбаке. Придерживая шляпу, подошел к раскрытому окну сбоку, глянул сквозь переднее, застекленное. Позади — стучащая песня вагонов. Сбоку — дождь и ветер в лицо. Свист, рев, грохот. Распаленный, распалившийся паровоз рассекает колкий воздух, покоряет пространство. Скорбно зеленеют по сторонам полотна непаханые поля. Не до пахоты: одни пахари теперь стреляют в других... Лишь кое-где промелькнут скудные полоски мелкой зяби. Густой бурьян на межах. Голубая

отава лугов. Багряные и черные чащобы лесов. Редко встретится лошаденка с телегой. И возница на ней обязательно женщина. Избы, почерневшие от дождя и старости. Убогие, скорбные жилища кормильца всея Руси. Такие же, как и сто и тысячу лет назад... Голодали при Иване Калите и при Иване Грозном, при Петре Великом, Александре Благословенном, Николае Кровавом, при всех царях-батюшках, царицах-матушках. За всю историю не произвели хлеба, сколько необходимо для безбедной жизни народа. А цари торговали зерном по всему миру, кичились: «Недоедим, а вывезем!» Предел бессовестности, безнравственности, исторической безответственности! Стыдно называться россиянином, сознавая все это.

Ему казалось, что он видел океан крестьянских дворов, обескровленных войной. Как всегда, числа превращались для него в образы, рисовали ярче красок. Больше восьмидесяти процентов населения живет в деревне. Сельское хозяйство — основное занятие большинства нации, а ведется оно... Почти всеобщая неграмотность. Самая отсталая агротехника. Самые низкие в Европе — нищенские! — урожаи. Отсутствие машин. Соха и лукошко не лубочные символы деревни, нет — ее основные орудия производства. Часто в соху и борону впрягаются жёнщины и детишки. Чтобы восстановить убыль «живого конского инвентаря», потребуется лет пятнадцать.

И все же! Как здорово! Как хорошо! В исступлении завывает ветер. Но где ему?! Как противостоять горячей стальной груди, вобравшей разум тысяч людей, силы сотен лошадей? Как хорошо, вольготно катить на машине, которая сама уже воплощение тепла, движения, света, которая непримирима к оцепенению, к привычной мере вещей и расстояний, к убожеству и бессилию!

Бесстрашно летит паровоз, будто знает, что суждено ему бессмертие. Пройдут годы. Люди сочтут такие паровозы негодными, заменят новыми, а потом совсем иными

машинами, пустят все паровозы в переплавку. Все, но не этот. Он один из тысяч и тысяч будет жить как память о сегодняшней поездке...

Однако! Почему дрова, а не уголь? Константин Петрович посмотрел на поленья, которые кочегар кидал в обдававшую лютым жаром пасть топки. Посмотрел так, словно два месяца назад этот самый кочегар не кидал в эту самую пасть такие же точно поленья. Ну-те-с, ну-те-с... Очевидно, что железнодорожный транспорт наш расстроен неимоверно, коль скоро дело дошло до древесного топлива вместо каменного угля. Что дальше? Будет расстраиваться все больше... Постепенно прекратится подвоз сырых материалов и угля на фабрики. Конечно, прекратится и подвоз хлеба. А господа хозяева только того и ждут, надеятся, что неслыханная катастрофа будет крахом республики и демократизма. Катастрофа невиданных размеров и голод грозят неминуемо.

Так хотелось есть! Кусок хлеба, которым поделился машинист, только растравил аппетит. И пить — пить! — после хождений и треволнений с утра, после езды на площадке вагона предыдущего поезда от Выборга до Райволы. Константин Петрович устало и зачарованно смотрел на березовые поленья, тонувшие в пламени, на ровное, по всей топке, поле огня. Смотреть бы и смотреть — не спеши закрывать, кочегар!.. Ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем самым власть над ней, но пока что остается так много загадочного, таинственного...

Залюбовался работой Гуго Ялавы: труд всегда подвластен воле и мужеству, а потому почти неизменным спутником их становится успех. Гуго, размеренно сдержанный, как большинство финнов, и, как большинство финнов, неукротимый в работе, отдавался ей, вел поезд, надежно сохраняя жизни вверившихся ему людей — и тех, кто в вагонах, и тех, кто рядом в его машине. Типич-

ный представитель тех, чья суть: сам тихий, а руки громкие. Руки Гуго будто продолжались громовыми колесами. Он ощущал работавшие поршни, шатуны, как ощущают собственные руки, с их усердием и болью, изнеможением и упоением. Сливался с огнедышащей машиной, был ее необходимостью, продолжением и началом. Накрепко вправленный в проем окна, полнился и гордился ее силой. Глаза шалые, со значением и вызовом: «Черт мне не брат!» Скуласт, широконос и широкорот. Лицо из тех, о каких принято говорить: топорная работа природы. Громадная голова, кажется, приплюснута кожаной фуражкой. Некрасив? О нет, прекрасен — прекрасен в эти моменты озарения свершением, исполнением долга: вперед, только вперед.

Победа труда неизбежна. Кто скажет иное, солжет. Отвратить грозящую катастрофу! Во что бы то ни стало! Чего бы ни стоило! Можно ли идти вперед, боясь идти к социализму? Война неумолима, она ставит вопрос с беспощадной резкостью: либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически... Нужен мир, а не война. Война вообще противна стремлениям нашей партии. Да здравствует труд и разум! Да будет хлеб и мир!

— Отойдите от окна, Константин Петрович! — Эйно потянул за рукав, больно сдавив запястье каменной ладонью.

Послушно отошел, сел на чурбак, огляделся. В Дании нет полезных ископаемых, но страна процветает — и датчане говорят: «Наше главное природное богатство — люди». А у нас, у нашей партии?.. Марков-второй называл нас кочегарами революции...

Со значением сощурился, негромко, но внятно на фоне колесного стука и шуршания пара обратился к Эйно:

— Как думаете, раскочегарим, а?

— Вам виднее...

— Ну, а вы-то, вы как полагаете?

— Зачем же я с вами? — Эйно усмехнулся впервые за сегодня...

— Убедительно, хотя и не исчерпывающе. Революция должна произойти в течение ближайших недель, и если мы к этому не подготовимся, то потерпим поражение, не сравнимое с июльскими днями, потому что буржуазия изо всех сил старается удушить революцию, и она сделает это с такой жестокостью, какой еще не знает мировая история.

Станция Удельная. Это уже Питер. Отсюда рукой подать до квартиры Маргариты Васильевны Фофановой. Незачем ехать до Финляндского вокзала да и безопаснее сойти здесь.

Затуманив округу паром, Гуго спрыгивает вслед за Эйно и Константином Петровичем на пути, обстукивает молоточком бандажи колес, ощупывает втулки, подливает смазку, хотя это отнюдь не следует делать на промежуточной остановке. Достает часы на серебряной цепочке, щелкает крышкой. Две минуты опоздания... Три... Семафор открыт. Но Гуго — Гуго, почитающий график паче святого писания, не спешит. Не поднимается в будку до тех пор, пока двое сошедших с машины не скрываются в мозглой сырости сумерек...

Десятое октября тысяча девятьсот семнадцатого года. Вечер. Старый петербургский дом на набережной Карповки. Просторная — в пять комнат — квартира. Хозяйка квартиры Галина Константиновна Суханова, работающая в секретариате ЦК, расставляет на обеденном столе стаканы со стеклянными блюдцами, досадует: самовар не успела поставить, встречает «гостей». Можно вообразить, сколько хлопот ей доставило предстоящее заседание ЦК. Верно, целый день носилась — провизию закупала, стряпала. Окно в столовой одеялом занавесила: первый этаж,

Душновато, но уж лучше в такой духоте, чем на приволье Разлива.

Басовито, мягко, уютно пробили часы.

Вроде бы все расселись? Яков Михайлович — во главе стола, на председательском месте, Дзержинский, Зиновьев, Сталин, Бубнов, Каменев, Ломов, Сокольников, Троцкий, Урицкий. Кандидат в члены ЦК Яковлева взялась вести протокол. А где же Коллонтай? Женщина верна себе, даже если она — член ЦК. Опаздывать на такое заседание! Не случилось ли что?.. Слава богу, вот и она.

Когда хозяйка вводит ее в столовую, Александра Михайловна жмурится от света громадной люстры — этакого стеклянного зонта на цепях. Оглядывает сидящих у стола — на обитых стульях, на диване с чехлом, на качалке. Сталин подвигается, уступая место. А это кто же такой справа от нее, напротив Свердлова? Одет под рабочего, чисто выбрит, в парике...

— Что, не узнали? Вот это хорошо!

— Владимир Ильич!

— Константин Петрович, с вашего позволения...

С особым радушием покивав Александре Михайловне, Каменев, устроившийся на диване возле Зиновьева, продолжал балагурить:

— Скажите, Александра Михайловна, мы не производим впечатления заговорщиков? — Небольшой, с рыжеватой острой бородкой, он говорил с откровенной иронией, энергично жестикулируя.— Мне кажется, именно так собирались бланкисты.

Ленин встал, как бы пресекая прекраснодушие и суесловие. Обратился к Каменеву, продолжая прерванную перепалку:

— Презабавно шутить изволите, но вряд ли уместны подобные сравнения вообще и тем более сейчас. Кстати, восстание, чтобы быть успешным, должно опираться не на заговор, не на партию, а на передовой класс.

Поднялся Свердлов:

— Прошу внимания. Вы затронули основной вопрос, а он у нас четвертый и порядок дня обширнейший.

Яковлева занесла карандаш над листами большого блокнота.

— Итак,— продолжил Свердлов.— Румынский фронт. Литовцы. Минск и Северный фронт. Текущий момент. Областной съезд. Вывод войск.

С тремя первыми вопросами покончили относительно быстро.

По четвертому, основному...

«Слово о текущем моменте получает т. Ленин»,— записала в протокол Яковлева.

Свердлов сердито покосился на нее — и она тут же старательно зачеркнула фамилию докладчика.

— Слово Константину Петровичу...

Помешкав, Ильич начинает:

— Приходится констатировать, что с начала сентября замечается какое-то равнодушие к вопросу о восстании. Между тем это недопустимо, если мы серьезно ставим лозунг о захвате власти Советами. Поэтому давно уже надо обратить внимание на техническую сторону вопроса. Теперь же, по-видимому, время значительно упущено. Тем не менее вопрос стоит очень остро, и решительный момент близок. Положение международное таково, что инициатива должна быть за нами. То, что затевается со сдачей... Питера, еще более вынуждает нас к решительным действиям. Политическое положение также внушительно действует в эту сторону. Третьего — пятого июля решительные действия с нашей стороны разбились бы о то, что за нами не было большинства. С тех пор наш подъем идет гигантскими шагами...

— «Гигантскими»! — Каменев саркастически вздохнул и позволил пружинам дивана слегка приподнять себя.— Всеобщий абсентеизм и равнодушие!

— Прошу не перебивать докладчика.— Свердлов обернулся, не сдержался, добавил: — Все зависит от того, кто и как смотрит. Один смотрит на воду и видит лужу, другой — звезды и луну. Продолжайте, Константин Петрович.

— Абсентеизм и равнодушие масс,— подхватил Ленин,— можно объяснить тем, что массы утомились от слов и резолюций. Большинство теперь за нами. Политически дело совершенно созрело для перехода власти...

Его настрой перешел к слушавшим, подчинил, захватил. По долгому опыту они знали: в решающие моменты он, считая на миллионы, не упуская из виду единицы, предугадывает движения целых классов людей и вероятные зигзаги истории, словно они записаны на клочке бумаги, по которому бегает его карандаш.

— Смелость — начало победы, утверждает Плутарх. Смелость, смелость и еще раз смелость! — Громыхнув стулом, вышел из-за стола, заходил вдоль стены с портретом Некрасова. Туда — обратно, туда — обратно, головой пересекая полосу прозрачной тени, падавшей на стену от бисерной бахромы люстры. От угла с этажеркой — к двери, от двери — к углу с этажеркой.

Да, он вполне отдавал себе отчет, что поднять восстание в нынешней обстановке — значит все поставить на карту. Он страшился и не страшился риска. Страшился и не страшился, ибо знал: восстание неизбежно, оно победит, потому что успеха достигают только твердые и последовательные.

Люди, замечательные силой воли, замечательны и властью над вниманием других. Даже Каменев слушал Ленина, не сводя с него глаз. Бубнов, Ломов, Дзержинский, оказавшиеся теперь спиной к Ильичу, повернулись как по команде, упершись плечами в высокие спинки стульев. Коллонтай, Сталин, Урицкий, сидевшие вдоль

противоположной стороны стола, подались вперед, обратившись в слух.

Только Троцкий демонстрировал, будто все, что говорил Ленин, в зубах навязло, и он, Троцкий, вынужден слушать, лишь подчиняясь партийной дисциплине. Не скрывая неприязни к Ленину, вызывающе заложив ногу на ногу и скрестив руки на груди, сидел один в дальнем углу, слегка раскачиваясь взад-вперед в такт словам докладчика, но смотрел мимо него — на лампу, на ее крюк, на лепной карниз потолка.

И докладчик старался не встречаться с ним взглядом, но то и дело посматривал в его сторону. Троцкий также был ему не слишком симпатичен. Человек, который всюду со своим стулом. Никогда еще ни по одному серьезному вопросу марксизма не имел прочных мнений, всегда «пролезая в щель» тех или иных разногласий и перебегая от одной стороны к другой... Подходящее место выбрал: на качалке, да еще загородил дверь. Вряд ли подберешь для него более подходящее место, чем качалка. Всю жизнь туда-сюда, туда-сюда, то святее римского папы, то грешнее самого дьявола. Отличные организаторские способности, прекрасный оратор, а все-таки не наш. Трудно на него надеяться в трудную минуту.

Вновь, как бы ища поддержки, глянул на Свердлова, на Урицкого, Сталина, Коллонтай, на Дзержинского, Ломова, Бубнова...

Когда он закончил, Каменев привстал с дивана покрасневший, возбужденный:

— Позвольте полюбопытствовать. Что докладчик разумеет под словами «техническая сторона вопроса»?

— Тут гвоздь. Хотя не далее как позавчера я специально писал именно вам об этом. Но если возникла неясность, можно и повторить... Необходимо собрать *большой перевес сил* в решающем месте, в решающий момент, ибо иначе неприятель, обладающий лучшей под-

готовкой и организацией, уничтожит повстанцев. Далее. Раз восстание начато, надо действовать с величайшей *решительностью* и непременно, безусловно переходить *в наступление*. «Оборона есть смерть вооруженного восстания».— Словно подхваченный потоком собственной мысли, он опять поднялся из-за стола, опять заходил-забегал вдоль стены. Штиблеты с почему-то всегда задранными носами будто катили его: вперед, вперед. Волосы парика свешивались, мешали ему, он откидывал их, открывая лоб, который заставлял смотревших думать не столько об анатомии, сколько о скульптуре.— В применении к России и к октябрю тысяча девятьсот семнадцатого года это значит: одновременное, возможно более внезапное и быстрое наступление на Питер, непременно и извне, и изнутри, и из рабочих кварталов, и из Финляндии, и из Ревеля, из Кронштадта, наступление *всего* флота, скопление *гигантского перевеса* сил... Комбинировать наши *три* главные силы: флот, рабочих и войсковые части так, чтобы непременно были заняты и ценой *каких угодно потерь*... Слышите? Заняты и ценой каких угодно потерь были удержаны: телефон, телеграф, железнодорожные станции, мосты в первую голову...

Зиновьев с Каменевым переглянулись, но ничего не сказали.

А Ленин продолжал:

— Окружить и отрезать Питер, взять его комбинированной атакой флота, рабочих и войска — такова задача, требующая *искусства и тройной смелости. Погибнуть всем, но не пропустить неприятеля...*

В просторной столовой стало тихо, тихо.

«Погибнуть всем, но не пропустить неприятеля...»

Сколько времени прошло в молчании? Секунда? Две? Три? Или три минуты?

Вдруг тишину раздробил звонок из передней. Все разом вздрогнули. Троцкий инстинктивно отодвинулся

от двери вместе с качалкой. Свердлов кинулся в переднюю:

— Что там, Галина Константиновна?!

— Ну вот! — Зиновьев глянул на Каменева с досадой, как человек, чьи опасения, к несчастью, начинали оправдываться.

Каменев только поглубже втиснулся в податливую мягкость дивана, казавшуюся спасительной.

Вернулся Свердлов:

— Успокойтесь, товарищи. Юрий, брат Галины Константиновны, пришел. От Петергофского уездного комитета — для усиления охраны.

Получив от сестры нахлобучку за опоздание, Юрий отправился на кухню и принялся разжигать самовар. Конечно, он слышал из-за двери голоса, и первым — простуженный голос Каменева:

— Я категорически против.

— У нас нет большинства в народе, без этого условия восстание безнадежно. Мы глубочайше убеждены, что объявлять сейчас вооруженное восстание — значит ставить на карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и международной революции...— это уже Зиновьев сказал.

На кухне Галина Константиновна разливала чай по стаканам и относила в столовую. Юрий продолжал кочегарить. Дверь в столовую по-прежнему была открыта. Из нее густым слоем выплывал табачный дым и слышалось:

— Когда люди дадут буржуазии запугать себя, тогда, естественно, все предметы и явления окрашиваются для них в желтый цвет.

— Марксистская партия не может сводить вопрос о восстании к вопросу о военном заговоре.

— Марксизм есть чрезвычайно глубокое и разностороннее учение. Неудивительно поэтому, что обрывки ци-

тат из Маркса,— особенно если приводить цитаты некстати,— можно встретить всегда среди «доводов» тех, кто рвет с марксизмом.

— Спасибо!

— На здоровье!

Голос Троцкого:

— А если все же подождать до съезда Советов?

— «Если» да «кабы»! — снова голос Ленина.— Ждать — полный идиотизм или полная измена! Мы не вправе ждать, пока буржуазия задушит революцию. Промедление смерти подобно.

Свердлов:

— Так. Ставлю на голосование. Кто за резолюцию о вооруженном восстании?.. Со мной — десять. Кто против? Двое: Каменев, Зиновьев. Переходим к выборам Политического бюро для политического руководства восстанием...

Десять часов продлится заседание ЦК. Разойдутся под утро.

Еще две недели проведет Ильич в квартире Маргариты Васильевны Фофановой, в непрестанных трудах, две поистине трагические недели. Снова заседание ЦК в доме, где живет и работает Михаил Иванович Калинин. Снова яростная схватка с Каменевым и Зиновьевым. Формирование Военно-революционного центра по руководству восстанием... И вдруг в среду, восемнадцатого, телефонный звонок:

— В непартийной газете «Новая Жизнь» Зиновьев и Каменев нападают на неопубликованное решение ЦК о восстании...

— Так, докатились...— заметался по комнате. «Где же граница бесстыдству?.. Уважающая себя партия не может терпеть штрейкбрехерства и штрейкбрехеров в своей среде. Пусть господа Зиновьев и Каменев основывают свою партию с десятками растерявшихся людей или кандидатов в Учредительное собрание. Рабочие в такую

партию не пойдут... Вопрос о вооруженном восстании, даже если его надолго отсрочили... штрейкбрехеры, не *снят*, не снят партией... Трудное время. Тяжелая задача. Тяжелая измена. И все ж таки задача будет решена... Пролетариат должен победить!»

«Товарищи!

Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно.

Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных масс...

История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять все...

Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 25 октября, народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой; народ вправе и обязан в критические моменты революции направлять своих представителей, даже своих лучших представителей, а не ждать их.

Это доказала история всех революций, и безмерным было бы преступление революционеров, если бы они упустили момент, зная, что от них зависит *спасение революции*, предложение мира, спасение Питера, спасение от голода, передача земли крестьянам.

Правительство колеблется. Надо *добить* его во что бы то ни стало!

Промедление в выступлении смерти подобно».

Он идет в Смольный по улицам Питера, заполыхавшего походными кострами. Старое пальто. Кепка глубоко надвинута. Щека подвязана платком. Рядом неизменный Эйно с двумя револьверами в карманах...

Направляет восставших, торопит с развертыванием наступательных действий. На заседании ЦК слушает доклады о ходе восстания, обсуждает состав и наименование Советского правительства: его предлагают называть «рабоче-крестьянским», а министров — «народными комиссарами», пишет обращение «К гражданам России!».

К двум часам тридцати пяти минутам спешит на экстренное заседание Петроградского Совета по широкому коридору, до отказа набитому ликующими солдатами, матросами, рабочими.

— Снимите парик! — шепчет на ухо Бонч-Бруевич.— Давайте спрячу. Может, еще пригодится! Почем знать?

— Ну, положим,— Ленин хитро подмигивает,— мы власть берем всерьез и надолго.

Входит в Актовый зал...

— Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась... Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная, третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма. Одной из очередных задач наших является необходимость немедленно закончить войну... В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского социалистического государства...

Сходя с трибуны после заседания, Ленин встречает Серго:

— Почему до сих пор не взят Зимний? Надо брать дворец!

И через несколько минут уполномоченный Военно-революционного комитета один на новеньком «рено», если не считать шофера, летит навстречу самокатному

батальону, что спешно снят с недальнего фронта, двинут по приказу Керенского к Питеру, на выручку Керенскому, быть может, и на штурм Смольного...

Станция Новинка. По обеим сторонам шоссе тянутся леса. И вдруг:

— Стой, стой, стрелять буду! — Солдаты в кожаных фуражках с очками — боевое охранение самокатного батальона.

Колонна длинных бронированных машин на обочине. Костры на поляне. Солдаты кашеварят. Картошку пекут. Портянки сушат.

— Приехали, ваше превосходительство «товарищ»! — Это из-за спины подошел — весь в кожаном — офицер.

Но Серго не испугался. Вместе с настороженностью и враждебностью солдат он ясно ощущал вокруг сочувственный интерес к себе, ожидание чего-то небывалого, невиданного доселе. Солдаты смотрели на него с надеждой, как на гонца мира против осточертевшей войны. И его положение, все только что совершенное в Питере существенно облегчало теперешнюю задачу Серго. Он сразу это почувствовал — прежде только понимал, а теперь чувствовал.

Офицер мрачно представился:

— Полковник Накашидзе-Петербургский.

Серго ответил шутливо:

— Рядовой Орджоникидзе-Шлиссельбургский. Гамарджоба!

Но сородич не принял шутку:

— Такой режим, сякой режим — всех режем...

— Погоди, ваше высокоблагородие! — Ручища, благоухавшая бензином, легла на плечо Серго. Бородач с двумя Георгиевскими крестами на распахнутой шинели, которого Серго тут же нарек Ильей Муромцем, заслонил его от полковника: — Безоружный к нам человек приехал, а ты: «режем». И так вон уж сколь перерезали!..

Вокруг стали собираться солдаты. Подошел — тоже весь кожаный — поручик, сочувственно осмотрел Серго немигающими мальчишечьими глазами, точно обшарил, задумчиво произнес:

— Наш полковой комитет за Советы...

— Не забывайтесь! — перебил полковник.— Вы прежде всего офицер!

— И лейтенант Шмидт — тоже был офицер,— отмахнулся поручик, ощущая поддержку солдат.— И Лермонтов Михаил Юрьевич, ратоборец свободы, ненавистник тирании...

Но тут появились еще несколько офицеров, демонстративно расстегнули кобуры, стали размахивать наганами.

— Братья! — Серго по колесу вспрыгнул на капот переднего броневика.— Дорогие товарищи! Приветствую вас от имени тех, кто на улицах Петрограда сражается за свою и вашу свободу, за мир, за хлеб, за землю, за власть рабочих и крестьян! Они просили меня передать вам, что надеются на вас. Верят, что вы не поддадитесь обману, не поднимете руку на своих братьев...— Он говорил горячо, трепетно, призывая стать на сторону восставших рабочих, солдат, матросов.

И его вера, его искренность рождали добро в ответ на добро.

Офицеры без особого вдохновения кричали свое, честили большевиков и восставших, порывались даже стрелять и стреляли, правда, только в воздух.

— Маладцы! — в отчаянии призывал полковник.— Не слушайте его! У него бомба за пазухой!

— Верно говоришь, батоно! — Серго сунул руку за пазуху.

И часть солдат подалась назад, пропуская воинственных офицеров, а другая с грозной обидой придвинулась.

— Кончай баловать! — пробасил «Илья Муромец».— Покажь, что у тебя там!

— Правда.— Серго улыбнулся, шагнул по броне.

— Кака така правда? Почему за пазухой? А ну, выкладывай!

— Вот. Письмо Ленина к тебе. Грамотный?

— У нас все грамотные.— Солдат взял первую листовку из протянутой ему пачки, стал читать так, что гулко отзывалось на шоссе, на поляне:— «К гражданам России!» Верно, ко мне. «...Немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено...» Вон как! Человек с хлебом-солью к нам, а ты «резать», ваше благородие? Какая, братцы, будет резолюция?

— А твоя какая, Петрович? — кричали солдаты, удерживая офицеров.— Ты у нас башка!

Петрович сорвал погоны, легко спрыгнул на обочину, распахнул броневую дверь, достал откуда-то из-под сиденья лоскут кумача, привязал к штырю пулеметной башни...

Прорезая прожекторами изморосьную мглу, мчит броневик с красным флагом. Следом — другой... Колонна. Не опоздать бы к штурму Зимнего. Руки Петровича — на штурвале, взгляд — на дороге: ест глазами. Очки надвинуты. Борода торчком — вперед. Серго — рядом, вместо полковника, на его месте. Жаль, очков нет: лобовые щитки приподняты, обдувает на совесть. Позади, выше,— сиденье стрелка. На нем тот поручик, что поставил себе в пример лейтенанта Шмидта и Лермонтова. Несмотря на встречный ветер, запахи бензина, моторного чада, стреляных гильз, достаточно ощутим и аромат гуталина, испускаемый крагами поручика. Отменный английский ботинок то и дело касается локтя Серго, напоминая о худых штиблетах, вызывая зависть, и поручик: пардон, пардон! — отдергивает ногу. Позади него — стрелок второй пулеметной башни. Пятый номер — у кормы, за вторым постом управления. Серго заслоняется от ветра под-

нятым воротником пальто, тянет за козырек, надвигая фуражку.

— На-ка.— Петрович достает с боковой полочки запасные очки.

— Спасибо. О! Совсем другое дело... Хороша машина!

— Триста двенадцать пудов! — откликается польщенный шофер.— Пятьдесят лошадиных сил в нашем «осепутиловце». Ленин с такой машины речь держал в апреле у Финляндского вокзала.

— История с этими «остинами»! — вмешивается поручик, хрустко дожевывая что-то, должно быть морковку.— Как с той аглицкой блохой, которую тульский Левша подковал. Машина в целом ничего была, однако па наших родимых ухабах задний мост англичанина не выдерживал. И броня — с двухсот саженей пуля насквозь...

— А башни? — с упреком напомнил Петрович.— А корма?..

— Верно. Башни одна другой мешали — затрудняли ведение флангового огня. И многие машины неприятель поражал со стороны кормы, особенно при разворотах. Так что пришлось питерским Левшам пораскинуть мозгами, прежде чем «остин» сделался «осей-путиловцем». Подчас прямо на фронте подковывали, перековывали.

— Этот,— Серго дотронулся до внутренней, войлочной, обивки броневика,— надеюсь, перекованный?

— Подымай выше.— Петрович довольно усмехнулся.— Английское только шасси. Перепроектирован и бронирован на Путиловском. Сталь — ижорская, никакая пуля не берет.

— Башни приплюснутые,— продолжил поручик с той же, что и у шофера, гордостью мастерового за мастерового,— установлены так, что ведем фланговый огонь из обоих «максимов» одновременно. Кожухи пулеметов, заметьте особо, прикрыты с боков толстой броней. И вот еще — видите шланги? По ним охлаждающая вода из

баков подается в кожухи пулеметов. Хоть три часа непрерывного боя — не перегреются.— Ласково тронул коробки с патронными лентами.— И боевой запас в ажуре, и запас хода — двести верст.

— А колеса! Колеса! — опять подсказал Петрович.— Антик!

— Да, это, бесспорно, самое замечательное. Свои, чистокровные «остины» англичане слали нам с двумя комплектами колес — на дутиках и на цельнокаучуковых. Перед боем валяй переобувай.

— Канительщина!..

— А наш, питерский, химик Гусс изобрел легкий и упругий наполнитель, вроде губки, шины мягкие, а пуль не боятся. Слыхали, наверно, гуссматики?

— Не устоять Керенскому и батальону женскому! — Серго сладостно вздохнул. До чего прав был Ильич, когда еще в Разливе требовал сосредоточить внимание на боевых кораблях и броневых дивизионах.

— Еще лучше машины есть,— расхвастался Петрович.— Путиловские взяли да поставили нашего «осю» на гусеницы.

— Подковали заново! — засмеялся поручик.— Бесконечной лентой «кегресс». Передние колеса уширили, катки поставили перед ними, а вместо задних — гусеницы.

— Прешь на нем,— мечтательно потянулся шофер,— окоп — тебе не окоп, ров — не ров, рогатка — не рогатка. Одно слово — утюг. Да еще башня новая — по аэропланам бьет хоть ты ну...

Мимолетный разговор, а как заинтересовал! Может, еще пригодится, еще вспомнится Серго Орджоникидзе?

Хмурый, промозглый вечер. Не то дождь моросит, не то из-под колес брызжет, не то с Невы сыплет. Ничего. Этот день октября останется Октябрем с большой буквы... Идут броневики по набережной — к Зимнему. До чего захватывает, до чего упоителен бег машины! Да-а... Гру-

зин может стать на колени только перед матерью и перед водой, чтоб напиться,— больше ни перед кем, ни перед чем, ни за что не станет, даже перед любимой женщиной. Но перед этой машиной...

Ловко, сноровисто работает шофер. Через несколько часов, уже ночью, он с остальными делегатами самокатчиков, вместе с Серго, еще не остывший от боя, придет в Актовый зал Смольного на заседание съезда Советов. И в протоколе съезда запишут:

«Под необузданные взрывы восторга огромного роста самокатчик с двумя Георгиевскими крестами заявил: «Среди геройского третьего батальона нет никого, кто согласился бы пролить братскую кровь. А господину главноуговаривающему Керенскому даем предупреждение — не трожь съезд Советов и Военно-революционный комитет! Кишки выпустим!!»

Это будет через несколько часов, после штурма Зимнего. А сейчас... Споро, сноровисто работает шофер. Руки, ноги — все в действии: штурвал, рычаг переключения скоростей, конус, газ... Впереди постреливают. Петрович опускает лобовые щитки.

— Гаси внутренний свет. Готовьсь!

— Правая башня готова!

— Левая башня готова!

Мурашки подирают по спине. Не от холода, нет, по от озноба... В смотровую щель Серго видит несущуюся навстречу набережную, Неву, Николаевский мост, освещенный прожектором крейсера. Вот и сам крейсер — слева. У носового орудия хлопочут комендоры. Вновь, как недавно, в Разливе у Ильича, подумалось: что такое, в сущности, революция? — Работа, работа и еще раз работа...

Во мгле за мостом, над Петропавловской крепостью, вабагровел сигнальный огонь. Девять часов сорок минут.

Гром покачнул броневик так, что шофер с трудом

удержал его на курсе. Из носового орудия «Авроры» грянул сгусток пламени, полыхнул в чугунных водах, в окнах Зимнего дворца. Огненное облако окутало корабль. Зарево покачнуло Медного всадника, все небо над Питером, всю землю...

Гражданская война для Серго началась, а вернее, продолжилась уже на следующий после взятия Зимнего день. Керенский, бежавший из дворца перед самым штурмом, двинул на Питер казаков генерала Краснова. В тылу революции юнкера, сумевшие захватить три броневика, подняли мятеж. Рабочие, солдаты, матросы-балтийцы делали патроны, снаряды, строили баррикады и проволочные заграждения, рыли окопы. Возник первый фронт первой Советской республики. В ночь на двадцать девятое октября положение стало критическим. Казаки Краснова под колокольный звон заняли Гатчину и Царское Село. Керенский объявил:

— Всем, всем! Большевизм распадается, изолирован и как организованная сила уже не существует.

Ленин вызвал Серго, только что вернувшегося в Смольный с подавления мятежа юнкеров, и Мануильского:

— Борьба затягивается... Поезжайте.

Через час паровоз уносил их с Балтийского вокзала под Красное Село. С утра ливмя лил дождь. Агитаторы ЦК отправились на позиции. В разных частях собирали митинги, которые заканчивались одной и той же резолюцией: «Умрем, но победим». Ленин советовал Серго полагаться не столько на пушки, сколько на правду. Без оружия, Серго открыто шел к солдатам противника, терпеливо втолковывал им, куда и зачем их ведут, читал Декреты о земле, о мире, принятые съездом Советов. Солдаты начали переходить на сторону Советской власти.

«Мы здесь переживаем величайшие дни мировой исто-

рии,— писал Серго Зине.— Борьба идет самая беспощадная. В двадцати верстах от Петрограда — настоящий военный лагерь. Ночью войска Керенского, разбитые наголову у Царского Села, бежали. В городе спокойно. Позавчерашняя попытка меньшевиков и эсеров устроить восстание юнкеров раздавлена. Здание, в котором засели юнкера, разрушено пушками. За Керенским идут части казаков и юнкеров...»

В Гатчину, к штабу Краснова, Серго отрядил балтийских матросов. И вскоре уже распропагандированные ими казаки требовали арестовать Керенского. Краснов помог ему убежать буквально за несколько минут до подхода основных большевистских сил. Узнав об этом, казаки арестовали самого генерала, отправили его в штаб Орджоникидзе. Там разъяренные матросы чуть было не растерзали генерала: «К стенке, к стенке лампасника! Никаких разговоров!» Пусть скажет спасибо Серго — с трудом, но удержал матросов: «Не к лицу революции самосуд!» Под охраной отправил пленного в Смольный...

То было лишь начало. Впереди предстояли три года гражданской войны — сперва с тем же Красновым, который, нарушив слово рыцаря — не поднимать больше меч на народ, бежит из Питера, станет донским атаманом, союзником германских войск, оккупирующих Украину.

Девятнадцатого декабря семнадцатого года, на пятьдесят шестой день революции, Центральный Комитет партии и Совет Народных Комиссаров назначают Григория Константиновича Орджоникидзе временным чрезвычайным комиссаром Украины. Украины, за которую идет война со всевозможными белогвардейскими, националистическими группировками и кулацкими бандами, которую вот-вот оккупируют германские войска.

Из Петрограда Серго едет в Харьков, тогдашнюю столицу Украинской Советской республики.

Пятнадцатого января тысяча девятьсот восемнадцатого года Ленин шлет туда телеграмму:

— Ради бога, принимайте *самые* энергичные и *революционные* меры для посылки *хлеба, хлеба и хлеба!!!* Иначе Питер может околеть. Особые поезда и отряды. Сбор и ссыпка. Провожать поезда. Извещать ежедневно. Ради бога!

Двадцать второго января:

— ...От души благодарю за энергичные меры по продовольствию. Продолжайте, ради бога, изо всех сил добывать продовольствие, организовывать спешно сбор и ссыпку хлеба, дабы успеть наладить снабжение до распутицы. Вся надежда на Вас, иначе голод к весне неизбежен.

Четырнадцатого марта:

— Товарищ Серго! Очень прошу Вас обратить серьезное внимание на Крым и Донецкий бассейн в смысле создания единого боевого фронта против нашествия с Запада... Немедленная эвакуация хлеба и металлов на восток, организация подрывных групп, создание единого фронта обороны от Крыма до Великороссии с вовлечением в дело крестьян...

Девятого апреля декретом Совнаркома Григорию Константиновичу Орджоникидзе поручено организовать и возглавить Временный чрезвычайный комиссариат Южного района, объединяющий Крым, Донскую и Терскую области, Черноморскую губернию, Черноморский флот и Северный Кавказ до Баку.

Из одного клубка борений и страстей — в другой: из Харькова — в Ростов. Республика Советов Дона была поистине островком, захлестываемым волнами контрреволюции. Ростовские офицеры и купцы собрали тайное общество для уничтожения советских работников. Еще в

поезде Зина и Серго наслушались, как истязают белые большевиков, попадающих к ним. Пленным велят раздеться донага — будь хоть мужчина, хоть женщина. Над женщинами глумятся даже больше. Отрезают уши, носы, груди, а когда жертва свалится, рубят шашками. Всегда разбитной, острый, добрый город, давно полюбившийся Григорию Константиновичу по подпольной работе до революции, на сей раз встречал куда как неласково. Уже когда ехали на фаэтоне с вокзала, увидели демонстрацию анархистов, растянувшуюся по Таганрогскому проспекту.

Хмельные рожи, вызывающие взгляды, наглые окрики. Спившаяся матросня, пристанские шлюхи, рыцари базара, завсегдатаи притонов, кабаков, мошенники ипподрома, босяки, домушники, карманники — бездомное жулье со всей страны, откочевавшее по обыкновению к югу на зимовку, все стремящееся, и не без успеха, превратить город во всероссийскую «малину», наделяющее его в насмешку, вопреки прекрасному имени блатной кличкой Ростов-папа. На черных знаменах белые черепа с перекрещенными костями. На черных знаменах белые лозунги: «Анархия — мать порядка», «Дух разрушающий есть дух созидающий», «Срывайте замки!»

И срывают. Вовсю. Громят магазины, грабят на улицах, грабят в квартирах. Серго обращается за помощью к своим — к тем, с кем работал в одиннадцатом, когда готовил Пражскую конференцию большевиков: во что бы то ни стало навести в городе революционный порядок! Спешит на заводы, в депо, на рабочие окраины Темерник и Нахичевань. Сколачивает отряд Красной гвардии. Отряд порядочный, но боевого опыта у ребят еще нет, так что приходится чаще всего — везде! — самому, самому...

Возбужденный, окрыленный первыми победами, Серго гордился и красовался перед молодой женой, слегка

бравировал, играл с опасностью. Верно, бес одержимости вселился в него, и ярость, накопленная годами унижений в каторге и ссылке, теперь взрывалась, удесятеряя силы, убивая страх. Это видели, понимали, чувствовали те, с кем приходилось ему сталкиваться.

Каждый день, прожитый в Ростове, казался Зине последним. Невозможно было заставить Серго хоть как-то умерить пыл. Изо дня в день участвовал в разоружениях, ликвидациях анархистов, корниловцев, обыкновенных бандитов. И, должно быть, судьба склонялась перед ним — берегла его. Вот поздним вечером Зина едет с ним на пролетке по безлюдной улице. Из ближайшего двора доносятся крики о помощи. Как Зина ни удерживает, Серго кидается на выручку. Через некоторое время, нет, через вечность возвращается, бросает под ноги жене два нагана, винтовку, оторванный рукав собственной кожанки:

— Будут знать, как мирных жителей обижать во вверенном мне городе!..

Картинно представительный — на боку маузер в деревянном футляре, кожаная тужурка, фуражка со звездой, серпом и молотом,— он заставит уважать новую власть. Положение в городе начнет понемногу улучшаться. Но это даже и не полдела. Главное — как противостоять германцам, не нарушая мирный договор. Лидеры левых эсеров зовут к священной войне. А Серго говорит на съезде Советов Донской республики:

— У нас плохой и скверный мир, а все-таки мир. Благодаря этому миру мы имеем свободным красный Петроград. Российская революция жива, и лучшим доказательством этого служит ваш съезд. «Левые» эсеры своим призывом к войне хотят нас погубить. Их предложение есть предложение погибающего человека, который в отчаянии хочет с честью умереть. Мы же призываем вас готовиться к грядущим битвам.

Съезд поддержал чрезвычайного комиссара. И Ленин

тут же телеграфировал, что особенно горячо присоединяется к словам резолюции о необходимости победить на Дону кулака. В этом — самое верное определение задач революции. Именно такая борьба и по всей России стоит теперь на очереди.

Однако германские войска, уже оккупировавшие Украину, и их «союзники» гайдамаки вторглись в Россию. Серго строго-настрого приказал товарищам:

— Вести войну оборонительную и дипломатическую. Вдоль границы вырыть окопы, выставить заслоны, а впереди, с белыми флагами,— пикеты. Ни в коем случае не нарушать условий мирного договора с немцами.

Но противник был не очень-то щепетилен, не слишком уважал договоры, полагался только на силу. В начале мая развернулось жесточайшее сражение за Ростов.

Восьмого мая в полдень — жарища, гимнастерка окровавлена, полжизни за глоток воды — Серго успел заскочить в «Палас-отель», с последним эшелоном отправил Зину за Дон. Сам пришел в Батайск с отступавшими войсками.

Германцы, казаки Краснова, гайдамаки гетмана Скоропадского захватили Ростов.

Начались дни, месяцы хождения по мукам. И всюду Зина была рядом. Рядом с мужем никогда не было тяжко. Страшно — да, бывало, каждый день, а тяжко — нет. В своей поистине кипучей жизни он оставался тем, кого принято называть легким человеком. «И я буду легкой»,— говорила себе Зина, стараясь стать с ним вровень. Никогда не роптала, не раскаивалась. Никогда не посягала на его занятость, не ревновала к делам, напротив, оставалась с ним, в его деле, входя в дело, увлекаясь им...

Германские войска продолжали продвигаться к Кубани и Черноморью. Серго организовал отпор, наращивал силы юной Красной Армии. Двадцать восьмого мая в

Екатеринодаре открывается Чрезвычайный съезд Советов Кубани и Черноморья. Орджоникидзе руководит им, предлагает объединить Кубанскую и Черноморскую Советские республики — и такое объединение происходит.

Из Екатеринодара без промедления — во Владикавказ, в Баку, в Грозный... Дни и ночи гражданской войны. В сложнейших, головоломнейших переплетениях международных интересов, национальных и классовых противоречий. И опять общение с Лениным. Пишет ему:

— Положение Баку отчаянное, город обстреливается из орудий турками; турки требуют безусловной сдачи города; союз соглашателей — предатели меньшевики, дашнаки готовят сдачу города; английские обещания оказались достаточными только для предательства бакинского пролетариата...

— В Грузии восстание крестьян продолжается; германцы принимают участие в подавлении восстания русских и армянских крестьян...

— Положение Армении трагическое, на небольшом клочке двух уездов Эриванской губернии скопилось 600 тысяч беженцев, которые гибнут массами от голода и холеры. В завоеванных уездах турки повырезали половину населения...

«По военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой восемнадцатый год...» За этот головокружительный год произошло столько событий, сколько никогда, ни за один иной в истории не происходило. Первый год революции, Советской власти... В декабре белая армия, поддержанная Антантой, обрушилась на Красную Армию, сосредоточенную у Владикавказа и Грозного. Серго метался с одного критического участка на другой. Обороняться во что бы то ни стало! Мы должны сохранить нефть для Советской России: Грозный и Владикавказ должны быть в наших руках.

Из ста тысяч бойцов Одиннадцатой армии сыпным тифом болели пятьдесят тысяч. То же самое и среди мирных жителей. Зима загоняла здоровых в одни помещения с больными. На борьбу с эпидемией пришлось мобилизовать женщин-работниц. Но не спасало никакое самоотвержение: санитарки заражались, падали. Ежедневно по улицам Владикавказа уносили сотни гробов. Город наводнили беженцы. Голодные, обмороженные, оборванные, они быстро съели все запасы и скитались в тщетных поисках крова, хлеба. Торговые ряды и базары — шаром покати. Спекулянты продавали продукты из-под полы и только за царские деньги. Оживилась затаившаяся было контра. По ночам в городе постреливали.

Новый, тысяча девятьсот девятнадцатый год Серго встречает в бою. Двадцать четвертого января телеграфирует:

«Москва, Кремль, В. И. Ленину.

XI армии нет. Она окончательно разложилась. Противник занимает города и станицы почти без сопротивления. Ночью вопрос стоял покинуть всю Терскую область и уйти на Астрахань. Мы считаем это политическим дезертирством. Нет снарядов и патронов. Нет денег. Владикавказ, Грозный до сих пор не получали ни патронов, ни копейки денег; шесть месяцев ведем войну, покупая патроны по пяти рублей... Будьте уверены, что мы все погибнем в неравном бою, но честь своей партии не опозорим бегством. Среди рабочих Грозного и Владикавказа непоколебимое решение сражаться, но не уходить. Симпатии горских народов на нашей стороне. Дорогой Владимир Ильич, в момент смертельной опасности шлем Вам привет и ждем Вашей помощи».

Телеграфирует Серго и командованию Одиннадцатой армии:

«Мы решили умереть, но не оставлять свои посты. Если что-нибудь у вас уцелело, идите нам на помощь.

Чечня и Ингушетия вся поднялась на ноги. Я уверен, что оставшиеся верными рабоче-крестьянской России товарищи предпочтут умереть на славном посту смерти в астраханских степях».

Но основные части Одиннадцатой самовольно отходили на Астрахань. Семь дней, семь ночей отбивались рабочие и оставшиеся на позициях красноармейцы. От фронта до штаба чрезвычайного комиссара — сто пятьдесят шагов. Из Грозного на подмогу пришел рабочий полк. Непроглядной вьюжной ночью Серго направил его в Беслан, а утром воротился только один раненый боец: в Ольгинском засада, весь полк уничтожен. Серго понял, что это — последняя капля. Целеустремленность и терпеливость, помогавшие ему переносить невзгоды, не помогали, однако, не чувствовать их. Подавленный, под обстрелом, въехал он на открытом автомобиле в обреченный город. Эх, если бы патроны!.. Еще недавно он покупал их вот здесь.

С юности любил бродить по базарам — любил их неукротимое движение, хлесткий говор, пестрое многолюдство, яркую россыпь товаров, по которой всегда можно определить, как, чем жива округа, съехавшаяся торговать. Базар в известной мере и лицо города. Каково-то оно сейчас? В былые дни на этом самом месте сияли развалы серебряной и медной чеканки, глянцевито-черные чувяки и молочно-белые бурки, арбузы, дыни, груши, кукурузное зерно, фасоль всех оттенков, орехи всех сортов. Торговцы, поджав ноги, сидели у порогов, дымили трубками, которые, казалось, никогда не погаснут. Теперь... Даже Терек как будто затих — только швырял и швырял пенистые брызги, которые на лету превращались в лед. Канонада. Пыль над развалинами — не унять ни снегопаду, ни туманной мгле. Костры, палатки на улицах, брошенные орудийные передки. Окоченевшие бойцы, беженцы, сестры милосердия. Все устремлено к Воен-

но-Грузинской дороге. Раненые, тифозные кричат, когда санитарные двуколки подкидывает на расстрелянной мостовой. По слухам, ночью деникинские лазутчики напали на один из госпиталей, перебили всех раненых.

Путь колонны пересекает телега-платформа на дутых шинах: груда окостеневших трупов — должно быть, умершие от тифа. Все босые — со всех успели поснимать сапоги. При виде этой телеги бойцы останавливаются, пропускают ее, тяжелораненые смолкают на время.

Хорошо, что Зину и Арусяк Петросян, сестру дорогого друга юности Камо, успел отправить в селение Барсуки.

Последний аккорд обороны. Ночью от станции отходит паровоз, толкая цистерну с нефтью. Впереди нарастает грохот идущего навстречу бронепоезда. Нефть подожжена, цистерна отцеплена. Разгон — тормоз. Паровоз уходит назад. А огненный смерч несется под уклон — лоб в лоб вражескому бронепоезду...

Глубокой ночью Серго с верными товарищами добирается до Барсуков. Как может, утешает Зину и Арусяк: еще вернемся, еще покажем! А у самого — мало сказать: кошки на сердце скребут. Поражение. Нет, разгром. Отдал Владикавказ — ворота обширнейшего, богатейшего края, ключ к нефти, которая так необходима изнемогающей от холода и голода республике! Сколько людей погубили — и напрасно. Не «погубили», а «погубил» — ты. Нельзя было отдавать: умри, но не отдай. А ты... Отдал и не умер, имеешь наглость жить. Любого человека несчастье может заставить насторожиться, считать, будто никто ему не сочувствует. Оттого-то, верно, слабые сетуют на окружающих, сильные — на себя.

Так-то, чрезвычайный комиссар! Вести настоящую войну — это тебе не с анархистами драться. Представились читанные в Шлиссельбурге книги по военному искусству. В них больше всего поражало то, что перед сражениями штабы заранее планируют потери — рассчи-

тывают число жизней, которые надо отдать за победу. Это казалось неприемлемо жестоким, недопустимо тяжелым для полководца, который обязан предвидеть и это. Но как же иначе? В каждом деле, тем более в военном искусстве, свои законы, своп наука и опыт. И если не хочешь быть дилетантом... Как ты воевал?! Надел бурку, ногу в стремя: «Шашки вон! Ура!» На одном «ура!» далеко не ускачешь. Кустарщина есть кустарщина, во что ее ни ряди. С тоской смотрел на холщовые мешки, набитые деньгами для покупки патронов.

Бежать! А куда? В горы — в лед и снег? И метель такая, что, конечно, даже волки не рыщут — по пещерам отсиживаются. Рукой подать до родной Гореши. Близок локоть, да не укусишь. Сакартвело в руках меньшевиков, их кордоны не пропустят большевика, еще, пожалуй, выдадут Деникину.

И все же. Когда приходится выбирать из двух зол, никто не выбирает большее. Ночью двинулись в сторону Тифлиса. Серго, Зина, Арусяк с грудным ребенком на руках — в первом автомобиле. Самые надежные товарищи — во втором. Ни зги. Дорога петляет лесом, которому, верно, конца нет, поднимается на холм, спускается в лощину и опять лес, черный, черный...

— Наконец-то селение. Что это? Остановимся? Спросим? Молока добудем? Но как знать: кто там притаился за глухими ставнями — друг или враг? Дальше, дальше! Снег — в лобовое стекло. Валит, сыплет хлопьями на папаху, на бурку, полами которой Серго укрывает Зину и Арусяк с ребенком. Снег, снег... Заметает следы... Хлебный снег — добрый. «Добрый»? Само слово сейчас кажется неуместным, даже навсегда утраченным. Кавказское небо, где ты? Не видать.

Что там с Лениным сейчас? Как Москва в кольце фронтов? Держится ли? Положение республики — хуже некуда. И ты его еще ухудшил... А если бы Ленин на

твоем месте оказался?.. Вспоминается рассказ Надежды Константиновны о том, что самой большой трагедией, едва не стоившей Ильичу жизни, был Второй съезд — раскол партии, разрыв с людьми, которых так любил, — с Плехановым, Мартовым... Для Ильича, сердечно привязчивого к товарищам, то было страшнее всего в жизни. Десятки раз выступал он по ходу съезда, заболел, нервной сыпью покрылся, чуть с ума не сошел. Даже в Разливе не страдал так. Что бы он сейчас делал, Ленин, на твоем месте? Какое решение, какой выход? Будто не знаешь! «Драться! Действовать! Смелость, смелость и еще раз смелость!»

Тихий рассвет в горах. Метель угомонилась, улеглась. Издали виден минарет мечети. Это аул Сурхохи, защищенный со всех сторон лесами. По просторной ровной площади для сходов спешит горянка с кувшином на плече, стыдливо прикрывает лицо платком, но улыбается... В кунацкую комнату, украшенную коврами и серебряным оружием, набиваются мудрейшие старики со всей округи.

— Салям алейкюм, Эрджикинез — кунак Ленина! За твою голову Деникин обещает миллион, но мы не выдаем гостей. Скажи, когда прогонишь Деникина. Когда красные вернутся?

— Многоуважаемый отец-джап! Ты ведь, помнится, был против красных?

— Тогда у меня другой голова был. Тогда у меня в голова Октябрьский переворот не был. Ты, Эрджикинез, в моем голова Октябрьский переворот делал. Советский власть — наш власть. Советский власть земля давал.

— Надо помогать, многоуважаемый отец-джап.

— Мы готовы. Говори, как помогать.

— Драться.

Письмом к народу Серго призывает: «1. Держать постоянно твердую связь между всеми горцами. 2. На уход

большевиков смотреть как на временное явление и твердо верить в их победное возвращение. 3. Горцы должны сохранить твердую преданность Совласти и остаться крепкими борцами за революцию».

Повсюду в селениях письмо чрезвычайного комиссара обсуждают, одобряют, принимают как руководство к действию — Серго организует партизанскую войну. В результате ее... Впрочем, о том лучше спросить у Деникина. Если ворота обширнейшего, богатейшего края, ключ к нефти обошлись генералу в тридцать тысяч жизней, то уже «покоренный» Северный Кавказ, по его мнению, стал кипящим котлом, приковал к себе еще пятнадцать тысяч отборных войск, чтобы хоть как-то поддерживать порядок вдоль основных путей сообщения. И это в то время, когда каждый солдат необходим позарез для наступления на Москву. Ни в марте, ни в апреле, ни в мае чрезвычайный комиссар не пойман. Где же он? Что с ним? По слухам, выехал к Ленину для доклада о положении на Кавказе.

Два месяца «кругосветки» из-под Владикавказа к Астрахани... Еще неделя — и Серго поздним июльским вечером, скорее, уже полночью идет по кремлевскому двору, чувствуя тепло Ильичева локтя, радуясь чистому, доброму небу над Москвой.

— Какое счастье, что живы! — посреди разговора вдруг вырывается у Ленина.— Мы с Надей считали вас погибшим. Полгода никаких вестей! Подавлены? Измучены?

Неуважением к нему было бы прикинуться бодрячком, бойко рапортовать, бравировать. Серго уходит от прямого ответа, продолжает говорить по делу — только по делу:

— На Северном Кавказе мы столкнулись с политической ситуацией в высшей степени сложной. С одной

стороны, многоземельное, зажиточное, в прошлом пользовавшееся всеми правами казачество, если можно так выразиться, «народ-помещики». С другой стороны, иногороднее население и горцы, безземельные и бесправные в прошлом... При первых же попытках проведения земельной реформы казачество стало во враждебную позицию по отношению к Советской власти...

— Безусловно, гражданская война, и тем более гражданская война — такое же продолжение политики, как любая война,— Ленин грустно, доверительно пожаловался: — Да-с, доложу я вам! Деникин осатанел, спит и видит себя въезжающим в белокаменную на белом коне. Двадцать четвертого июня, когда вы плыли по Каспию, занял Белгород, двадцать пятого — Харьков, двадцать девятого — Екатеринослав, Новохоперск...

— Отдохнуть бы вам хоть немного, Владимир Ильич!

— Совсем не могу спать. Хожу, хожу вот так... Оставлен Царицын — дверь в хлебные амбары Юга...

— Вы сжигаете себя, Владимир Ильич!

— А разве дело не стоит этого?.. Да, дорогой товарищ Серго, либо — либо, середины нет, положение страны дошло до крайности... И все-таки! И однако!.. Рождение человека связано с таким актом, который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный, полумертвый кусок мяса. Но согласился ли бы кто-нибудь признать человеком такого «индивида», который видел бы только это в любви, в ее последствиях, в превращении женщины в мать? Кто на этом основании зарекался бы от любви и от деторождения? Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент революции...

— Что же делать?

— Учиться и научиться побеждать. Сам учусь и вам советую. Для начала садитесь за доклад Совнаркому. Ну, скажем, так: «Итоги...» Нет, проще: «Год гражданской

войны на Северном Кавказе». Готовим письмо ЦК к партии «Все на борьбу с Деникиным!». Ваш опыт будет кстати для всех, и для вас в особенности. За битого двух небитых дают. Действуйте...

Старательно усваивает Серго ленинскую науку побеждать. Не случайно на одном из его писем Ильич замечает:

— По отзывам и Уншлихта и Сталина, Серго надежнейший военный работник. Что он вернейший и *дельнейший* революционер, я знаю его сам больше 10 лет.

Наступает тысяча девятьсот двадцатый год. Постановлением ЦК Российской Коммунистической партии (большевиков) Орджоникидзе назначается председателем Бюро по восстановлению Советской власти на Северном Кавказе. Приказом по фронту — председателем Северокавказского революционного комитета. Решением Политбюро вводится во вновь созданное Кавказское бюро ЦК РКП(б).

Протокольные записи... И то нелегко перебрать, перечислить должности, которые он занимает. А ведь надо не просто занимать... Впрочем, никогда он не был кабинетным сидельцем — это претило его натуре. Стремился, по Ленину, быть в гуще, уметь подойти, знать настроения, знать все.

— В революции не шутят, а жизнь ставят на карту. Или драться в бою за свое право, или идти на сторону врагов! — Так обращался он к другим, потому что так же обращался и к себе. На собственном опыте убедился в бесспорности ленинского утверждения о том, что любая революция чего-нибудь стоит, лишь когда умеет защищаться. Защищал свою революцию — и собственной жизнью, и жизнями других, вверенных, вверившихся ему, и углем, и нефтью, и чугуном, и хлебом, хлебом, хлебом.

Как никогда, жизнь его стала непрерывной ответственностью за судьбы других, неизбывной заботой о миллионах других. Но это нисколько не тяготило его. Напротив, радовало, возбуждало силы, желания. Поднимало достоинство и уважение к себе. Укрепляло веру в себя и убежденность в собственной правоте — в правильности избранного пути. Заставляло любую, самую обычную, будничную работу делать от души, от всего сердца, как бы дивясь себе, своей неиссякаемости, неуемности, действовать и действовать в искреннем, в истинном, не напоказ — на благо, упоении битвой жизни.

Три года гражданской войны — день в день на фронтах, от схватки с Красновым — Керенским до разгрома Врангеля в дни третьей годовщины революции. Не грех бы и отдохнуть. И так хочется отдохнуть! — хотя бы дух перевести. Но... уже подоспело новое задание Ильича — на всю оставшуюся жизнь. И всей жизни не хватит...

Вот, в шинели и буденовке, шагает Григорий Константинович Орджоникидзе по Москве. Колючий ветер порошит гривы коней, вздыбленных над порталом, наметает сугробы поперек площади. Непрерывным потоком спешат к Большому театру делегаты Восьмого Всероссийского съезда Советов. К десяти часам утра и вестибюль, и коридоры, и лестницы уже переполнены, однако заседание не открывают. В киосках делегаты получают газеты, печатные отчеты о работе народных комиссаров. Пробиваясь через фойе, Серго задерживает внимание на группе людей в шинелях, бушлатах, кожанках, сгрудившихся у дверей. Раскрыв тяжелый том, рыжий бородач водит заскорузлым, побуревшим от солдатской махры пальцем по строкам: «Э-лек-три-фи-ка-ция Рос-си-и...»

Чтеца подталкивают, торопят. Да и как же тут утерпеть, когда вчера, докладывая о работе Совнаркома, Ленин ходил по сцене с этой книгой, называл ее второй программой партии, говорил:

— Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны...

Над столом президиума, за которым Ленин, Петровский, Орджоникидзе, Ворошилов, Гусев, Сталин, поднялся Михаил Иванович Калинин, потряс колокольчиком, предоставил слово Кржижановскому...

Глеб Максимилианович взял тяжелый биллиардный кий, прислоненный к трибуне, и двинулся в глубь сцены — туда, где с кулисных колосников спускалась громадная карта европейской части страны, дотронулся кием до красного круга с номером три — и сейчас же из центра его, возле Александровска на Днепре, ударил фонтан света. Отчетливо обозначились лица делегатов.

Впервые услышанное «гидроэлектрическая станция», «нефтепровод», «сверхмагистраль» зажигало четыре тысячи глаз — две тысячи душ — точно так же, как «Даешь Зимний!», «Даешь Перекоп!», «Даешь Каховку!».

В зале нет прежней тишины: партер, ложи, ярусы переполнены сочувствием, нетерпением. И хотя на протяжении доклада Ленин не назван, все обращено к нему. Все понимают, что электрификация — это прежде всего Ленин, сидящий неподалеку от того места, где работает кием-указкой главком инженеров и агрономов,— Ленин, стоящий вместе с ним, вместе с тобой у начала будущего — в самом начале его.

«Прост,— подумал Серго и тут же возразил себе: — Вряд ли назовешь простым того, кто в разгар наступления четырнадцати держав замышляет план электрификации, поручает разработать его лучшим головам страны...»

Без малого три часа говорит Глеб Максимилианович Кржижановский — без малого три часа внимания отдают ему делегаты. Ведь это о них он думает вслух, возвратясь на трибуну,— о них, о Серго, о товарищах, павших под Орлом, под Ростовом, во Владикавказе, недожив-

ших, недошедших из Якутсков, Шлиссельбургов, Потоскуев:

— У нас было мобилизовано и оторвано от мирного труда... пятнадцать миллионов человек. Но если наши электрические станции будут работать не в течение восьми часов в сутки, как это нормировано для трудящихся в Советской России, а по меньшей мере шестнадцать часов, то их действие уже равносильно работе тридцатимиллионной армии.

Таким образом, мы будем лечить ужасные раны войны. Нам не вернуть наших погибших братьев, и им не придется воспользоваться благами электрической энергии. Но да послужит нам утешением, что эти жертвы не напрасны, что мы переживаем такие великие дни, в которые люди проходят, как тени, но дела этих людей остаются, как скалы.

Раскаты грома:

Мы наш, мы новый мир построим...

Серго огляделся: в зале полумрак, а здесь во всю сцену озарена карта — и на ней двадцать семь маяков. Небывалый даже для Большого театра хор, как один голос:

Это будет последний и решительный бой...

А Ленин, рядом, пел, должно быть, громче других — не «будет», а «есть наш последний и решительный...»

НЕВОЗМОЖНОЕ МОГУТ ТОЛЬКО ЛЮДИ

— Простынете! — Рука старшего по охране касается плеча.

— Слушай, дорогой, ты меня охраняешь или конвоируешь? — Серго словно очнулся. «Конечно, напрасно сержусь на служилого. Не мешало бы сегодня вместо шинели бекешу надеть».

Тысяча девятьсот тридцать седьмой год. Восемнадцатое февраля. Ноль часов пятьдесят минут по московскому времени.

Он стоял перед Мавзолеем — как раз там, куда через восемь лет упадут знамена со свастиками и вензелем «Adolf Hitler». Умнейшие, но без тени симпатии к нам историки признают: фантастические замыслы привели к баснословной действительности. Он не увидит, не услышит это, но ради этого он родился и жил и прорывался в будущее: хотел, мечтал, стремился стать Амирани двадцатого века.

Почему-то пришло слышанное где-то, когда-то о брусчатке Красной площади: это самые верные камни России, это самые чуткие камни земли... Отмерив первый час его последних суток, пробили куранты на Спасской башне — за метельной мглой, прошитой лучами прожекторов и встречным светом недавно установленной звезды.

Нет, это не время идет — это мы проходим.

— Будут жаловаться на вас в Политбюро,— ворчал старший охраны.

— Извини, пожалуйста. Поедем...

После ужина, уже в постели, Серго вздохнул:

— Дела мои плохи. Долго не продержусь.

— Что ты, успокойся, родной! Просто надо немного беречь себя. Разве можно столько работать?

— Как без меня они будут в наркомате?..

— Отдохни. Ты так мало спишь. Завтра, верней, уже сегодня выходной,— гладила и гладила его теплой доброй ладонью.

Хорошо с ней. Но ощущение близкой смерти не отпускало, как бы окутывало его. Мрак. Мрак тревоги.

Панулия... Недавно сидел за одним столом с нами. Никогда больше не сядет... Ни-ког-да. Самое страшное слово. И многие, многие дорогие товарищи уже никогда, никогда... Кирыч, Дзержинский, Фрунзе, Куйбышев, Камо, Федоров... Дорогой, дорогой Сергей Петрович, второй отец, больше чем отец. Ушел скромно, никого не обременив — всех осиротив, как только истинно замечательные люди уходят. Четырнадцатого февраля — четыре дня назад был «юбилей» — восемь лет со дня операции. Говорят, раны заживают. Говорят те, кто не был ранен. Раны не заживают. Раны до могилы скорбят. Восемь лет боль, боль, непрерывное, даже во сне и прежде всего во сне по ночам, страдание — все восемь лет, что проработал председателем ВСНХ, народным комиссаром тяжелой промышленности, звездный час от самого начала. Чего стоило вставать по утрам, улыбаться, радоваться жизни, работать, работать? Кто скажет, легче с одной почкой или труднее, чем с одной ногой? Звездные часы человечества... Как дорого вы достаетесь людям!

Неотступно давила тревога тагильской истории: в начале февраля там арестованы как враги народа начальник Уралвагонстроя и несколько его сотрудников. Тогда же Серго направил в Тагил Гинзбурга и Павлуновского, чтобы разобрались в положении дел. Они доложили, что,

кроме небольших недостатков, которые, к сожалению, сопутствуют и очень хорошим стройкам, ничего не обнаружили.

— Зиночка! — прижался к ней, точно спасаясь.

— Ну что ты?! Расскажи лучше, как день прошел.

— А-а!.. Столько еще не сделано, столько «надо», «надо»! Академик Губкин, совсем больной, доказывал: нефть за Уралом есть, Тюмень богаче Баку. А я выслушал не слишком внимательно — больше смотрел на него, чем слушал: такой у него вид! Плакать хочется, когда смотришь. Отправил его домой на машине и закрутился в текучке. Это — раз. Потом Абрам Федорович приходил. Рассказывал о своем «доме» — Ленинградском физико-техническом институте, о своих учениках. Они зовут его папой Иоффе — Курчатов, Зельдович, Харитон, кто-то еще... Вот память стала! Институт исследует атомное ядро. Ты понимаешь, Зиночка, что это значит?! Им нужен радий, много радия, а я смог дать меньше килограмма — весь государственный запас, больше у нас пока нет. А должно быть, черт подери! Это — два. Дальше. Миша Тухачевский года три назад звал меня на Садово-Спасскую, в дом девятнадцать. Там работали энтузиасты, убежденные в возможности осуществить идеи Циолковского. Цандер, Келдыш, Королев... ГИРД — группа изучения реактивного движения. Злые языки расшифровывают: группа инженеров, работающих даром, а то и группа идиотов, работающих даром! А? Чувствуешь? Угадываешь мурло мещанина, его ухмылку? Того самого мещанина, который в июле семнадцатого распевал похабные частушки про Ильича! Наверняка гирдовцы нуждались в моей помощи, а я так и не удосужился к ним приехать. Не удостоил!

— Не можешь ты объять необъятное.

— Должен! Вон Емельян написал Сталину, чтобы помогли Циолковскому, а я...— Он как бы провалился в

колодец, задышал гулко, прерывисто, тяжело. Увидел все тот же, всегда один и тот же сон — расковку кандалов...

Тридцатые годы — время, по справедливости названное утром человечества, которое никогда не повторится. Страна принимала тот образ, в каком увидел ее Ильич еще в наброске плана научно-технических работ, еще в беспросветно глухих снегах за окном вагона морозной ночью восемнадцатого при переезде правительства из Питера в Москву — с добрым хлебом, металлом, энергией...

Сияли в ночи огни Днепрогэса. Вовсю, отдуваясь, дышали домны Макеевки, Магнитки, Кузнецка. Печаталась «Правда», где самое интересное, самое читаемое было: сколько вчера выплавили чугуна и стали, сколько выпустили автомобилей и тракторов... После разговора с наркомом не мог заснуть Сергей Владимирович Ильюшин, вставал с постели, подсаживался к столу, прикидывал, чиркая по бумаге: «Верно ведь! Микулинские моторы позволят поднять бронированный штурмовик, небывалый, невиданный — летающий танк!..» Не гасли огни в окнах Главсевморпути: Отто Юльевич Шмидт с Иваном Дмитриевичем Папаниным — в который раз! — обдумывали, обсуждали «до гвоздика» детали предстоявшей экспедиции на Северный полюс. Не спали «холодные головы — горячие души», реализуя изобретение инженера Тихомирова, никому не хотелось уходить из лаборатории домой — и никто не уходил: наконец-то Наркомтяжпром дал опытный образец ракетной установки, которую со временем назовут «катюшей». В кабинетах, за рабочими столами, страдали и побеждали, торжествовали, прорываясь в будущее, в одолениях, в свершениях, в озарениях Алексей Толстой, Шолохов, Твардовский. Не спалось Блантеру: что, если положить на музыку вот эти стихи Исаковского: «Расцветали яблони и груши»?.. Снимался фильм «Петр Первый». Павленко убеждал Эйзенштейна, что сценарий об Александре Невском надо закончить слова-

ми: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет, на том стояла и стоять будет русская земля». Да, таких слов, к великому сожалению, ни в одной летописи найти не удалось, но они были, были произнесены! И они так нужны теперь. Искусство должно вызывать светлые, высокие чувства, искусство призвано защитить жизнь на земле.

Эпоха нуждалась в титанах — эпоха родила их.

Люди тридцатых годов собирали резервы души, богатства первых пятилеток от «Катюши» песенной до стреляющей ракетами наперекор смертельной угрозе, принимали собственные страдания и беды Родины как часть страданий и бед человечества, которому можно и должно помочь в одолении нищеты, голода, страха и ненависти. Надо выиграть войну до того, как ее начнут, чтобы потомки смогли в свой черед отстоять мир до того, как посмеют его порушить. Так будет. Да будет так — в память о нас, во имя будущего.

Однако...

Достаточно ли сделано для этого? Нет, конечно. Что делать? То же, что и прежде: работать. Работать еще больше. Но ведь и так уж... И все-таки!

НЕ СПИ — ВСТАВАЙ, КУДРЯВАЯ

Тридцатого января тысяча девятьсот тридцать третьего года Гитлер захватил власть в Германии.

Тридцать первого на пленуме Донецкого обкома Серго говорил:

— Наша партия по праву гордится тем, что мы выполнили пятилетку в четыре года. Наш рабочий класс делает прямо чудеса. И когда вся Советская страна празднует эту величайшую победу, мы должны прямо сказать, как бы это ни было горько и для меня лично, который уже два с лишним года бьется над металлургией, и в особен-

ности для товарищей металлургов — коммунистов и беспартийных, хозяйственников и техников: пятилетку по черной металлургии в четыре года мы не выполнили.

Больше того, первые двадцать дней первого года второй пятилетки говорят о позорном прорыве в черной металлургии...

Что получается? Руководство недостаточное, сырья нет, механизации нет, Сталин виноват, вы виноваты, мы виноваты, а страна из-за нас, разгильдяев, страдать должна...

Многие из директоров себя не жалели во время гражданской войны и, если завтра нужно будет, пойдут и завтра драться. Но этого мало. Мы не можем уподобляться тем гусям, которые говорили, что наши предки Рим спасли. Не выйдет это! Предки-то Рим спасли, а вам хворостина нужна — так сказал Владимир Ильич на одном из партийных съездов...

Вы прекрасно знаете, что я не принадлежу к числу тех людей, которые в трудных условиях готовы все свалить на другого, а самому уйти в кусты. Какой же я буду большевик, если так буду поступать!

Я по своей должности обязан был прочитать кое-какие книжки по металлургии. Там говорится о том, что работа печи зависит от того, какие куски кокса в нее попадают. А у нас работают так: попадает большой кусок — хорошо, попадает маленький — тоже хорошо. Разве так за хозяйством ухаживают? Нет, так не выйдет. На глазок, по старинке работать — не выйдет. Это прямо надо сказать.

Беда у нас в том, что недостаточно мы втягиваем народ в нашу партийную работу, партийности мало у хозяйственников.

Я должен сказать с такой же резкостью насчет наших профсоюзных организаций. Так и не поймешь, что они на заводе делают, не в обиду будь сказано товарищам профсоюзникам, представителям нашего организованного

пролетариата, о котором они любят говорить... Мы пятилетку кончили, строим социализм, построили крупнейшую промышленность, но этого нельзя говорить рабочему, который сидит в холодной казарме,— он вас ко всем чертям пошлет. Что мы не можем достать несчастное количество антрацита, который можно подвезти, а не превращать рабочего в воришку, не заставлять его жену мешками таскать уголь и кокс...

То же самое насчет питания и всего остального. Ведь те продукты, что имеются, если их приготовить вкусно, то можно их есть. А в клубах у нас тепло или холодно? Чисто или грязно? Ведь то, что мне рассказывали, кажется анекдотом: рабочим мыла не давали потому, что в колдоговоре написано, что мыло должно быть зеленым. А его не дают ни зеленого, ни серого, и рабочие ходят грязные...

Большевики, которые умели по одному кличу нашей партии тысячи людей давать на фронт, люди, которые, не умея держать винтовку в руках, не говоря уже о пулеметах и пушках, могли идти на фронт сражаться и побеждать,— чтобы эти большевики не сумели победить и вытянуть черную металлургию на такую высоту, которую не видела не только наша страна, но и вся Европа?! Я этому не поверю!..

Из отрасли промышленности, которая задерживает развертывание нашего народного хозяйства, надо превратить металлургию в ведущую отрасль. Это большевики могут, должны сделать и сделают во что бы то ни стало!

Емельянов рассказывал:

— В ночь поджога рейхстага из Эссена я приехал в Берлин по делам. Видел пожар. Читал экстренно вышедшие газеты. На первой странице большой снимок здания, из окон которого валит дым. Надпись: «Коммунисты

подожгли рейхстаг. Следы поджигателей ведут в советское посольство...»

— Одну минуту,— Серго, словно спохватившись, прервал Емельянова, позвонил в Кузнецк Бардину.

Почти каждую ночь Иван Павлович докладывает о тяжелом положении завода. Всю зиму и Магнитка и Кузнецк работают хуже некуда, словно сговорившись оправдать опасения своих противников: да, выстроенные на Урале и в Сибири домны-гиганты смогут работать лишь летом. И в эту ночь известия более чем неутешительные. Но Серго не повышал голос, не «накачивал», не срывался. Емельянов, наблюдавший за ним, чувствовал, что услышанное тяжко наркому, но он знает: там, на другом конце провода, люди работают на совесть, надо ободрить, поддержать их. Из трубки, специально не очень сильно прижатой к правому уху наркома, Емельянов слышал:

— Все использовано, все мобилизовано — все факторы!..

— Думаю, что еще не все, дорогой Иван Павлович,— возразил Серго.— Ученые говорят: люди — больше половины успеха. А у нас, в наших обстоятельствах, при наших особенностях, с нашими замечательными людьми, думаю, почти весь успех. Не падайте духом. Смотрите только, чтобы не были погублены печи. Никто не будет вас дергать. Обещаю, беру ответственность на себя. Рассчитывайте на молодежь, на вдохновение, на порыв. Еще несколько усилий, еще чуть-чуть напряжения — и все пойдет как надо. Развенчивайте недопустимые толки о невозможности работы зимой в Сибири. Вся надежда на вас.— Подумал, добавил: — Вся надежда на вас и вся вера — в вас. Желаю успеха.— Положил трубку, обратился вновь к Емельянову: — Продолжайте, Василий Семенович. Все, что вы рассказываете, архиважно, как сказал бы Ильич.

— Сразу после выступления Гитлера по радио ночью

я увидел во всех окнах закрытого по мирному договору снарядного цеха яркие огни. Мастер объяснил: «Выполняем заказ на котлы высокого давления для Японии. Раньше мы на этом прессе прошивали шестидюймовые снаряды, но ведь технология одна и та же».— «Да и сталь-то по составу близка к снарядной»,— заметил я... Стальной лист испытывают на полигонах — якобы для пуленепробиваемых сейфов. В инструментальном цехе полно заготовок для пулеметных стволов... Хозяин моей квартиры написал на меня донос, будто бы на потолках и стенах я нарисовал серпы и молоты. Да, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно... Нагрянули штурмовики — обыск. На мой протест — надменный ответ: «Во время революции права не получают, а берут». На следующий день я узнал, что дом был окружен отрядом в шестьдесят семь человек. Познакомился я, товарищ Серго, и с гестапо, где оказались мои письма. Меня задерживают всюду, живу, как в юности, когда подпольничали с Ваней Тевосяном в Баку...

— Понимают, что вы — самый опасный для них «агент» Москвы...

— Наконец на заводе Круппа я увидел Гитлера. Сторож у ворот, украшенных флагами, поздоровался со мной, сказал, что Гитлер и Геринг только что проследовали через эти ворота, с важностью объявил: «Я их и открыл им. Сейчас они, вероятно, в прессовом».

Надо сказать, что этот цех — гордость завода. Там самый мощный в мире пресс, на котором достигается давление до пятнадцати тысяч тонн. Пролет цеха с кранами грузоподъемностью по триста тонн похож на храм в честь высшего божества, царящего здесь. Когда куют слитки весом свыше двухсот тонн, от них нельзя отвести глаз. Огромный слиток на выдвижном поду нагревательной печи выкатывается в ковочный пролет, приподнимается на цепях, вводится между колонн. Свисток мастера, плав-

ное движение кисти руки — двухсоттонный стальной слиток расползается, как крутое тесто.

Я, товарищ Серго, часто бываю там, знаю начальника цеха Гуммерта. Крупный специалист. Как дирижер симфонического оркестра, превосходно управляет уникальным оборудованием.

Понятно, прессовый цех всегда показывают именитым посетителям. Когда я вошел, у самого пресса увидел большую группу людей. Гитлер стоял в центре, говорил и сильно жестикулировал. Зачем он приехал в Эссен? Не затем конечно же, чтоб любоваться ковкой. Спит и видит броню танков, крейсеры, подводные лодки...

Вечером из Эссена уезжала очередная группа наших практикантов, закончивших стажировку на заводе. Мы с женой пошли на вокзал проводить их. Смотрим, к противоположной стороне платформы подходит поезд. Все бросаются к нему. Я — тоже: показалось, что-то случилось... Мимо меня медленно прошли два вагона. У окна стоял Гитлер. Опирался подбородком о согнутую в локте руку, смотрел куда-то вдаль. Никакого внимания на то, что происходило на платформе. Он, казалось, был чем-то озабочен. Несколько раз до этого я видел его на митингах, в кино. Там он всегда сильно возбужден, что легко заметить по горящим глазам, искаженному лицу и энергичной жестикуляции. Здесь же передо мной было лицо сильно уставшего человека с потухшим взглядом ничего не выражающих глаз. Мне даже показалось, что это не глаза, а пустые глазницы. Я хорошо разглядел Гитлера, он медленно проплыл мимо меня на расстоянии какого-нибудь метра. Осатаневшая толпа при виде фюрера чуть было не сбила меня с ног, хлынула к вагону с истошными воплями: «Хайль!»

Утром знакомый шофер сказал: «Гитлер вначале проводил совещание в Эссене, затем они переехали па виллу Круппа — Хюгель, а потом перебрались в Мюльхайм к Тиссену. Все договариваются...»

— Договариваются...— повторил Серго, встал из-за стола, прошелся по кабинету, остановился у окна.

Конечно, все, что рассказал Емельянов, он, Орджоникидзе, в общем знал, но услышанное от очевидца как бы увиделось, точно Гитлер встал — против тебя. Страшно. Будто сам под тот пресс угодил. Подсчитано, что в сражении на Марне французы и немцы выпалили друг в друга миллион двести тысяч тонн металла — за три дня треть годовой выплавки тогдашней России. А теперь? Сколько надо работать на такие три дня? Сможем ли?..

Да, мы превратились из аграрной страны в индустриальную. Удельный вес промышленности повысили с пятидесяти до семидесяти процентов. Машиностроение вырастили в четыре с половиной раза. Только за прошлый год дали двадцать три тысячи семьсот автомобилей, сорок восемь тысяч девятьсот тракторов. Все это вызывает восторг, который можно понять, но нельзя разделить. Надо ориентироваться на вершинные мировые достижения. Гитлер делает больше и, главное, лучше нас. Япония делает лучше. Их сталь, их машины лучше.

Сомнения, колебания — ох, как знакомы ему! Но слабые надеются на благоприятный исход, сильные сами его создают. Всегда презирал Серго тех, кто сидит сложа руки, ждет у моря погоды, уповая на «естественный ход событий»,— тех, по меткому определению Плеханова, трутней истории, от которых никому ни жарко ни холодно. Делай сам свою историю! Сам создавай свои представления, мнения, настроения. Тем более, что крупнейшие философы помогают тебе в этом:

— Четыре вещи отличают человека среди животных, вмещая все, что существует в мире,— это мудрость, воздержанность, ум и справедливость. Ученость, образование и обдуманность входят в область мудрости. Благоразумие, терпеливость, учтивость и почтительность относятся к уму. Стыдливость, благородство, сдержанность и

сознание своего достоинства входят в область воздержания. Правдивость, соблюдение обязательств, творение хороших дел и доброправие относятся к справедливости. Эти качества прекрасны, а противоположные им — дурны.— Так учат мудрейшие.

Да, человека ценят не за то, что он мог бы сделать, а за то, что сделал. Недаром Ильич внушал еще с Лонжюмо: не так важно то, что ты говоришь, как то, что делаешь. Человек растет в действии, это уже Горький говорил, тоже неплохой советчик...

Никогда прежде не обращался Серго к Ленину за поддержкой так часто, как теперь. Никогда прежде, кажется, не понимал Ильича так, как теперь... Октябрь. Воспламеняющие речи Ленина. Прямота Ленина. Правда. Требовательность. Решимость и готовность не посчитаться даже с мировой войной во имя мира и добра. Жгучая, прожигающая нетерпеливость, безоговорочность в достижении намеченного, непримиримость и нетерпимость ниспровержения, покоряющие даже противников, возбуждающие уважение, восхищение в их стане.

Как бы ни были различны революции, совершенные человечеством, все они требовали от человека нечеловеческого напряжения. Революция в индустрии — не исключение. Обернулся к Емельянову:

— Возвращайтесь в Эссен как можно скорее.

— Если б знали, как не хочется!

— Надо, очень надо...— Положил руку на плечо.

Приказ
по Народному комиссариату тяжелой промышленности № 506, 1 июня 1933 г., г. Москва

Сегодня вступает в строй действующих предприятий нашей социалистической промышленности новый, не

имеющий себе равного, гигант — *Челябинский тракторный завод...*

Тридцатое июня. В Германии завершилась «ночь длинных ножей»: после встречи с Круппом Гитлер уничтожил наиболее «левых» головорезов Рема и самого Рема, который пугал Круппа «революционностью» да еще требовал перемещения военной промышленности из Рура во внутреннюю Германию. Короли тяжелой индустрии объявили Рему войну и победили: теперь они могли спокойно продолжать создание военной машины рейхсвера.

Приказ
по Народному комиссариату тяжелой промышленности
№ 654, 15 июля 1933 г.

Сегодня вступает в строй действующих предприятий Советского Союза *Уральский завод тяжелого машиностроения...*

Металлургия и горная промышленность получают мощную базу для своего дальнейшего развития. Отныне значительную часть ранее ввозимого из-за границы металлургического оборудования будет давать наш советский Уралмашзавод...

Уралмашзавод готов — очередь за Краматорским заводом тяжелого машиностроения.

Конечно, Серго не знает и никогда не узнает, что ЧТЗ и Уралмаш в следующем десятилетии дадут львиную долю танков, станут бастионами, которые окажутся не по зубам той самой военной машине рейхсвера. Но он по обыкновению предчувствует, предвидит это. И жить ему радостно. Жить хочется...

Директору Енакиевского металлургического завода:
«Товарищу Пучкову. К сожалению, приехать не могу,

Но мне передали о том, что на заводе проделана большая работа и завод выглядит очень хорошо.

С. Орджоникидзе.

P.S. А где хорошо, туда я не езжу. Продолжайте в том же духе...»

Двадцать третье июля. Серго приехал на Магнитку.

В свое время Грум-Гржимайло, один из создателей основ нашей металлургической науки, пророчил: уральские руды как бы специально созданы для предметов вооружения и обороны. На Урале мы возродим булат древних.

Булат!..

В станки и тракторы, в рельсы и балки, в танки и миноносцы превращается камень горы Атач, горы Магнитной. Неправдоподобно громадную выработку в ней народ со временем назовет могилой Гитлера. Но до этого еще копать и копать.

Едва вагон наркома остановлен на заводских путях, Серго начинает обход цехов. По обыкновению он появляется там, где его меньше всего ждут. Электрическую станцию осматривает не с парадного хода, возле которого выстроилось начальство, а от зольного помещения. Рядом с ним не только Семушкин, но и Точинский, и Завенягин, и другие крупные специалисты, приехавшие в том же вагоне. Не на парад, не на шумное торжество собрался нарком:

— Вам доверили дорогое оборудование, платили золотом за него, отдавали нужные стране продукты питания, а сами туго затягивали пояса. Вы же не дали себе труда взять мокрую тряпку, чтобы стереть с машин пыль.— Вдруг в толпе встречающих замечает стройную девушку, такую знакомую, такую родную, что бросается к ней, обнимает ее, целует. Спохватившись вроде, спрашивает:

— Ты, Ленка?

Она смущенно и восторженно смеется, обнимая его:
— Сменный инженер Елена Джапаридзе.

Лена! Леночка... Дочь незабвенного Алеши, расстрелянного в числе двадцати шести бакинских комиссаров. Не пристало наркому плакать на людях, да что поделаешь?.. Не год, не два опекал семью погибшего друга — с тех пор еще, когда жену Алеши — Варо арестовали меньшевики и о двух маленьких девчонках некому было позаботиться, кроме тифлисских подпольщиков. С превеликим трудом переправили тогда детей в Москву... После окончания Энергетического института Лену приглашали в аспирантуру, в столичные учреждения, но она выбрала Магнитку. Родные упрашивали, отговаривали — ничто не действовало. Обратились к Серго: пусть он вразумит вместо отца, пусть скажет, как отец, то, что отец бы сказал. «Поезжай, дочка,— сказал Серго.— За Алешу». В трескучие морозы, на степном ветре, как все добровольцы, Лена долбила киркой закаменевшую землю, работала бетонщицей, строила плотину и машинный зал станции — той, что теперь с гордой радостью хозяйки показывала «отцу».

— Не жалеешь, что приехала сюда? — спросил Серго уже в зале центрального щита.— Какое у тебя впечатление от Магнитки?

— Главное все же не это...— Лена с лукавой многозначительностью оглядела пульты, приборы — панель за панелью.— Ребята наши собрались сюда со всех уголков, из деревень пришли по вербовке, многие в лаптях, с котомками. Виктор Калмыков, Егор Смертин, Женя Майков... Плотники Васи Козлова на сорокаградусном морозе возводили опалубку для кровли, под которой мы сейчас стоим. Горсовет специальным постановлением запретил работать на открытом воздухе при таком морозе... Инспектор по охране труда стаскивал с лесов... Ветер валил знамя бригады, а они прибили его покрепче...

А братья Галиуллины! Из деревни, где единственным грамотеем был мулла. На бетонировании фундамента коксовой батареи бригада их дала мировой рекорд — тысячу сто девяносто шесть замесов. В разгар смены оказалось, что не хватит песка. Тогда их соперники, уже отстоявшие смену, погрузили и прикатили три железнодорожные платформы... А Петя Ульфский! Мировой рекорд по вязке арматуры! Но рекорд продержался... один день. Побила бригада Васи Поуха... В котлованах под «бычки» плотины землекопы проработали больше суток подряд, выполняли встречный план — не уйдем, пока не сделаем. А бригадир упустил лом в ледяную воду. Стальной инструмент на строительстве металлургического гиганта был дороже золотого. Что делать? Бригадир Нурзулла Шайхутдинов разделся, нырнул, отыскал лом и... продолжал работать...

Лена умолчала лишь о том, как сама с подругой, когда здание электростанции не было достроено, начала сборку вот этого — центрального щита под открытым небом, как иностранные специалисты только головами качали, а смуглая порывистая девчонка-прораб в мужской кепке козырьком назад дневала-ночевала на площадке...

Не хуже Лены Серго знал, что Магнитка — непрерывный подвиг сотен тысяч людей. Знал, что на всем строительстве только четыре экскаватора. Знал, что немецкий инженер неистовствовал — и справедливо! — против монтажа котла электрической станции под открытым небом, а наши все-таки смонтировали, что американские инженеры требовали мощные подъемники для установки дробилки руды, а наши подняли без всяких кранов, простым, остроумным приспособлением двухсотшестидесятитонную дробилку на сорокаметровую высоту, что на монтаж коксохимического комбината иностранные фирмы запросили два года, а наши сделали меньше чем за год. Но перед лицом смертельной угрозы, надвигающейся на

страну... Серго требователен ко всем, как к самому себе,— до беспощадности:

— Народу нагнали как на строительство Вавилонской башни, а вам еще подавай! Разве числом навоюешь? Да с такой организацией и дисциплиной? Собирайте завтра слет ударников, рабочие подскажут, как быть...

Открывая слет, секретарь парткома спросил, кто выступит первым. Серго поднялся из президиума, спустился к рядам:

— Помню одну поездку в Сталинград. Увидел я завод — огромный, красивый, гигант из гигантов, кругом чистота, даже чище, чем у вас.— В зале засмеялись.— Помню, как мне удалось поговорить с инженерами, ударниками, рабочими — все заявляли: не выходит дело. На мой вопрос, сколько может механосборочная пропустить тракторов, один наш товарищ, бывший на фронтах гражданской войны, прекрасный рабочий, в то время уже инженер, говорил: «Больше семидесяти пяти тракторов не выдать. Нечего нам голову морочить, товарищи, мы техники, а не неучи...»

Что нам оставалось делать? Они техники, они люди науки, они проектировали завод, казалось бы, что они все должны были твердо знать. Однако, на наше счастье, вышло, что они не знали, вышло так, что этот завод теперь, как хороший часовой механизм, ежедневно спускает со своего конвейера по сто сорок четыре трактора.— Не чаял, а высказался в духе парадокса Эйнштейна: «Все знают, что невозможно. Приходит невежда, который не знает, что невозможно, и открывает».— По тракторной промышленности мы Германию, Англию и Францию к чертям послали, такого количества тракторов вся Европа не выпускает, а такого завода, как Челябинский тракторный, и Америка не имеет. Будет ли Челябинский завод выдавать бесперебойно тракторы и выполнит ли он свою программу? У меня нет ни малейшего сомнения в том,

что этот завод пойдет и будет работать не хуже, а лучше других, потому что весь опыт, который мы накопили за прошлые годы, мы используем у станков Челябинского завода.

Давайте перейдем к Магнитострою.

Когда впервые был поставлен вопрос, нужно ли строить Магнитогорский завод, чтобы уголь получать из Кузбасса, а руду отправлять в Кузбасс на другой металлургический завод, в Европе говорили: «Большевики делают новые чудачества — это ненормальные люди». И вот мы, по их мнению, ненормальные люди, строим Магнитогорский комбинат, а они, нормальные люди, свои домны тушат...

Сегодня вы имеете три домны, причем одна стала в ремонт, четвертая не закончена, имеете одну мартеновскую печь, вторая накануне пуска, имеете огромный блюминг. Но все это, товарищи, говоря откровенно и прямо, не закончено. Огромная станция, а вид у нее такой, как будто бы там вчера погром был...— кругом грязь, болото. Разве грязь является украшением?..

Ведь это позор! Построили гигант, вложили полмиллиарда рублей, поставили прекрасные машины, а грязи очистить не можем!

На тех агрегатах, на которых вы уже работаете, в особенности в доменном цехе, мы имеем аварию за аварией. Вы на второй печи в июне месяце показали прямо чудеса, домна шла ровно и давала свою проектную мощность. Если домна дает тысячу сто восемьдесят тонн, то это все, что можно было от нее потребовать, а вы давали и тысячу двести и тысячу триста и даже раз дали тысячу четыреста тридцать тонн. Значит, можете работать, значит, когда большевики берут себя в руки, они могут вести работу на домне! А почему это все время не делается? Просто потому, что не хватает выдержки, не хватает настойчивости, а эта настойчивость абсолютно

необходима, без этого вы огромными вашими агрегатами не овладеете.

В Москве я очень часто читаю телеграммы: вчера было две тысячи тонн, а сегодня — девятьсот... Оказывается — авария, которая произошла из-за того, что положили песок не такой сухости, как надо.

Неужели положить не сырой песок — это такая трудная задача, такая сложная техника, овладеть которой мы не можем?..

Шел с одним товарищем, меня никто не знал, его никто не знал, и увидели мы следующее. Стояли шесть женщин и работали блестяще — надо прямо сказать, что женщины ударнее работали, чем мужчины. Стоят эти женщины, лопатами копают землю, а один мужик, этакий верзила, сидит и смотрит. На мой вопрос: «Что вы здесь делаете?» — он отвечает: «Я бригадир».— «Где твоя бригада?» — «Вот она»,— и указывает на женщин.— «А почему ты не работаешь?» — «Я бригадир». Я боюсь, что он себя даже ударником считает!

Таких явлений на Магнитке немало. Почему? Люди не хотят работать? Неверно. Наши рабочие — это лучшие рабочие во всем мире, ибо они сознают, что на себя работают. Магнитка — это собственность рабочего класса. Разве нельзя организовать этих рабочих? Можно. Кто должен организовать? Бригадир — низшее звено. Как же может организовать этот здоровенный детина, которого мы видели, когда он сидит, а женщины копошатся в земле? Кто будет относиться к нему к уважением? Думают: «Вот дармоед смотрит за нами!»...

Не спится среди ночи наркому. Не от грохота прокатных цехов по соседству, нет! Под грохот ему сладко спится. Бессонница мучает, когда в цехах тишина. Но на этот раз, на Магнитке...

На Магнитке!..

Усердно демонстрируя перед Зиной, притворившейся спящей, что крадется, он выбирается из вагона. Смотрит — не насмотрится на завод. Не так давно в грудах своих книг обнаружил «кирпич», вышедший под редакцией академика Семенова-Тян-Шанского. И там поразило вот что: «Когда месторождение железной руды совсем не имеет поблизости леса, как, например, богатейшая гора Магнитная, то постройка доменных печей в таких местах считается невозможной». Иного мнения держался комсомолец Лященко, приславший на стройку телеграмму: «Директору мирового гиганта. Я ударник. Имею даже премию за хорошую работу. Желая буксировать Магнитогорск, прошу Вашего распоряжения прибыть на мировой гигант. Ответа не пишите, потому что наша бригада уже снялась с Москвы и едет до Вас»...

Ночь ясная, сухая, не остывшая от дневного зноя. В вышине домны дышат — присвистывают, отдуваются султанами пара. Льется в ковш чугуновоза огненная струя, хлещут искры, сказочное облако озаряет бетонные своды, расплывается по перистой зыби неба. Рядом с двумя действующими и остановленной на ремонт — строящаяся домна. Опоясана лесами. Подперта мачтами «дерриков». Облита светом прожекторов. Ручища крана подает наверх кусок такой трубы, в которой уместится, верно, вагон наркома да еще, пожалуй, для паровоза место останется. На высоту — туда, где ничего нет, где только небо да звезды,— взбирается человек в брезентовой робе, светится в перекрестии лучей. За что держится? Не понять. Ловко орудует. Покрутит рукой — многотонное кольцо плывет вверх, взмахнет — кран опускает ношу, сделает руки крест-накрест — вздрогнув, замирает махина. Под ней — хвостатые молнии электрической сварки. Багрянобелесое полыхание горнов на лесах. Пунцовые многоточия раскаленных заклепок. Кольцо становится вершиной громадного, этажей в тридцать, «самовара», на века оста-

ется там, где только небо да звезды. Ну, может, и не в тридцать?.. Но так хотелось, чтобы выше, выше!.. Хотя такие работы по ночам запрещены — и по ночам строят. И их Гитлер торопит. Понимают. Люди — золото! Мог бы — все на свете им отдал. Да не надо им ничего. Не корысти ради. Высокие цели — интересная жизнь. Не зря мир назвал этот завод русским чудом.

Однако. Подул ветер — и все заволокло едкой дымкой. Звезды на небе точно заглохли. Пыли на Магнитке хоть отбавляй. Горячие ветры несут ее из уральских степей, из Казахстана. Но это пустяк по сравнению с тем, что выхаркивают коксовые батареи, домны...

На зорьке, пока сопровождавшие спали по своим купе, Серго выбрался из вагона, погрозил охраннику, чтоб не поднимал шум, ушел в рабочий поселок. Ходил меж рядами бараков, тяжко вздыхал, клял себя: разве это жилища? Разве таких достойны главные герои эпохи? Резанули, вспомнившись, строки, написанные им на этапе: «Еду сегодня дальше под лязг и бренчание моих кандалов и чувствую себя как камень». Именно такое сейчас состояние... За окном углядел семью — жена с мужем собирались чай пить. Постучал.

— Чего надо? — Встретили неласково.

— Простите, пожалуйста. Вот приехал, ищу работу. Как тут?

— Ты что, слепой-глухой, что ли? — Муж обвел взглядом убогое убранство барака, застиранные занавески, отделявшие семью от семьи.— Хреново тут. Садись, коли пришел. Нюра, плесни ему.— Подвинул по дощатому, добела отскобленному столику небольшой кусок хлеба в сторону алюминиевой кружки, предназначенной для пришельца.

Серго деликатно отстранил хлеб: ведь он по карточкам, а кипяток, приятно пахнувший морковью, с удовольствием пил.

— Значит, хреново?

— Начальства кругом — пруд пруди, а порядка... Зарабатываем средственно. Мы с Нюрой приехали из Макеевки — подкрепление Магнитке от Донбасса. Я горновой, Нюра — на обрубке в прокатном. Да куда их девать, денежки? Намантулишься у печи — беги на другой конец в хвост к магазину! А хлеб-то какой! Ты протведай для интересу.

Серго бережно отщипнул от ломтика:

— Горчит, полынью отдает. Засорены поля уральские...

— Это бы еще полбеды. Глянь, какой он кляклый. Воду от души льют, ворье! Истинно — кирпич. Ровно глину замешивают.

— А бани какие! — подсказала Нюра, проворно прибирая со стола.— А вода! За одним ведром настоишься к колонке. То идет, то нетути. Несмашная, тепленькая и осадок — вон какой в кружке...

Секретарь Уральского обкома Кабаков, секретарь горкома, председатель исполкома и начальник строительства настигли народного комиссара на проспекте Металлургов. Орджоникидзе стоит возле хилого деревца. И листочки и ветки плотно залеплены бурой пылью. Точно и так не ясно! Серго проводит носовым платком по оконному стеклу в первом этаже нового дома, укоризненно предъявляет грязные полосы подошедшим, задирает голову, приглашая полюбоваться фасадом — ни открытого окна, ни форточки! Это в июльское, по-южноуральски знойное утро. Пыль шибает в глаза, скрипит на зубах.

— И вы называете это соцгородом? — Серго обращается сразу к четверым, прожигает взглядом.

Все наперебой оправдываются: проект утвержден там, где следует. Создавали его на бегу. Не успели изучить розу ветров, положились на данные по соседнему Белорецку. Американцы подвели с технической документацией: непривычны для них наши темпы...

— Дорогие мои! — На лице Серго саркастическая улыбка.— Ай, спасибо Колумбу! На кого бы мы сваливали вину, что торговля плохая, не открой он Америку? Кто ответил бы за то, что вода в бане холодная, а на улице парная? Конечно же дядюшка Сэм виноват, что на хлебозаводе у нас преступники! Слушайте, товарищ Кабаков!..— Ого! На «вы» перешел...— Того, кто украл мешок пшена, мы сажаем. А как поступать с теми, кто доверие к партии, уважение к Советской власти расхищает? С ворами, устроителями делишек, с чванливыми бюрократами, сановными казнокрадами — война! Война, как с антисоветчиками, антикоммунистами! Или они нас — или мы их. С ними не будет у нас Магнитки. С ними не будет у нас будущего. Кабаков!.. Ты же старый партиец. Неужели ты этого не понимаешь? — Теперь Серго берется за начальника стройки: — Вы читаете труды академика Павлова Ивана Петровича?

— Физиолога?.. Я — строитель.

— Я — тоже строитель... Очень полезное чтение: «Какое главное условие достижения цели? Существование препятствий...» Что ж... Каждый работает на уровне своей некомпетентности... Нет, вы только посмотрите на него!.. Приглашаешь хозяйственника, просишь: «Возьми, дорогой, такую-то программу». Мнется, не хочет. «Почему, дорогой?» — «Не выйдет».— «Почему не выйдет? У тебя такое оборудование, такие материальные ресурсы, не считая резервов души!» — «Не выйдет!» — И все тут, хоть расшибись перед ним. С этим сакраментальным «не выйдет» уходит, с этим заклинанием живет, ест, спит. Ну конечно же у такого ничего не выйдет!

— Легко сказать, товарищ Серго! Помогли бы.

— Разве не помогал? Ни один магнитогорец не может отрицать, что вся страна помогала строить Магнитогорский завод, страна ни в чем не отказывала Магнитострою. Магнитострою — лес, Магнитострою — металл, импорт —

все шло на Магнитострой. Магнитка стала знаменем страны... И теперь, будьте уверены, не сомневайтесь, не дадим уронить знамя. И помощь ближе, чем вы думаете. У меня в вагоне. Да-с... Вы — как хотите, а я — как знаю. Директора комбината снимаем, назначаем Завенягина. Будет у вас хлеб добрый, будет вода вкусная — и металл пойдет как надо. А вы почитайте, пожалуйста, труды академика Павлова и доложите мне, какие выводы сделаете...

Вечером Серго должен был уехать, но пришлось задержаться. Далеко за полночь сидел в его вагоне санитарный врач города. С удовольствием потягивал кофе, предложенный наркомом, с глубоким знанием дела рассуждал о розе ветров, о том, чем бы помочь Магнитогорску. Человек, поживший и повидавший, работавший на Урале еще при настоящих, как он выразился, хозяевах, смолоду не чуждый политики, мечтаний о всеобщем братстве и благоденствии, рассказывал немало поучительного. Между прочим, и о крупнейшем чаеторговце Высоцком, который запрещал своим людям давать взятки акцизным и объяснял почему: «Поблажками погубят чай». Под конец сочувственно вздохнул, развел руками:

— Завод есть завод. Город Солнца только в книгах.

«Город Солнца» Серго прочитал еще в Шлиссельбурге и помнил, как захватила мысль Кампанеллы об идеальном содружестве людей,— то, о чем мечтали утописты, больше всего любившие человека, жаждавшие счастья для него. Город Солнца... Там нет праздных негодяев и тунеядцев, люди здоровы, всесторонне развиты трудом, трудом славны, добры, счастливы. И там чисто, красиво, светло...

— Да,— нехотя согласился.— Мечта и действительность... Грош нам цена, если украшаем землю бараками, если позволяем быть городу, на который ежеминутно рушится пыльная лавина. Да еще называем его соцгоро-

дом! — Обратился к столу, где лежал план местности с розой ветров.— Надеюсь, ваша «роза» не бумажная?

— Ручаюсь.

— Ухитрились поселить людей на дороге пыльной бури!

— Уж так у них вышло.

— Не «у них» — «у нас». Пора нам отвыкать от привычки искать виновников плохой работы на стороне... Во-первых, запрещаю строить бараки. Во-вторых... Что, если перенести вот сюда, скажем, а?

— Перенести?.. Город?!

— Иначе никакие Магнитогорски и не нужны...

Еще одно дело сделано — пора ехать дальше. Путь лежит в Челябинск — на тракторный, на электрометаллургический, а потом в Кузнецк. Поскорее бы свидеться и с этим чудо-детищем, с душой его — Иваном Бардиным. И еще какое-то странное нетерпение смущает Серго: в Кузбассе надо побывать на старом Гурьевском заводе. Зачем? Трудно объяснить, но надо. Когда-то для всей России он делал кандалы — те самые... Но Серго мешкает с отъездом. Смущенно оправляет парусиновый костюм, легкую фуражку, виновато отводит взгляд от настороженно торопящего Семушкина. Так хочется снова пережить плавку — и тем более на Магнитке. Нет, не может он, не в силах отказать себе в этом удовольствии...

Горновой Шатилин занял место у летки, возле пушки.

А подручный доложил:

— Канава просушена.

Неторопливо надвинул Шатилин войлочную шляпу с маленькими синими очками, приник к рукоятям, направил пушку в огненную пробку. Сверлил, гудел машиной, покрывая рев печи, вдруг...— Всегда забываешь в тот миг о болезнях и скорбях, всегда ждешь его, и всегда неожиданно, вновь! — Ка-ак жахнет. Взрыв. Ни Шатилина, ни литейного двора, ни тебя самого на белом свете. Пламя.

Искры. Клубы дыма. Серго невольно вцепился в рукав Семушкина. Огненное облако начало таять. Из него вынырнул краснорожий довольный Шатилин, откашлялся, отхаркался черным, усмехнулся:

— Не спи — вставай, кудрявая! — Вытащил из необъятных недр толстой робы измятую пачку папирос «Бокс».

Клокочущей огненной рекой послушно течет живой металл.

Конечно, Гитлер превратит всю Европу в Шлиссельбург, если не помешает Шатилин. Незатейлив на вид. Некорыстен. Неприхотлив — самые дешевые, «гвоздики», курит... Если б я мог, я б каждый день дарил тебе коробку «Гаваны», поселил бы тебя в Версальский дворец... Прости, Шатилин. Потомки оценят... Стоп! Что значит «потомки»? Что значит «если б я мог»? Ты что — малокровный? Мямля или министр? Конечно, пришлось отдать Америке за Магнитку последние штаны. Конечно, приходится идти на жертвы. И все же! Топор, построивший дом, за порогом стоит. Увенчивай героев не в могилах — при жизни воздавай должное. Как хочется видеть его счастливым, этого Шатилина! Да, он счастлив! Ни в каких Версалях нет подобных счастливцев. Все возьмет на себя, все примет. Всегда, всюду выстоит, выручит. Пуще собственных блюдет интересы Отечества и не требует за то ни чинов, ни наград. Надо делать то, что надо,— и делает...

Клокочущей огненной рекой — тяжко и грозно идет живой металл. За Алешу Джапаридзе, Ладо Кецховели, Самуила Буачидзе, за Ивана Бабушкина, за всех, кто не дожил, не дошел. За Ильича... Что такое героизм, как не перевыполненный долг? Сполна платит Шатилин — из вахты в вахту. А ты? Так ли ты живешь, как Шатилин?

Клокочущей, волшебной рекой шествует живой металл... Словно открывает грядущее, подвластное ему. Вот придет сорок первый — Алексей Леонтьевич Шатилин

со товарищи добудут комсомольско-молодежной домне номер три звание «Лучшая доменная печь Союза ССР». Вот в первый день войны позвонит нарком Тевосян: дайте снарядные заготовки и броню для танков. Вот — никогда еще не бывало! — на блюминге катает броневой лист Магнитка. Гитлер прет на Москву, на Донбасс, на город Ильича. А Шатилин в Гитлера — рраз, рраз! — из леточной пушки. Идет металл, плывут по рольгангам раскаленные слитки. Строится пятая домна. Шестая. Каждый третий снаряд, каждый второй танк наш кует Магнитка. Из десяти ее домен Шатилин задует шесть. А потом, как когда-то ему помогали немецкие, голландские, американские рабочие,— он поможет индийцам поднять их металлургический гигант. Неспроста Бхилаи назовут индийской Магниткой. Не случайно то, что появится у нас величественное и прекрасное, станут называть Магниткой — Южной, Северной, Липецкой, Казахстанской, Дальневосточной...

Серго подходит к Шатилину, пожимает руку, обнимает:

— Спасибо, сынок.

— За что?

— За все.

О будущем мечтают, о прошлом вспоминают, в настоящем действуют... Опять он ехал в Сибирь — третий раз в жизни. Курган, Петропавловск, Омск, Новосибирск, Кемерово... Ощущение громадных возможностей и ничтожности сделанного не покидало его. Не отходил от окна вагона:

— Нет, ты только посмотри, Зиночка! Одни Барабинские степи могут кормить всю Сибирь, а они у нас в таком состоянии!..

— Но ведь и дождей здесь мало и тепла не хватает,

— Со временем и дождей хватит и тепла для тех растений, которые создадут люди...

В Кузнецк приехали вечером тридцать первого июля. Тут же Серго встретился с Бардиным и секретарем Западносибирского крайкома Эйхе. А на следующий день с утра пошел по городу, по заводу — к домнам, мартенам, блюмингам. Уже к половине одиннадцатого стало изнуряюще жарко. Утомились сопровождавшие, которые как-никак за время строительства успели привыкнуть не только к сибирским морозам, но и к сибирской жаре. Да и Серго сник, несмотря на кавказскую закалку. То Бардин, то начальник строительства Франкфурт предлагали прекратить обход. Но разве можно прекратить?..

Осмотрев электростанцию, Серго задержался у центрального щита, ехидно подмигнул:

— Вижу, основательно готовились к встрече. Верно, магнитогорцы предупредили? Все подкрашено, подметено, подчищено.— Подозвал начальника станции к подоконнику, на котором были придушены окурки: — Нет, дорогой, бескультурье не спрячешь, тем более бескультурье высшего технического персонала. И чистота и порядок не только по случаю приезда наркомов нужны...

Бардин заступился:

— Очень трудно поддерживать порядок, наши люди еще так малокультурны и не привыкли к производственной обстановке.

— Нельзя на это ссылаться! Да, правильно, если им дали высшее образование, это еще не значит, что они его получили. Но вы должны всех, и в первую голову инженеров, приучать к культурной работе. Культурными не рождаются...

В детском саду ребятишки узнали Серго по портрету. Полезли со всех сторон — усы дергали, одна девчонка — даже пребольно. Долго не отпускали — требовали поиграть в Буденного — Ворошилова...

Четыре этажа нового дома обошел сплошь — по квартирам. Говорил с рабочими, возвратившимися после ночной, с их женами, с домовничавшими старухами. Сколько и каких продуктов «дают» по карточкам? Долго ли приходится стоять в очередях? Какие учителя в школах? «Неудов» много у детей? А болеют часто? А врачи ходят по квартирам или только в поликлинике ведут прием? А парикмахерская почему закрыта? Молодые люди — влюбленные, где встречаются? Почему отделение милиции в жилом доме? — Рассердился.— Хулиганов сюда притаскивают, пьянчуг разных на глазах детворы! Немедленно уберите из жилого дома. Кстати! Во время революции пятого года в Москве на Пресне рабочие закрыли все винные лавки, все кабаки. Разве наше время менее революционно, менее ответственно?..

Серго был разочарован увиденным. Особенно худо обстояло в доменном цехе. Попросил собрать коллектив после дневной смены. При всех спросил Бардина, почему так плохо идут дела. Спросил для порядка, заранее зная ответ: сейчас Бардин сошлется на низкое качество материалов, на перебои в работе транспорта, в подаче энергии. Но Бардин не спешил с этим.

Внушительно строгий. Благообразно основательный. При всей своей простоте и доступности — величественный. При всей скромности — знающий себе цену. Словом, тот самый, кому уже суждено, став вице-президентом Академии наук, записать в качестве одной из основных дат жизни и деятельности «1932 — пуск первой домны Кузнецка». Огляделся, остановил взгляд на сидевшем рядом Киселеве, начальнике доменного цеха, ближайшем друге своем и сотруднике.

— Так чего же вам не достает? — поторопил Серго.

Бардин молчал, виновато глядя на друга.

— Я жду, Иван Павлович.

Тяжко вздохнул, но произнес твердо, жестко даже:

— Начальника доменного цеха.

Киселев отшатнулся на стуле, будто от удара под дых.

Растерявшись и смутившись, уже понимая причину бардинского смущения, Серго все же кивнул на Киселева:

— А это кто?..

— Нужен Курако.

— Ну, дорогой Иван Павлович!.. Так далеко власть наркомов не простирается — не могу воскрешать мертвых.

— Я не шучу, товарищ Серго. Есть на примете один кураковец... Котов. Сейчас он на юге. Нужно, чтобы он был у нас. Я уже не говорю о том, что вы до сих пор не выполнили свое «твердое» обещание — до сих пор не прислали к нам в качестве директора комбината Константина Ивановича Бутенко.

— Каюсь. Исправлюсь немедленно. Говорю не шутя...

Пока телеграфировали и снаряжали за Котовым самолет, Серго вместе с Эйхе созвали партийный и хозяйственный актив.

Серго говорил:

— Посмотрите на свой мартеновский цех: это последнее слово техники, и не только последнее слово техники. Такого крупного мартеновского цеха (мне передавал товарищ Бардин) в Европе нет. Блюминг, который у вас стоит,— таких блюмингов немного в мире, очень мало, кажется, десятка нет. Дальше, возьмите ваш рельсобалочный стан... Во всем мире второй...

Как ни умна машина, а некоторые машины страшно умны, пожалуй, даже умнее нас многих, несмотря на это, все-таки машина без человека не идет. Требует хорошего работника, хорошего, грамотного инженера, техника, хорошо воспитанного рабочего. Очевидно, без этого ни черта не выйдет из хорошей машины. Выйдет буквально то же самое, что вышло у мартышки с очками, когда мартышка очки то на нос надевала, то на хвост...

У нас в системе управления безответственность, много начальников, эти начальники друг на друге сидят и не поймешь, кто распоряжается, чье распоряжение надо выполнить, а чье нет. А так как вообще выполнять распоряжения не особенно любят, то никто и не выполняет, поэтому получается не единоначалие, а какая-то путаница...

Чепухи у нас бывает очень много, глупостей бывает очень много, но, если взять все в целом, мы можем гордиться: такого крепкого правительства, которое держит в руках бразды правления, как у нас, нет нигде.

Когда нужда припрет, мы все умеем делать. Гражданская война была. Хотели у нас отнять Советскую власть, мы заделались командирами, воевали, полководцами стали, побили белогвардейцев, несмотря на то, что вся наука на их стороне была. Понадобились нам тракторы, мы нажали на это дело — имеем тракторы.

Больше того, в прошлом году, когда на Дальнем Востоке стало тревожно, а там и сейчас неспокойно... товарищ Сталин позвал нас и сказал: кто его знает, нападут на нас, не нападут, но мы должны готовиться для того, чтобы на нас не напали, а если нападут, чтобы мы сумели отстоять свою страну. Что надо для этого сделать? У нас самолетов мощных в достаточном количестве нет — надо их построить. Моторов большой мощности у нас нет, что ни покупали за границей, все оказывалось устарелым.

Без всякого хвастовства, без всякого преувеличения скажу: в течение каких-нибудь пяти-шести месяцев мы добились величайших успехов, сейчас имеем самолетные моторы, которые не уступят, во всяком случае, тем государствам, которые иногда косо поглядывают на нас.

Встал вопрос о том, что нужны не только самолеты, нужны танки. Мы развили такую лихорадочную работу и при помощи наших старых и молодых инженеров за

каких-нибудь опять-таки полгода добились блестящих успехов.

Когда мы в октябрьские торжества и в мае этого года пустили шеренгу в несколько сот больших танков, все эти атташе — представители наших «дружественных» государств — посмотрели на эти танки и сообщили, наверное, своим министерствам: шутить с большевиками дело нешуточное...

Тем временем прилетел Котов. Кузнецкий доменный цех сразу ему приглянулся. Просто, как сам он признался, влюбился в домны-великаны с первого взгляда. Но от работы на них наотрез отказался:

— На вашей системе оплаты не вытянешь.

— Что же вы предлагаете? Какие условия ставите?

— За каждый пуд готового чугуна мне — полкопейки, обер-мастеру — копейку, горновому — полторы, ну и так далее: всем, до последнего подметалы. Конечно, о таких домнах Курако мечтал... Поработать на них — честь и счастье. Но ведь хлеб у нас пока что не бесплатный. И штаны — тоже. И сапоги.

— Что ж... Резонно, дорогой. Только я один решить это не могу. Не дано мне нарушать законы. Не спеши уезжать, созвонюсь с Москвой...

Москва разрешила: в порядке эксперимента. И доменный цех Кузнецка, а с ним и весь комбинат, при главном инженере Бардине и директоре Бутенко, стали быстро набирать силу.

ПОВЕРИТЬ В ЭТО НЕЛЬЗЯ, ДАЖЕ УВИДЕВ

Тысяча девятьсот тридцать четвертый — такой же, если не больше, звездный, как предыдущие. И в то же время трагический, словно перечеркнутый убийством Кирова.

Киров!.. Кирыч!.. Будто опрокинул Серго тридцать четвертый. Поверг в апатию, прострацию. Заставил впер-

вые, будучи здоровым, не выйти на работу. И все же главное в тот год — съезд партии.

Съездом победителей назвали Семнадцатый. Но вторая пятилетка требует от тяжелой промышленности удвоить продукцию и капиталовложения, дать все необходимое транспорту, легкой, пищевой, лесной промышленности, завершить реорганизацию сельского и всего народного хозяйства, укрепить оборону, расширить производство предметов потребления, повысить организованность.

Новые трудности — новые заботы — новые радости. Ай, молодец уральский секретарь Кабаков Иван Дмитриевич! Вот уж истинно неизменный друг промышленности. Большая доля его «вины» в том, что Челябинский тракторный построили отлично — и работает отлично. Если бы все заводы так! И Краматорский, и Сумской, и тот же Ижорский... Куда это годится, если на таких заводах в течение семичасовой смены работают по пять часов, остальное — перекур? А качество?! Беда не в том, что не умеем или не можем. Прежде всего не хотим, прежде всего наше исконное тяп-ляп — небрежность, безответственность. Нет уважения к своей продукции, к своему труду. Любой захудалый капиталист накладывает на свою продукцию марку и следит, чтобы эта марка не была опозорена. Мы же... Лишь бы сбыть с рук... А расход металла? Тоже ведь качественный показатель. Варварски расходуется у нас металл, слишком много уходит в стружку. Это в то время, как черная металлургия все еще отстает!

Все эти заботы обуревают Серго, не считая ежедневного бдения в наркомате: от государственных проблем до «мелочей», также принципиальных. Идет, к примеру, заседание коллегии, всполошенные начальники главков жалуются, что не могут сказать ничего определенного о положении на заводах сегодня. Антон Северинович То-

чинский поясняет, что всех лишили междугородной телефонной связи. «Кто лишил?» — вскипает Серго. Поднимается начальник административно-хозяйственного управления Уралец, докладывает с гордостью: «В порядке экономии».— «С этого момента ты больше не являешься моим сотрудником». После заседания Антон Северинович, взяв на подмогу Винтера и уповая на отходчивость паркома, просит помиловать Уральца.— «Ни в коем случае! Не беспокойтесь, подыщу ему должность по его уровню и достоинствам, но на этой он оставаться не может».

Если бы Кирыча не убили в том году!.. Кажется, только что выступал на съезде партии. С такой страстью, с таким пламенем! Так хорошо начинался год... Готовясь к съезду, идя ему навстречу, как стало принято говорить и писать, отменили карточную систему. В Москве строили метро, вовсю работали над генеральным планом реконструкции...

Тринадцатого февраля льды Чукотского моря раздавили пароход «Челюскин», экипаж которого так и не смог одолеть Северный морской путь за одну навигацию. Началась челюскинская эпопея. Водопьянов, Доронин, Каманин, Леваневский, Ляпидевский, Молоков, Слепнев полярной ночью, в пургу, летали с Чукотки на льдину, затерявшуюся среди торосов. Летали, как казалось многим, на голом энтузиазме, на одном желании и честном слове.

Но Серго знал, не на голом энтузиазме, не на одном желании и честном слове. И оттого радовался вдвойне. Туполевский АНТ-4, он же тяжелый бомбардировщик, поликарповские Р-5, они же разведчики, с наиновейшими, наисовершеннейшими мощнейшими моторами летали, садились и взлетали там, где заграничные машины, с такими же пилотами, летать не могли. За один рейс туполевского бомбардировщика, состоявшего на вооружении Красной Армии, Ляпидевский вывез из ледового лагеря

Шмидта всех женщин с малолетней Аллочкой Буйко и новорожденной Кариной Васильевой.

Челюскинская эпопея показала и наши слабости. Еще предстоит совершенствовать и совершенствовать авиацию — поменьше уповать на безотказность и героизм людей, поменьше выезжать на этом. Думать и думать прежде, чем решать и действовать. Разве не ясно было заранее, что «Челюскин», задержавшийся с отплытием из-за неполадок машины, не готов к рейсу, что предпринимается попытка решить важнейшую народнохозяйственную задачу негодными средствами, полагаясь на «авось»? Потеряли красавец пароход, только что построенный в Дании, уйму средств, рисковали жизнями многих людей.

Тем не менее. Не вся правда здесь. Страна сплотилась в дерзком порыве спасти людей, спасала челюскинцев, ничего не пожалев, ничего не утаив. Справедливо один из умнейших людей века — Бернард Шоу заметил, что полярную трагедию мы превратили в национальное торжество.

Именно! Челюскинцев встречали не только цветами и песнями, не просто объятиями, хлебом-солью, но и трудовыми подарками.

Конечно, штурм высот без потерь не обходился и не обойдется, но хотелось бы — так хотелось бы! — штурмовать без штурмовщины, соизмеряя, сообразуя, согласуя «хочу», «могу» и «надо».

Вот и с Комсомольском-на-Амуре наломали дров, стараясь бежать впереди себя. Да еще амбиции местных вельмож припутались к делу... В тридцать первом по решению Политбюро, по рекомендации Серго инженер Каттель, отлично зарекомендовавший себя главным на Магнитке, был назначен начальником строительства больших заводов на Дальнем Востоке. И вскоре предложил переименовать селение Пермское, где пошла стройка, в Комсомольск. Действовал успешно и грамотно, ис-

пользуя опыт Магнитки. Серго помогал, поддерживал:

— Иди вперед без оглядки и помни, что за тобой стоит ЦК партии, правительство и весь наш наркомат.

Краевым властям, однако, это пришлось не по вкусу: как так? Такое громкое дело увели из-под рук. Вместо помощи начались придирки, утеснения, требовали, чтоб Каттель поставил перед Москвой вопрос о передаче строительства в ведение края: Наркомтяжпром-де не может обеспечить Комсомольск всем необходимым. Каттель наотрез отказался. И тогда Каттеля обвинили в том, что он будто бы уничтожил Советскую власть и распустил Совет в поселке Пермском, исключили из партии.

Узнав об этом, Серго пришел в ярость: вот вам образец махрового местничества! Тут же поставил на Политбюро вопрос о неправильном исключении инженера Каттеля из партии и об извращении принципов партийной чистки на Дальнем Востоке. Немедленно было отменено решение крайкома. А когда Каттель приехал в Москву, Серго накинулся и на него:

— Па-ачему молчал?! Па-ачему я должен от других узнавать, что с тобой обошлись по-свински?!

— Хотел сам повоевать.

— Хм!.. Сам — это хорошо.— Успокаиваясь, с улыбкой Серго добавил: — Я прощаю — дело не прощает, не терпит...

Со временем обстановка в Комсомольске нормализовалась, а строительство наладилось. И Серго «бросил» инженера Каттеля на очередной прорыв. Нынешней весной, в марте, поставил во главе строительства Челябинского завода крупных станков, без которых немыслима современная индустрия. Как всегда, строить надо было «еще быстрее» — и Каттель предложил заменить монолитный железобетон сборным. Тут же посыпались новые шишки, прежде всего из проектных организаций. Но вопреки протестам инженер начал воплощать задуманное. Чтоб

дышалось ему повольготнее, Серго на официальном бланке написал:

«*Тов. Каттелю*. Предлагаю Вам в порядке производственного риска — для опыта — строить механосборочный цех из сборных конструкций. Ответственность за это принимаю на себя. *Орджоникидзе*».

Тронутый такой заботой, Каттель подступил к столу наркома:

— Спасибо, товарищ Серго, но я абсолютно уверен в успехе.

— Знаешь, дорогой, всякое новое дело чревато неожиданностями. При первой же неудаче на твою худую шею начнут вешать всех собак. Так пусть уж лучше вешают на мою. Она у меня потолще твоей...

О многом заставил задуматься, многое пересмотреть, переоценить тридцать четвертый год. Если Ильич не терпел суеты напоказ, шумихи, сенсационности вообще и применительно к Октябрю, делам послеоктябрьским особенно, то не меньше вредны они и теперь.

Дела, думы, загады... И вдруг, первого декабря,— убит Киров.

Свалился Серго, не выдержал, обессилел: все зря, все напрасно. Гори синим огнем белый свет — состояние, как в шлиссельбургском карцере, когда хотелось покончить с собой. День лежит — не может, не хочет подняться. Два лежит. И если встанет — лучше б не вставал. Пройдет мимо белоснежной, привычно прибранной постели Кирыча — дрогнет. Глянет на ту фотографию, где они с Кирычем в обнимку,— слезы из глаз. Да что ж это такое? Да как же так можно?! Что-то неладно у нас, не так, не то...

Все вокруг напоминало Кирыча — бередило душу, словно свою собственную смерть оплакивал. Здесь толковали о том, как поскорее осваивать Север, и в первую очередь богатства района Норильских озер на Таймыре.

Вон там Кирыч сидел, а я на этом диване... Здесь поспорили, какие подводные лодки нужнее — малые или большие. Здесь о проектах новых станков и турбин, о целесообразности замены дефицитных сплавов пластмассами — тоже спорили. А вон книги Крылова, труды его, очерки «Теория корабля», «Мысли и материалы о преподавании механики», «Гибель линейного корабля «Императрица Мария», «Теоретическая астрономия» Гаусса в переводе Крылова — все Кирыч привез. И модель нового танка, и модель нового танкера, и образцы ижорской стали, карельской березы, хибинских апатитов — тоже он привез, его подарки!.. И эти фотографии сборки стальных гигантов на Металлическом, на «Электросиле», на Балтийском... И подробнейший доклад Николая Николаевича Урванцева о проведенных на Северной Земле и Таймыре исследованиях, с геологической картой района Норильских озер...

«Да, Таймыр — это клад, это прежде всего никель, а никель — это танки, это броня. Поскорее надо браться обеими руками за Таймыр. Непременно! В память Кирыча. Эх, вызвать бы Завенягина — с ним поговорить реально, посоветоваться, как подступиться, как сделать...»

Приходили доктора, приходили Стасова, Куйбышев — утешали, как могли, а того больше скорбели вместе. На третий день пришла Надежда Константиновна. Старенькая. Седая. Присела на край дивана, пахнув чистотой и опрятностью. Молча переглянулась с Зиной, оправила блузку, должно быть, не находя места рукам:

— Как же вы так?.. Нельзя так... Третий день без еды...— Вновь посмотрела на Зину. Потом: — Когда умер Ильич, горевали так, что печи потухли, и Москва могла остаться без хлеба. Пришлось напомнить: горе — горем, беда — бедой, а хлеб — хлебом...

Подумалось: «Похоже на притчу. В самом деле, пора бы и мне к печам...» Хотел встать, но не смог.

Нет, не в том суть, что рассказала Надежда Константиновна. Просто с ее приходом почудилось, будто Ильич проведать пришел. Сила духа его и воли нахлынула, строй и лад его души вспомнились. Все же провалялся еще день. Только на пятый вернулся в наркомат. Как раз под выходной — дел накопилось невмоготу, нельзя дольше откладывать. Сотрудники тут же заметили, как постарел, осунулся нарком. Куда подевались недавняя энергичность, порывистость, жизнерадостность? Слушает, слушает тебя, да и задумается — уже нет его с тобой, лицо вроде померкло. А седина?! Вылезла бессовестно — всего за пять дней, а сколько отхватила!

Понемногу все же втянулся. И вот уж опять вперегонки пустился со временем, с их величеством судьбой и самой смертью...

Сердце невежды там, где крик, сердце мудреца там, где плач. Под приглядом Серго всю оборонную работу Наркомтяжпрома ведет Главное военно-мобилизационное управление и начальник его (он же душа) Иван Петрович Павлуновский.

Проводив за московские крыши по-весеннему гревший сквозь окно закат, Серго кивает Семушкину: никого не принимать, ни с кем не соединять, возвращается в свой кабинет, продолжает срочный отчет Центральному Комитету о том, как в результате решения двух серьезных задач значительно усиливается боевая мощь военного флота. Эти задачи — массовая постройка современных подводных лодок и торпедных катеров. Пишет: «Уже построены 84 лодки, еще 72 находятся в постройке и будут закончены в 1935 и 1936 годах. Причем 1936-й станет рекордным по введению подводных лодок — 47 новейших, включая «Л-55». Эскадренных миноносцев вместо 29 единиц будет 54. 6 уже построенных корпусов разобрали

и отправили на Дальний Восток. Построено также 122 быстроходных торпедных катера, из них 90 в течение последнего года...»

Дописав, перечитал, подправил, просмотрел еще девять страниц с рядами фамилий и просьбой наградить выдающихся конструкторов и организаторов производства военных судов, приколол к отчету.

Однако... Гитлер возрождает запрещенные мирным договором военно-воздушные силы, ввел всеобщую воинскую повинность, заявил: «Как мы, так и большевики убедились в том, что между нами существует пропасть, через которую никогда не может быть мостов... Мы являемся злейшим и наиболее фанатичным врагом большевизма». Да-с. Так-то, дорогой товарищ Серго! А ты тем временем изволил прохлопать с артиллерией... Мало ли, что военные не могут решить, какая артиллерия нам нужнее — универсальная или специализированная. Ты — в ответе прежде всех. Ох, до чего ж верно говорят французы! — Война слишком серьезная вещь, чтобы доверять ее генералам.

Снял трубку:

— Иван Петрович! Загляните ко мне, пожалуйста.

Пока Павлуновский шел, Серго перебирал в памяти то, что предшествовало этому вызову. У Наркомтяжпрома было конструкторское бюро, где работали германские специалисты и молодые наши. Выделялся Василий Грабин, который бунтовал против иностранной традиции — за то, чтобы на базе прославленной русской трехдюймовки создать современную дивизионную пушку, истинную, как он выражался, косу смерти для наших врагов. После прихода Гитлера к власти немцы уехали, а конструкторское бюро перебралось в новый корпус и опытный цех, которые выстроили по заданию Серго. Однако модной становилась идея универсализма. Грабина, стоявшего на том, что не следует делать пушки, которые должны слу-

жить и полевыми и зенитными, потому что это снижает их боевые качества и в той и в другой ипостаси, заставили конструировать полуунпверсальную систему с громоздким поддоном. Вдобавок кое-кто из военных и прежде всех Тухачевский увлеклись безоткатными пушками, действующими по динамо-реактивному принципу. Принцип хорош, слов нет, но повальное предпочтение любого принципа ничего хорошего не сулит. Ведь невозможны безоткатные полуавтоматические и автоматические зенитки, танковые орудия, казематные. Не годится принцип и для самых массовых пушек: став громоздкими и тяжелыми, они не смогут, как выражаются артиллеристы, сопровождать пехоту огнем и колесами.

Светлая голова, близкий друг еще с гражданской, Михаил Николаевич Тухачевский прекрасно разбирается в проблемах войны и мира. Понимает, что будущая война не просто война моторов, что она, как впрочем все войны,— схватка одной экономики, одной системы, одной передовой мысли с другой. Знает, что планы Гитлера нацелены прежде всего против нас, но, поди ж ты, в самое неподходящее время конструкторское бюро классической артиллерии закрыли, здания и сооружения передали новому, которое занялось универсальными пушками. И самое неприятное, что ты, Серго, пошел на поводу, затмение какое-то. И даже с Грабиным не встретился. Позор! И это после того, как Гитлер заявил корреспонденту возле горевшего рейхстага: «Это богом данный сигнал. Ничто не помешает теперь нам раздавить коммунистов железными кулаками». И пошел давить — арестовал Тельмана и весь ЦК Германской компартии, посадил Димитрова на скамью подсудимых, возбудил небывалый национализм, призывая поработить славян, господствовать над миром.

Н-да... А ты закрыл КБ классической артиллерии! Бюрократ и головотяп! Шляпа и мямля! Даже теперь,

когда хотя и с опозданием, но поправил дело, в жар бросает: не пеняй соседу за снег на его крыше, когда у самого порог не очищен. Спасибо Павлуновскому — вразумил: «После долгого всестороннего обсуждения мои ведущие специалисты высказались за грабинский проект специальной — подчеркиваю: специальной, а не универсальной пушки».— «Может, все-таки запросим мнение военных?» — «Оно нам известно, товарищ Серго. Лучше сами сделаем опытный образец, а уж тогда предложим военным провести испытания».— «Хм! Дьявольская осмотрительность!» — «А как же! Поборники универсализма постараются угробить Грабина еще на корню».— «Хорошо. Принимаю ответственность. И приказываю выделить в распоряжение Грабина сто тысяч рублей для премирования работников, которые особо отличатся. Это дело чести не только завода, не только главка, но и всего наркомата».

Как бы опомнившись и проклиная себя за допущенный промах, Серго ввязался в дело с привычным напором. Директора заволжского завода, где приютились Грабин с несколькими энтузиастами после изгнания из Москвы, заставил создать конструкторам достойные условия, вплоть до экспериментального цеха, не выпускал из виду, надеялся на успех, как в песне: «То, что ненависть разрушит, то любовь восстановит».

Вошел Иван Петрович Павлуновский, в косоворотке, туго облегшей саженные плечи. Крупные черты лица. Проникновенные глаза. Приветливая улыбка. Протянул сухую теплую руку — ни дать ни взять русский богатырь, могучий, добродушный и великодушный, вставший на защиту Отечества истинно богатырским делом,— вся танковая промышленность в руках, вся авиационная, судостроительная, артиллерийско-стрелковая. И голос, какой подобает богатырям: зычный, душевный, располагающий. Вот уж в ком действительно как в зеркале отражены

требования и стремления Серго при подборе сотрудников. Разные люди отзывались о Павлуновском одинаково уважительно: самородок. В партии с пятого, участник трех революций. В семнадцатом — член Петроградского Военно-революционного комитета. С восемнадцатого — чекист. С двадцать восьмого — заместитель Серго по Рабоче-крестьянской инспекции, потом член Президиума ВСНХ, потом вот заместитель наркома — начальник Военно-мобилизационного управления.

Серго следит за тем, чтобы он не переставал учиться. И сам учит, но так, будто и не учит, а напоминает вроде. Если можешь быть мудрее других — будь, но не говори им об этом. Павлуновский, хоть и не инженер, но быстрее и вернее иных специалистов ориентируется в запутанных делах, чует новое, привержен и пристрастен к новому. Конечно, не может и не должен знать любой проект в деталях, но думает по-государственному. Именно эту особенность Ивана Петровича Серго ценит выше остальных. Созвучны душевному ладу наркома смелость его, всегда высказывающего и отстаивающего свое мнение, готовность претерпеть из-за этого неудобства и гонения, подчас драматические, принять собственное решение, не убоявшись ответственности.

Между тем Иван Петрович, не присаживаясь, доложил о ходе работ в конструкторском бюро Грабина:

— Я послал туда Чебышева нашим уполномоченным. Помогает всем, чем может. Звоню на завод каждый день. До конца мая образцы должны быть готовы.

— А будут ли? До правительственного смотра считанные дни.

— Я Грабину так и сказал: не успеем — нашу основную пушку вместе с нами можно отправлять в лом. Верю, успеет. Грабин — это человек! Артиллерией увлекся с детства. Отец служил фейерверкером, рассказывал про пушки. Юный Грабин однажды и на всю жизнь залюбо-

вался работой красных батарейцев, когда палили по белякам. Ненавидит угнетателей, ложь, несправедливость. Рассказывал, как еще четырнадцатилетним восстал на мельника, у которого работал. Тот ему: «Оборванец, босота, грязные лапы!» А Вася Грабин в ответ: «Мои грязные руки кормят меня. А вот ваших сынов какие руки будут кормить?» — «Мои дети инженерами станут, а ты сдохнешь под забором!» — «Нет, это я стану инженером!..» И ведь стал-таки. Окончил артиллерийское училище, академию, послужил строевым командиром, давно в партии.

— Ну что ж. В таких людей нужно верить. Да садись ты, пожалуйста.

— Знаете, товарищ Серго, кого считают создателем нашей классической артиллерии? Дмитрия Донского. И, может, в этом одна из причин успешного одоления захватчиков, у которых еще не было железных труб, изрыгавших огнь и каменья. Классическая артиллерия у нас всегда была сильнейшим родом войск. Никому не удалось отлить орудие, подобное чоховской царь-пушке. Наши мастера дали первое в мире нарезное орудие и клиновидный затвор к нему — опередили Европу на два с лишним столетия. Петр поделил артиллерию на полковую, полевую, осадную и крепостную.

— Не универсализация, а специализация...

— Именно, товарищ Серго! Петр установил шкалу определения калибра, которой пользовались сто семьдесят лет. А для стрельбы по кораблям применил цепные ядра, которые рвали паруса, лишали маневра. Опять специализация! Новая организация и техника оправдали себя при штурме Нарвы, Ниеншанца, Нотебурга. Я не говорю уж о Полтавской баталии, где петровские бомбардиры мастерски использовали превосходство в артиллерии — в прах распушили лучшие полки Карла Двенадцатого. В Семилетней войне наши артиллеристы впер-

вые применили стрельбу через головы пехоты специальными — слышите, товарищ Серго? — специальными орудиями, предрешили взятие Берлина. А виктории Румянцева, Суворова, Кутузова что такое? Что такое Измаил, Кагул, Бородино, как не торжество специализированной артиллерии? Неспроста Наполеон сетовал, что наибольшие потери причиняли ему именно русские пушкари. В начале нынешнего века на Путиловском заводе родилась полевая скорострельная трехдюймовка, которая превзошла все орудия мировой войны. Как раз ее-то и окрестили «косой смерти». А что такое, как не торжество специализации, бронебашенная батарея — та, что мы построили по предложению Климента Ефремовича для обороны Севастополя? Четыре орудия с мощностью залпа целого линкора! Да если хотите знать, и германская «Толстая Берта», из которой обстреливали Париж,— русское изобретение на основе специализации.

— Почему же тогда нас так основательно лупили?

— Эх, товарищ Серго!.. Не мне бы вам объяснять. Не германцы лупили — отсталость. Мы должны были экономить снаряды: за всю войну выпустили пятьдесят миллионов, а германцы — двести семьдесят два. Ту же «Толстую Берту» сконструировали еще в тринадцатом на Металлическом в Питере, но русская армия так и не получила сверхмощную осадную гаубицу, а немцы ее сделали... Артиллеристы — самая передовая и просвещенная часть армии. Лобачевский, Чебышев, Ляпунов, другие выдающиеся ученые — те же Остроградский, Маевский, Забудский — двигали баллистику, теорию стрельбы.

— Все это прекрасно, дорогой, но ведь новое всегда опрокидывает традиции, разрушает основы.

— «Новое»?! Это универсализм-то — новое?! Сбреем бороду...

— Ну-ка, ну-ка, посмотрим, как это у тебя получится.

— Русские генштабисты в свое время увлеклись универсализмом — по мордам получила вся армия, вся страна. Американцы рекламируют универсализм, а строят специальные пушки. И вообще, если хотите знать, мы бедны от богатства нашего, от небрежения своим отечественным, своим великим прошлым и великими талантами, бедны от рабского, слепого поклонения заграничному, подчас взятому у нас и вернувшемуся под чужим именем... Цезарь Антонович Кюи, наш генерал, известный больше как композитор, один из «Могучей кучки», был выдающимся фортификатором. В конце прошлого века он вел нашумевшую в военной среде дискуссию с германским генералом фон Зауэром. Зауэр утверждал, что не нужны больше форты со специальной артиллерией, Кюи — что нужны. И война доказала: прав был он. Нет, я не квасной патриот. Много там у них настоящего, хорошего, что стоит перенимать — и чем скорей, тем лучше. Но нельзя игнорировать опыт. Нельзя быть Иванами, не помнящими родства. Может, Грабин — сегодняшний Чохов? А мы проходим мимо и не оглядываемся.

Серго пораженно молчал: Павлуновский сказал — слово в слово — то самое, что говорил Киров о конструкторе танков Кошкине. Задумался, вглядываясь в напряженное, исполненное достоинства лицо Ивана Петровича: «И ты — наш Чохов. Наверно, он был таким же, как ты, русокудрым молодцом?.. А может, таким, как оружейники Токарев, Дегтярев, Ванников, как самолетчики Туполев, Микулин, Поликарпов? Или как Емельянов, Тевосян, Завенягин?..»

Павлуновский продолжал с еще большим жаром:

— Да воевать против классической артиллерии все равно что сбрасывать Пушкина с парохода современности! Посмотрите, что у нас в архитектуре творится на почве наимоднейших новаций! Без крыш уже строят — скоро без фундаментов начнут.

— Хорошо. Будем ждать смотра, но отнюдь не сложа руки.

Четырнадцатое июня тысяча девятьсот тридцать пятого года. Подмосковье. Прохладно и пасмурно. За колючей проволокой поляна. От нее меж стенами леса тянется в мглистую даль широкая просека. На поляне вдоль дороги, посыпанной песком, выстроились пушки всех калибров. Возле них боевые расчеты.

— Смир-рно!

Первым от проходной шагает Ворошилов в кожаном пальто. Чуть позади Сталин, Молотов, издали заметный по шляпе на голове, Серго в обычном полувоенном одеянии — шинель со следами четырех ромбов на выцветших петлицах, неизменная фуражка со звездой. Председатель Госплана Межлаук, Тухачевский, Буденный, Павлуновский в окружении «сопровождающих лиц» — военных и штатских.

Командующий смотром отдает рапорт. Руководители страны идут дальше — на правый фланг, туда, где стоит универсальная пушка «Красного путиловца», а рядом ее конструктор Маханов. Здороваются. Маханов уверенно, может быть, даже самоуверенно докладывает.

Серго оглядывается. Где же Грабин? Ага. Вон, в отдалении, возле желтой пушки. Иван Петрович предупредил, что в последний момент грабинское детище окрасили не в обычный, защитный цвет, а в желтый — не хватило уставной краски. Что он испытывает сейчас, Грабин? Да то же самое, что ты: будто собственная твоя судьба решается. А что? Так и есть — собственная.

Когда осмотр универсальной пушки закончили, направились к «желтенькой». Вот и Грабин. Румяный губастый крепыш — красный казак истинно кубанского лада и склада. Кстати вспоминается чье-то замечание:

чтобы заниматься искусством, необходимо железное здоровье. Ну а творчеством конструктора, да еще военного?.. Хорошо, что такое здоровье у тебя есть, дорогой Грабин. Спасибо. Серго понимающе переглядывается с Павлуновским. Видно, как кровь наливает и без того сочные щеки Грабина. И мысли, поди, клубятся. «Но теряй, брат, самообладания.— Улыбкой поддерживает Серго из-за плеча Сталина.— Конструктор должен быть бойцом». И Ворошилов спешит на выручку растерявшемуся штатскому — не приказывает, а просит:

— Товарищ Грабин, расскажите о своей пушке.

Будто скулы свело — не сразу начинает. Тянет руку к карману изрядно потертого пальто, где наверняка припасена шпаргалка, но смущается, гордо вскидывает большую круглую голову, говорит тихо, на ветру невнятно, помаленьку овладевает собой:

— Примененная новая гильза способна вместить увеличенный заряд пороха. Это повышает мощность, увеличивает возможности пробивания танковой брони. Сейчас пушка способна уничтожать любой танк из находящихся на вооружении других армий, но мы думаем, что мощность брони будет наращиваться во всем мире.

«Правильно думаете,— мысленно одобряет Серго и кивает Грабину: — Смотри вперед, зри в корень...»

Сталин подходит к белой табличке с характеристикой пушки. Грабин приближается к нему. Сталин спрашивает. Грабин отвечает, кажется, толково и кратко. Так и подобает человеку, знающему во сто раз больше, чем спрашивают. Но мог бы и почетче. Вновь Серго переглядывается с Павлуновским. Иван Петрович тоже в состоянии натянутой струны, но тоже старается ободрять Грабина взглядами. Наконец Сталин обращается к Орджоникидзе, приглашая разделить впечатление:

— Красивая пушка, в нее можно влюбиться. Хорошо, что она и мощная и легкая.

Когда пошли к блиндажам, за спиной послышалась команда: «К бою!» Из укрытия Серго наблюдал, как ладно действовали красноармейцы: совсем не то, что бывало в гражданскую,— выучка. Только на правом фланге не могли перевести универсальную пушку, с ее поддоном, из походного положения в боевое. Маханов нервничал. Грабин отнюдь не радовался неполадкам у соперника — напротив, «болел», как стало принято говорить, за команду противника. «Молодец!» — отметил Серго. Грабин ему все больше нравился.

Маханов не сдержался:

— Ни к черту расчет!

Стало неловко за него. «Мямля,— подумал Серго.— И во время испытания возкой плакался, когда упряжка не смогла стронуть с места его пушку, а грабинская легко пошла. И людей не таких дали, и коней не тех. Интересно, каких на войне тебе дадут?! Грабину вон все как раз, все подходит, и никого не охаял...»

С помощью рабочих-путиловцев универсальную пушку наконец перевели в боевое положение.

— Огонь!

Все, кто были в блиндаже, прильнули к смотровым щелям... С досадой убеждался Серго, что пушка тяжела для боевого расчета, что полуавтоматический затвор срабатывал через раз. Горько пошутил про себя: «Узнаю нашу автоматику, нажимаешь кнопку — остальное все вручную». Замковому приходилось открывать затвор дедовским способом, обжигаться, выбрасывая слегка дымившие гильзы.

Но вот команда для «желтенькой»... Выстрел... Еще выстрел... Еще...

— Как часы,— заметил Молотов, до сих пор не проронивший ни слова.— Цель поражена минимальным числом снарядов...

Сталин попенял Маханову:

— Ваша пушка отказала, а пушка Грабина работала четко, даже приятно было смотреть.

— Грабин — мой ученик, товарищ Сталин.

— Это хорошо, но он вас обскакал.

Продолжили стрельбы. И Серго с удовольствием следил за ними. Ведь эти разные пушки, что выстроились перед ним,— его пушки. Он знал их наперечет, что называется, каждую в лицо. Каждой посвятил себя, конечно, не в такой мере, как «желтенькой». Ведь это были сравнительно благополучные детища. Собранные вместе, они образовали такой оркестр, от которого уши ломило, особенно левое. Ну и пусть! Никогда еще не испытывал такой приятной боли.

Закончили пальбу из самого мощного — мощнее «Толстой Берты» — орудия.

Сталин бросил:

— Все.— Поспешил от амбразуры на свет входного проема. Вдохнул изморосный воздух, взял Серго за рукав, подумал вслух: — Орудия хорошие, но их надо иметь больше, иметь много уже сегодня, а некоторые вопросы у нас еще не решены. Надо быстрее решать и не ошибаться при этом.— Со значением посмотрел на Тухачевского.— Хорошо, что появились у нас свои кадры, правда, еще молодые,— покосился на Грабина,— но они уже есть. Их надо растить. И появились заводы, способные изготовить любую пушку, но надо, чтобы они умели не одну только пушку изготовить, а много.— Повернулся и стал между Махановым и Грабиным, потрогал усы, подправляя кверху, обратился к конструкторам:— Познакомьтесь друг с другом.

— Мы давно знакомы.

— Это я знаю, а вы при мне познакомьтесь.

Маханов посмотрел на Грабина и улыбнулся. И Грабин улыбнулся, протянул хваткую, с аккуратно остриженными ногтями руку, пропитанную стальной пылью и пушечным салом.

— Ну вот и хорошо, что при мне познакомились.— Сталин обхватил обоих за талии, подвел к «желтенькой».— Товарищ Маханов, покритикуйте пушки Грабина.

— О пушках Грабина ничего плохого не могу сказать.

— Товарищ Грабин, покритикуйте пушку Маханова. Не стесняйтесь.

— Что ж... Во-первых... Во-вторых... В-третьих... Каждый из этих трех органических недостатков приводит к тому, что пушка без коренных переделок непригодна для службы в армии.

Замолчали все вокруг. Серго видел, что Грабин испытывал неловкость: ведь пришлось говорить неприятное сопернику и о сопернике. Вдобавок его конечно же угнетало и то обстоятельство, что «желтенькая» сделана без ведома военных — за страх и за совесть Серго: как бы не подвести. И он ожидающе смотрел на Орджоникидзе, будто оправдывался. Помолчав, Сталин предложил:

— А теперь покритикуйте свои пушки, товарищ Грабин.

— Это проще простого.— С облегчением вздохнул.— Мы у себя в КБ только тем и занимаемся. И я знаю у «желтенькой» столько недостатков, сколько никто не знает. Вот, посмотрите, рессора слабовата. Вот! И вот!.. Знаю, как устранить эти недостатки. Мы над этим уже работаем. И еще знаю, что при всем при том пушка пригодна к службе, а устранение дефектов значительно повысит боевые качества.— Отер лоб чистейшим — «офицерским» — платком: вспотел на холодном ветру от самокритики.

Сталин сказал Грабину:

— Хорошо вы покритиковали свои пушки. Это похвально. Хорошо, что, создав пушки, вы видите, что они могут быть улучшены. Это значит, что ваш коллектив будет прогрессировать. А какую из ваших пушек

вы рекомендуете принять на вооружение? Почему молчите?

— Надо бы еще и еще испытать, а уж потом...

— Это верно, но учтите, что нам нужно торопиться. Времени много ушло, а оно нас не ждет. Какую же вы рекомендуете?

— Конечно «желтенькую».

— Отправим вашу пушку в Ленинград — пусть военные ее испытают. Я правильно понял вас, что в ней нет ничего заграничного?

— Да, товарищ Сталин. Она создана по своей схеме, из отечественных материалов, на отечественном оборудовании.

— Это замечательно.

Серго был уверен: завтра на специальном заседании правительства многие выступят против «желтенькой». Сделанная на бегу, она конечно же не выдержит испытаний с пристрастием, но это лишь крепче поставит ее на ноги, породит тысячи подобных, что станут поперек горла Гитлеру. И на том пути им поможет он, Орджоникидзе,— вместе с Грабиным, в одной упряжке с ним будет доводить и дотягивать, спотыкаться и вставать и не давать в обиду — изо всех сил тянуть и тянуть к Победе. Подошел к «желтенькой», погладил остывший, в измороси, ствол: «Странно. Совсем не чувствую холода и сырости. Вроде даже поясница не ноет. Отчего бы это?..»

— У каждой накладки есть имя, отчество и фамилия,— не устает повторять Серго.— Точно так же, как есть они и у каждого достижения.

Любит ставить в пример то обстоятельство, что в японских школах первое место отведено преподаванию музыки, живописи, литературы. Оттого постижение ремесел, овладение техническими навыками идет успешнее. Как

это мудро — поднимать качество производства высоким гуманитарным развитием мастеров! Люди, люди... Им — внимание, внимание и еще раз внимание...

К тридцать пятому в стране стало уже восемьсот четыре научно-исследовательских центра. Ученые увеличили разведанные запасы нефти до четверти с лишним от мировых, угля — в пять с лишним раз. Исследования Курской магнитной аномалии прибавили столько руды, что по запасам железа мы поднялись на первое место в мире и располагаем половиной мировых богатств.

Заканчиваем разработку генерального плана реконструкции Москвы.

Прекратили неполадки в Кузнецке, сибирскую металлургию ведем по-кураковски. И в Магнитогорске... Когда назначил туда Завенягина, многие с подковыркой спрашивали: сколько ему лет, каков его металлургический стаж? Серго отвечал им как можно спокойнее: возраст Завенягина ни при чем и стаж у него маленький, потому что мамаша поздно родила, а дела у него неплохие. Кстати, уж коли на то пошло, и стаж не такой маленький, если считать с учебы в Горной академии... Магнитку сейчас ведут директор комбината Завенягин и главный инженер Клишевич — два молодых человека. Вместе с ними вся молодежь, которая там работает. Вели Магнитку в сорокаградусный мороз — и вели неплохо. При минус тридцати пяти пустили четвертую домну, и она прекрасно пошла...

А Тевосян, Емельянов!.. Если бы у нас не было качественных сталей, не было бы и автотракторной промышленности, мы бы в кабалу попали к капиталистам! Наши молодые инженеры и старых пригласить не забыли, и сами грамотно действуют. Объединение «Спецсталь» должно быть примером для остальных...

Стараниями в первую голову молодежи мы избавлены от необходимости покупать паровые турбины за рубе-

ком. Благодаря молодежи автопробег Москва — Каракум — Москва стал, можно сказать, парадом индустриализации. Он, по признанию друзей и недругов, как бы сфокусировал зрелость нашего машиностроения, производства качественных сталей, синтетического каучука, цветных металлов, свинцовых аккумуляторов и еще многого, многого другого. Попробуй все пересчитай, перечисли! Да и не в парадности дело. Пробег показал, как нашему машиностроению совершенствоваться, идти дальше — вперед. Это важнее важного.

За три последние года прибыль от тяжелой промышленности выросла втрое, но вот металлургия как была нахлебницей, так и остается: съедает жирный кус прибылей. Можем ли мы бесхозяйственно тратить деньги? Риторический вопрос! Что же делать? Все настоящие бедствия рождаются из боязни мнимых... Советоваться! Думать, думать, заставлять думать других! Открыть бешеную... Бешеную? Да, бешеную борьбу за рентабельность. Вовлечь в нее всех. Кто поможет? Вот кто — тот, кто входит в кабинет наркома первым из приглашенных на очередное совещание: Георгий Гвахария, один из любимцев, а точнее, гвардейцев, вызванных наркомом.

Рослый, стройный, в безукоризненном костюме и заграничных очках. Большой белый лоб, смоляная волнистая шевелюра, уголки губ чуть ввысь, от чего кажется, будто Гвахария постоянно посмеивается. Лоску и блеску подобных людей Серго завидует, но это лишь первое, поверхностное впечатление. Не металлург по образованию, Георгий, как многие лидеры индустриализации, по глубинной сути своей близок чем-то и к людям Возрождения. За что ни возьмется, везде преуспеет как мастер и знаток. Причем, добивается своего не штурмовым натиском, не диктаторским нахрапом, а способностью воздерживаться от безоговорочных указаний и непродуманных приказаний. Убеждая тебя в чем-то, всячески удер-

живает от слова «нет», тонко подводит к «да», щадя твое самолюбие. Полагает, верно, не без основания, что, если сердце человека терзается несогласием, вряд ли переубедит его логика, что переубеждать можно только душелюбием. Ведь солнце заставит снять плащ скорее, чем ветер, и далеко идет тот, кто мягко ступает, чтобы не стереть ноги. Что ж, может, в этом Гвахария и прав — и стоит у него поучиться этому? Ведь уже не без пользы для себя и для дела перенял у Георгия принцип, утверждающий: «Искусство спора у англичан в том, чтоб не обидеть оппонента».

После революции Гвахария окончил Институт внешней торговли, работал в нашем лондонском торгпредстве, потом в РКИ и ВСНХ, где Серго и заприметил его. Поручил ему реконструкцию одного из самых отсталых тогда заводов, потому что решил дать в Макеевку «молодое смелое руководство». По совету Серго Гвахария делал основную ставку на молодежь, но не пренебрегал и мастерским опытом стариков, прежде всего кураковской школы. В каждое поручение Георгий вкладывает кавказский темперамент и трезвый расчет просвещенного европейца. Возглавляя строительство, реконструировал Макеевку «головой с огоньком», как писали в комсомольских газетах. Так же повел себя и на посту директора завода, поднятого по проектам учеников Курако вровень с Магниткой и Кузнецком. Не хуже наркома понимал, что наши достижения бесспорны, но надо идти дальше, дальше. И Серго предложил ему провести дерзкий опыт — поработать без дотаций из государственного кармана.

Не преминули оценить экономический эксперимент за рубежом. Милюков, бывший лидер либерально-монархической партии, бывший министр иностранных дел Временного правительства, бывший и нынешний вдохновитель интервенции к нам, созвучно Гитлеру пророчил:

«В Москве теперь усиленно роют могилу металлургической промышленности. Отказ от дотаций приведет к полному краху. Туда им и дорога!»

А Гвахария все-таки отказался от дотации, и вот только что Макеевский завод — первым в стране — дал прибыль. Больше того, Гвахария опрокинул все разговоры о невозможности достигнуть в ближайшее время лучших коэффициентов использования доменных печей. Значит — можно! А если можно — надо драться за это! Если эта крепость будет взята, то одержим большую победу: миллиард чистоганом. Миллиард рублей можно будет дополнительно пустить на строительство новых заводов, на совершенствование производства.

К любимому сотруднику Серго сразу с делом:

— Все тебя хвалят, Георгий. Есть за что хвалить. Ты даешь коэффициент использования объема доменной печи ноль и девяносто восемь. Но можно ли считать, что домна твоя полностью освоена? Немцы дают и ноль и семь и даже ноль и шесть. Разве мы присягнули нашей отсталости? Разве мы — рабы проектов, выдающих нам аттестат на вечную отсталость?

— Само собой очевидно.

— А раз так, мы решительно отметаем все застойное и считаем достижимым для себя не только то, что там у них, на Западе, имеется, но и гораздо большее...

Тем временем в кабинет наркома вошел Иван Алексеевич Лихачев. И к нему тоже дел и поручений у наркома предостаточно:

— Слушай, дорогой, давно хочу поговорить с тобой о качестве и отделке вашей продукции.— Обратился к продолжавшим входить «гвардейцам»: — Это всех вас касается. Посмотрите, какую продукцию вы посылаете на экспорт и какую даете нам...— Вновь к директору автозавода: — Мы приветствуем вас, уважаемый товарищ Лихачев, когда вы отправляете прекрасно отделанные гру-

зовики и автобусы дружественной нам Турции, но просим и нас не забывать. Пусть глаз нашего колхозника, нашего рабочего радуется, глядя на нашу продукцию. Разве хорошая отделка дорого стоит? Просто мы привыкли к тому, что у себя дома можно ходить в рваной и грязной одежде. Но ведь, друзья мои дорогие, это опять-таки психология отсталой деревенщины. Дома можно ходить и грязным, а в гости пойдешь — надо одеться чистенько... Давайте договоримся, что машины, которые выпускаете на наш рынок, будут такими же хорошими, как на экспорт.

К тридцать пятому Ижорский завод дал уже три блюминга. Первый из них — тот самый, что у Гвахарии в Макеевке вовсю обжимал стальные слитки. И Серго вызвал его конструкторов, благодарил, расспрашивал, дал новое поручение по прокатостроению, советовал обратить сугубое внимание на замыслы быстро выдвигающегося, молодого, очень одаренного Александра Ивановича Целикова.

И еще вот особо заботило: никель, проблема никеля. Где наш никель находится? На западе, у самой границы. А если война?.. Чем будем крепить броневую сталь?.. Эх, надо поторопиться с освоением таймырского никеля! Хотя бы тронуть его, ковырнуть! Хотя бы подступиться к нему! Мечта? Нет, задача задач. И решать ее надо испытанным методом: никакого бюрократизма, найти смелых, честных, талантливых людей, поставить на дело, они — поставят дело, головой ответят за него... Кто бы для Таймыра подошел? Создать там город и комбинат... Каких жертв это потребует! Страшно подумать. А надо: пора. Кто сможет? Завенягин? Но на нем Магнитка, да еще он — мой зам. И все-таки!..

В том же тридцать пятом заложили Норильск. За Полярным кругом развернулось одно из важнейших сра-

жений еще не начавшейся войны. В атлас дорог тот район никогда не включали: незачем, никаких нет. Климат: полярная ночь с морозами под шестьдесят, полгода пурга парализует все средства сообщения вплоть до собачьего транспорта. «С головой» заметает бараки. Если повезет и уцелеют телефонные провода, усиленные тросами, вызовут «скорую» — она откопает траншею к двери. Выберутся и — на работу. В забой идут, не выпуская протянутый канат. Упаси бог в одиночку ходить. Уже есть горький опыт: люди сбивались с пути и замерзали в двух шагах от порога.

— Вы что, спятили? — Будут терзать Завенягина проектировщики.— Надеетесь в здешних условиях взять руду открытым способом?! Может, у вас и апельсины вырастут?

— Насчет апельсинов пока не скажу. Но условия труда на подземных работах в вечной мерзлоте еще хуже, чем в открытых забоях, а людей я привык беречь. Во-вторых, подготовка к подземной добыче потребует гораздо больше времени, а времени у нас нет. В-третьих, ближе к поверхности жилы рудного тела вдесятеро богаче...

— Смотрите... Под вашу ответственность.

— Не привыкать.— Завенягин, который умрет в пятьдесят пять из-за того, что надорвется в Норильске, из тех «гвардейцев» Серго, для кого счастье в пользе дела, на благо Отечества. Словно созданный по загаду Серго — блистательный инженер на уровне ученого. Одарен острым чувством реальности, постоянно в курсе достижений науки и техники, разбирается не только в производстве, но и, что важнее, в людях, в их наклонностях, чаяниях, стремлениях. Тонкий знаток людей еще с партийной работы в юности, еще с проректорства в Горной академии, он не даст выплеснуться низости и зверству, готовым выплескиваться из человека в чрезвычайно неблагоприятных условиях. Главной заботой его станет: как сделать

труд людей радостным, увлекательным — да, да, радостным, увлекательным даже в аду Заполярья. И заманчивость внедрения любой идеи будет оценивать, исходя из гармонии ее с людьми — главной решающей силой любой стройки в любой точке планеты. Именно от Завенягина пойдет неуемное новаторство норильчан.

Инженер москвич Александр Николаевич Грамп, в двадцатые годы возглавлявший комсомолию Красной Пресни, попадет в Норильск не своею волею, возглавит отряд дорожников. И стихийная снегоборьба станет планомерным одолением заносов. Инженеры предложат такие защитные ограждения и такую их расстановку, что ветер перенесет большую часть снега через дороги. Они станут бесперебойно проезжими, включая узкоколейку к Дудинке, на которой прежде приходилось откапывать паровозы.

Вячеслав Владиславович Сендек, большевик с девятнадцатого, начальник строительства металлургических цехов, сделается норильским Макаренко — его стараниями бывшие «законники» — домушники, мокрушники, медвежатники — станут плотниками, бетонщиками, каменщиками, футеровщиками.

Понадобится перебросить со строительства ТЭЦ в рудный карьер двухсоттонный экскаватор, но мост через водоводы из Норилки не внушит доверия: на честном слове. Разбирать экскаватор? Переправлять по частям? Сколько это времени отнимет?! Владимир Иванович Полтава, главный инженер, заберется под мост, измерит балки, опоры, потрогает, пощупает, постукает, посчитает на неотлучной линейке, скомандует экскаваторщику: «Пошел!» Но грохочущая махина не тронется. И тогда Полтава вновь станет под мостом: «Пошел, говорю!» На глазах окаменевших строителей экскаватор переползет по хлипкому мосту, под которым стоит человек, и вскоре загрохочет в карьере.

Таким будет стиль работы Завенягина и завенягинцев, перенятый у Серго. В свой черед «пойдут» карьеры Угольный ручей, Медвежий ручей, вступит в строй Малый завод. В свой черед начнется война. Но строительство не запнется, не замедлится. Напротив. Будут продолжены геологические изыскания, и запасы платины окажутся такими, что ею одной окупятся затраты на город и комбинат.

По справедливости сочтут Завенягина и завенягинцев крупнейшими гуманистами. Не окажись они вовремя в Норильске — таймырский никель не спасет, не освободит столько людей па земле... Всего через семь лет после закладки, когда армии Гитлера захватят западные месторождения и Кузнецк с Магниткой останутся без никеля, когда подводные лодки Гитлера блокируют устье Енисея, с тем чтоб ни грана никеля не было вывезено морским путем, с фронта будет снята эскадрилья бомбардировщиков и направлена за три с лишним тысячи километров в тыл — на боевое задание. Ночью и днем запорошенные, с бородами-сосульками, норильчане, мохнатые от инея меховых комбинезонов летчики станут грузить в бомбовые люки слитки никеля, а вернее, бомбы, да еще какие: ведь каждый рейс каждого бомбардировщика — это двадцать шесть новых танков.

Но пока идет тридцать пятый год...

По-прежнему не хватает хлеба, металла, энергии. Конечно, по производству тракторов выходим на первое место в мире. Грузовиков делаем раза в три больше Германии. Десять лет назад по выплавке чугуна занимали седьмое место, уступая Люксембургу и Бельгии, а теперь оспариваем второе у Германии, но пока лишь оспариваем. Занимая третье место по производству электричества,— Германии уступаем. Занимая четвертое по добыче

угля,— Германии уступаем. Занимая третье по выплавке стали,— Германии уступаем... Как их умножить и укрепить наши хлеб, металл, энергию? Ведь уже и без того наши люди делают невозможное. И все-таки! Именно люди — наша судьба. Именно в них — наш резерв, который мы недостаточно — убежден! — недостаточно используем. Как его вскрыть, поднять к жизни?..

Новые заботы, тяжкие думы, неудовлетворенность собой — все это мешает с прежним удовольствием слушать Барсову, Лемешева, Козловского в Большом. Это не отпускает по ночам. Об этом Серго не перестает думать и на работе. Об этом думает и на отдыхе в Нальчике, в Кисловодске. И вдруг — вот оно! — «Правда» за второе сентября: в ночь с тридцатого на тридцать первое августа забойщик шахты «Центральная — Ирмино» Стаханов установил в честь Международного юношеского дня всесоюзный рекорд — вырубил сто две тонны угля.

Да, это «оно». И просто, как все гениальное: конечно, чтобы стать сильнее Гитлера, нужны герои, истинные герои труда.

— Зиночка! Я прерываю свой отпуск и возвращаюсь в Москву.

— Час от часу!.. Каждый день что-нибудь!

— Нет, это не каждый день случается. Это раз в жизни случается, и то не в каждой. Но теперь будет каждый день и, постараюсь, чтоб в каждой. Сдохну, а добьюсь. Одним словом, укладывай чемоданы.

— Никуда ты не поедешь...

— Да ты понимаешь, что произошло?! Корпели, возились с организацией угледобычи — ничего не выходило. В Руре дают на отбойный молоток четырнадцать тонн, в Англии — одиннадцать, у нас норма была шесть тонн. А он ахнул сто две! Пока я тут прохлаждался, он думал за меня, решал и решался, шел мне навстречу. Теперь я обязан не спать, не есть... Ну позволь хоть поругаться

по телефону с наркоматом. Просмотрели главное! Это же переворот.— Серго задумался, вспомнив прочитанное когда-то у Тургенева: «Я бы отдал все свои книги за то, чтобы где-нибудь была женщина, которую бы беспокоила мысль, опоздаю ли я к обеду». Зина! Как хорошо, что ты есть у меня! Какое счастье! И как неисповедимы, причудливы судьбы любви! Рассудительная сибирячка и порывисто пламенный кавказец. Говорят, счастливые браки редко случайны — они закономерны в том смысле, что предусмотрены не только сердцем, но и разумом. Однако разве ты не усвоила еще, Зиночка, одно очень важное правило: нельзя запрещать мне жить, как я должен. Подчиняюсь тебе в сфере твоей компетенции, но тут...

И он все-таки возвратился в Москву раньше положенного. Еще проезжая Донбасс, узнал, что Стаханов, как шутили, уже гений одной ночи. Вслед за ним парторг того же участка Дюканов нарубил за смену сто пятнадцать тонн угля. Комсомолец Концедалов — сто двадцать пять. Снова Стаханов — сто семьдесят пять, потом и двести двадцать семь. А Никита Изотов — двести сорок. День за днем срабатывал глубочайший принцип нашей натуры — страстное стремление к признанию своей ценности. За Стахановым последовали другие, добывая и триста, и даже пятьсот пятьдесят две тонны. На Горьковском автомобильном заводе Александр Бусыгин отковал тысячу пятьдесят коленчатых валов при норме шестьсот семьдесят пять. Петр Кривонос повел поезда со скоростью в пятьдесят три километра вместо тридцати. Евдокия и Мария Виноградовы стали ткать на таком количестве станков, какое пока никто толком не мог назвать, потому что они расширяли и расширяли зону обслуживания. Что случилось? Разве все, кто руководили и планировали, были круглыми идиотами, ни черта не понимали?

Понимали, конечно. Но произошло событие огромного исторического значения. И твой долг, Серго, стать во главе. Но... Никогда не обходится без «но»! Всеобщий порыв рабочих охлаждается, прорыв к будущему сдерживается обывательским скептицизмом, а подчас и саботажем людей, принимающих зов и крик души за очередную кампанию. Одни бюрократы относятся к движению, идущему снизу, высокомерно: кто, мол, такие Стаханов, Бусыгин, что они понимают, почему должны нам указывать? Другие, огорошенные простотой стахановского метода — правильное разделение труда, полное использование машин и рабочего времени,— все еще присматриваются и не спешат организовать важнейшее государственное дело. Третьи не без повода и основания боятся, что стахановское движение вызовет повышение планов. Рабочие не боятся, а они боятся! Страна содрогается, разрывается и надрывается в выборе между азиатчиной и цивилизованностью, а они только о себе и думают. Повторяется то, что было при начале всесоюзного соревнования — на Выборгской в Ленинграде, когда принимали встречный план.

Кто тогда встал против обывательщины и азиатчины? Тот же, кто теперь поддерживает Стаханова и стахановцев,— прежде всего лучшие инженеры, лучшие ученые, лучшие большевики. Управление нашей промышленностью — это сочетание всенародной инициативы с централизованным руководством... Старики на Кавказе советуют: будь первым, когда надо слышать, и последним, когда надо говорить. Слушай, Серго, и прислушивайся. А уж коли раскроешь рот, не забывай, что существует лишь один способ влиять на других: сказать им о том, что стало предметом их желаний, и показать, как этого добиться.

Пригласил Стаханова и стахановцев в Москву на Октябрьские праздники, потом собрал у себя в кабинете.

Сквозь проемы высоченных окон мягко сеется свет скупого дня, а на длинном столе сияют яблоки и апельсины. Стулья, что поближе к рабочему месту наркома, уже заняты. Вот и сам он — идет, задерживаясь возле каждого гостя, жмет руку кряжистого могучего парня. Здоров, крепок, надежен. И так ему тесен впервые надетый москвошвеевский пиджак, так некстати галстук, повязанный конечно же в последний момент директором или парторгом.

— Я, товарищ Серго, со станкозавода вашего имени в Москве.

— Ты — Гудов? Поговорим особо о том, как тебя выгоняли.— Переходит к худощавому, наголо стриженному хлопцу, с бледноватым лицом, с большими серыми глазами и девичьими ресницами, ласково трясет за плечо: — Вот ты какой! А я думал, Стаханов — великан...

Как только перестали хлопать в ладоши, слегка успокоились и вновь расселись, Серго к делу:

— Ну, расскажите, какие чудеса творите. Как добиваетесь?..

Пошли выступления. Первым — Алексей Стаханов, за ним Петр Кривонос, Александр Бусыгин, Евдокия Виноградова, Мария Виноградова, Иван Гудов. Тут Серго кивнул:

— Гудов пусть расскажет в течение пяти минут, как его выгоняли с завода.

Гудов подошел к столу наркома, одернул пиджак, выпростал шею из галстука, глянул прямо, без робости, вроде даже с вызовом: вот он, каков я, задира. Загудел молодецким, чуть хрипловатым баском. (Может, за то из рода в род и Гудовы?):

— Так и так. Тяжелые станки делаем, агрегатные, специальные. Освобождаем страну от зависимости. Завод у нас отличный, начали строить в тридцатом, пустили в тридцать втором. Я тоже тачку гонял, подучился —

поставили фрезеровщиком. Директор вызывает: «Нарком дал нам установку в ближайшее время перекрыть проектную мощность». Мастер задание дает: надо сделать то-то и то-то, поработай хоть три смены, но сделай. Почему не сделать? И зачем три смены? Шариками будешь крутить — за одну сделаешь... В общем, четыреста с лишком процентов и без брака — одна к одной крышечки запорные!

Серго перебил:

— Это мы и без тебя знаем. Ты, во-первых, раскрой секрет, как добиваешься такой выработки при высоком качестве, а затем расскажи обязательно, за что тебя выгоняли.

— Товарищ Серго! Вы меня прервали и минуту отняли. Теперь давайте мне больше времени.

— Хорошо, хорошо, дорогой! Не серчай, пожалуйста.

— Как добиваюсь? Люблю работу, и она меня любит. Интересно мне работать — сделать охота, совладать... Загодя узнаю, какое будет задание: ага! Шарики закрутились. Заступаю, а станок у меня зеркалом блестит, а заготовочки ладком под рукой, а план в голове на всю смену, как и что, как силу ровно блюсти — до последней минуты, а не выкладываться сразу, по первости, чтобы потом высунувши язык плестись. Не работа — удовольствие, слажа! Если где какую наладку, приспособку примечу, не пройду мимо: перенять надо, Ванюха! Или сам сделаю, или добьюсь, чтобы мне сделали, а то и за два оглядка. Что смеетесь? Говорю как есть, не врать же... Болтают, жадный я. Не кулак я, товарищ Серго! Я — хозяйственный: где какую железку найду, хоть в мусорном ящике, пригляжусь — и съесть погано, и выбросить жалко. Припрячу — ан, сгодилось! Вы посмотрите, что у нас на свалках валяется! Руки-ноги повыдергивал бы тем, кто выбрасывает! В общем, стал работать двумя фрезами вместо одной. А выгоняли меня, товарищ Серго...

Бузил больше всех: из двадцати пяти дней одиннадцать вовсе не работали. Зарплата горит, ну а класс-то, сами знаете, жажду разве квасом заливает? И обязательства... Совестно! Зачем было слово давать, коли сдержать не можешь? Ну и выражался маленько... «Замоскворецкий хулиган,— сказали,— Ванька Гудов». Да какой же он хулиган, Иван Иваныч, сын собственных родителей?..

Орджоникидзе встал, прошелся, положил руку на плечо сидевшего у стены, под картой Советского Союза:

— Товарищ Сушков! Ты молодой директор, большевик, в Красной профессуре мы тебя учили... Как терпишь? Что собираешься делать с саботажниками? Кто мешает стахановцам, кто стоит на нашем пути...— сметем. Сметем беспощадно!

Долго не ложился он в тот вечер. Все рассказывая, рассказывал возбужденно жене, брату и дочери:

— Стаханов самый старший из них, как он говорит, «уже тридцать» ему. Кривоносу — двадцать пять. Дуся Виноградова совсем девчонка. Стаханов из-под Орла. С двенадцати лет осиротел, стал кормильцем для матери и троих меньших. Поступил на мельницу. Днем мешки таскал, ночью коней хозяйских стерег. В деревне шахтой пугали: каторга, убьешь силу зря, пропадешь. Знали, что говорят: и отец и дед надорвались на шахте. Все же Алеша уехал в Донбасс: «Подработаю на лошадь — возвернусь». Но не возвернулся. Отгребщиком стал, коногоном, присох к шахте. Выучился грамоте, курсы окончил... Говорит, поставил перед собой цель во что бы то ни стало хорошо работать отбойным молотком. Не видывал еще такой силищи в руках человека, интересно и себя испробовать и дело. Присмотрелся: что я, хуже других? Углядел неполадки в организации — негоже так. Жена поддержала, как ты меня, Зиночка, поддерживаешь, товарищи помогли... «Вижу,— говорит,— дела идут в гору, рублю без устали, крепильщики поспевают. Отопью

немного воды из фляжки — и снова за работу. Грохот! Глыбы рушатся вниз. Шум в забое от падающего угля и визга молотка такой — слов не разобрать. Все окутано черной пылью. Фронт под землей, где я должен победить». Это он так мне рассказывал, Стаханов, слово в слово. «Стало,— говорит,— мне необыкновенно весело. Захотелось песни петь. Вот он, я — рядовой шахтер — до большой мысли дошел. Рублю и рублю...»

Кривонос всего третий год работает машинистом. В свои двадцать пять классный мастер. Многие в помощники к нему рвутся: никого не дергает, выдержан и мудр. Я бы с удовольствием с ним поездил на паровозе. Так захотелось!.. Как про свою работу говорит! Топка паровоза — целая поэма. «Чувствую,— говорит,— как вся машина набухает силой...» Набухает силой... Слышишь, Зиночка?.. «Помощник, кидай уголь, как хорошая хозяйка масло на сковородку кладет. Аккуратно, бережно. Проще и легче, конечно, сразу набу́хать — и сиди-посиживай, макароны продувай. Но тогда доброго пару не жди. Уголь набрасываем вразтруску, ровнехонько по всей площади топки. Следим — ни, ни, чтобы продушники образовались. Как заметил, так разом кидай на светлые пятна в горящем слое, иначе в прогарины воздух свистанет и топку остудишь. Топим вприхлопку: бросишь лопату — скорей закрывай шуровку, чтобы зря не студить опять же. Упустишь момент — не то что не взлетишь соколом на подъем, а три часа будешь под ним мокрой курицей тилипаться».

Бусыгин — земляк Максима Горького. Так же вкусно окает. В двадцать восемь лет почтенный отец семейства: жена, сын-школьник, как ты, доченька, еще сын-ползунок да племянник. Пришел на строительство автозавода из деревни — без копейки. Шли с напарником пешком двести верст. Плотничал, потом в кузнице смазчиком. Сядут рабочие перекурить — Бусыгин тут как тут: дозвольте попробо-

вать на машине. Валяй! Пока они сидят, он и валяет на паровом молоте. Мастер увидел, поставил подручным. Как-то: «А ну, Шурка, подмени Силыча, а то у него вон после получки вертикаль с горизонталью не пересекаются». Шурка — это Бусыгина так величали. Прикинул... Даже мастер удивился: сколько над этой ступицей бились, а Шурка ее с ходу обмозговал и укантентовал! Запомнились мне, чуть не до слез, слова Александра Харитоновича Бусыгина: «Замечательно, что при хорошей работе меньше устаешь, чем при плохой. Чем ровнее да спористее идет работа, тем крепче да здоровее себя чувствуешь. С песнями будем работать. Как начали мы по-новому работать, так вся жизнь иначе пошла. Гляжу на свою прошлую жизнь и не верю до сих пор, что все это на деле, а не в сказке. Когда попал первый раз в Москву, то сперва даже растерялся. В театрах побывал, и в Зоологическом саду, и па метро ездил. Ходил я по улицам, любовался на нашу Москву, а сам думаю: «Неужели это ты, Бусыгин, что в ветлужских лесах родился, что всю жизнь свою в деревне с хлеба на квас перебивался? Неужто это ты сам и есть Бусыгин — сидишь в Большом театре, начинаешь книжки читать?» Я ведь малограмотный. Книжек никогда не читал и только недавно, месяца два тому назад, первую книжку прочел — сказки Пушкина. Очень они мне понравились. Только, правду сказать, трудно мне дается чтение. А учиться очень хочется. Ни о чем я так много не мечтаю, как об учении. Очень мне хочется дальше пойти. Хочется быть не только кузнецом, но и знать, как молот построен, и самому научиться молоты строить. И знаю я: буду учиться, еще лучше буду работать». Никогда, Зиночка, не забуду эти слова Александра Харитоновича Бусыгипа. И еще, конечно, спрос нравственный. Чтобы руководить такими людьми, чтобы шагать впереди них, надо быть хотя бы вровень с ними душой. Гитлер не принимает их в расчет, а они сильнее Гитлера. Они выручат, вывезут...

Этери уже клевала носом, да и Папулия после ужина поглядывал в сторону отведенной ему комнаты. Серго видел это, но не мог ничего поделать с собой — допоздна рассказывал:

— Смотрю на них — полный кабинет людей, а вернее, судеб. Весь рабочий класс ко мне пришел. Думает вместе со мной о том же, о благе Отечества печется. Поддерживает меня и понукает. Может, сегодня я только по-настоящему понял смысл сказанного Алексеем Максимовичем на прошлогоднем писательском съезде: «Вперед — и выше!» Вперед — это ясно. А вот выше... Тут не просто направление, нет — выше предела возможного, да? Невозможное могут только люди. И впервые почувствовал — не понял, а почувствовал, как трудно Ильичу было впереди шагать. Звезды рабочего класса... Звездный час рабочего класса... Высокопарно, да?

— Отчего же? — возразил Папулия.— Высокие чувства — высокие слова. Конечно, не всегда так совпадает. Чаще, пожалуй, высокие чувства требуют тихих, спокойных слов, а то и вовсе молчания...

— Это верно,— согласился Серго,— однако... Ты знаешь, чье внимание, чей интерес прежде всего, больше всего привлекли Стаханов и стахановцы?.. Лучших наших ученых. Именно! Алексей Николаевич Крылов специально позвонил мне из Ленинграда. Ай, какой старик! Не зря его Кирыч буквально боготворил... Поздравляю, говорит, вас и себя. Припомнил свою поездку в Англию, на знаменитые кораблестроительные заводы. Там, между прочим, вырабатывать сверх нормы никто права не имеет, никто не должен работать на двух или нескольких станках. А мы, говорит, радуемся всему этому, как и подобает молодым, полным надежд людям. Ведь экономическое значение методов Стаханова всем очевидно. И надо помнить, что увеличение производительности равносильно увеличению капиталовложения, люди ду́ши свои, жизни

вкладывают в дело, а, стало быть, методы Стаханова дадут нам неисчислимые миллиарды...

— Почему он именно тебе позвонил?

— Не знаю. Видимо, как-то связывает со мной... Да, все может человек, если захочет по-настоящему. Теперь остается немного — всенародно захотеть.

— Хорошее «немного»!

— Ничего, сладим.

— Чай будешь допивать? — Зина принялась убирать со стола.— Этери с утра в школу, тебе — открывать совещание стахановцев. Выступление приготовил?

— Не беспокойся.

— Смотри, не забыть бы с утра впопыхах. Где оно?

— Здесь,— с улыбкой коснулся ладонью лба.— И здесь,— дотронулся до левой стороны груди.— Не забуду, не беспокойся.

Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц — стахановцев промышленности и транспорта Серго открыл в здании Центрального Комитета партии на Старой площади. Но оказалось, что зал заседаний ЦК тесноват. Перешли в Большой Кремлевский дворец.

За четыре дня выступили все известные стахановцы, представители всех промышленных районов, крупнейших заводов, портов, железных дорог, ведущие сотрудники Наркомтяжпрома и, кажется, все члены Политбюро.

Особенно растрогало выступление Курьянова — самого юного участника совещания, токаря из Куйбышева. Маленький, от горшка два вершка. Курносенький. В пиджаке, в белой рубашке с галстуком, он запрыгнул на трибуну и исчез — не видно стало из президиума. Члены правительства подались вперед. Перегнулись через борт. С улыбкой рассматривали мальчонку. Он смутился. Но быстро овладел собой. Пригладил аккуратно подстри-

женные вихры. Как большой, передал пламенный привет от рабочих, служащих, комсомольцев и всего рабочего состава карбюраторного завода. Как заправский оратор, отпил воды — чуть не целый стакан. Куда только вошло? С важностью откашлялся. И заговорил звонко, по-мальчишечьи выкрикивая, стараясь тянуться вверх, к микрофону:

— Когда я сдал техминимум, мне дали осваивать плунжер для особого дизельного насоса, который впервые изготовляется в Советском Союзе...

«Верно, впервые,— думал Серго на председательском месте.— Сгодится как раз для такого танка, который конструируют Кошкин с товарищами...»

А Курьянов с гордостью продолжал:

— Я взялся уплотнить свой рабочий день и был среди рабочих рационализатором.

— Сколько зарабатываешь? — спросил Серго.

— Первые полгода зарабатывал по четыре — шесть рублей в день, сейчас зарабатываю двадцать пять рублей в день. Товарищи, за мою хорошую работу ко мне прикрепили ученика старше меня и больше меня намного. Мне семнадцать лет, а ему восемнадцать.

— Ты стахановец или кто? — вновь спросил Серго.

— Я бусыгинец. Первым организатором у нас был Бусыгин, который дал рекорд выше американского по ковке коленчатого вала. Когда организовалось стахановско-бусыгинское движение, мы в инструментальном цеху проработали этот вопрос лучше, чем в остальных цехах. У нас уже имеется не один бусыгинец-стахановец, как я. Профсоюзная организация учла, что я хорошо работаю, и премировала меня комнатой с полным оборудованием...

«Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути...» «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» «Молодежь — на автомобиль, на трактор, на самолет!..» Предметом гордости или зависти каждого мальчишки и

каждой девчонки стали значки парашютиста, ГТО, ворошиловского стрелка, желанным местом учебы и развлечения — автоклубы, аэроклубы. «Фирмы» Туполева, Поликарпова и Григоровича дали Красной Армии необходимые самолеты — учебные, разведчики, истребители, больше тысячи тяжелых бомбардировщиков, а гражданскому воздушному флоту — трехмоторные «Крылья Советов», пятимоторный «Правда».

В честь сорокалетия литературной деятельности Максима Горького решено построить гигантский агитсамолет его имени, начать сбор средств по всему Союзу. Популярный журналист Михаил Кольцов возглавил комитет содействия строительству. Объявили открытый конкурс на лучший проект. Поступает великое множество предложений, в основном, конечно, от энтузиастов, и, конечно, принято предложение Туполева: усилить задуманный им шестимоторный бомбардировщик еще двумя микулинскими моторами, создать небывалый агитсамолет и заодно проверить, до каких размеров целесообразно увеличивать бомбардировщики. Семнадцатого июня тридцать четвертого года Михаил Громов, шеф-пилот ЦАГИ, впервые взлетает на самолете длиною тридцать три метра, с размахом крыла шестьдесят три метра, весом сорок две тонны, способном поднять и нести четырнадцать тонн. Через два дня «Максим Горький» проплывает над Красной площадью, приветствуя челюскинцев, их спасителей, москвичей...

Не сосчитать, сколько раз бывал Серго в конструкторском бюро у Туполева, пока самолет проектировался, сколько раз забирался в еще недостроенную чудо-машину и с надеждой оглядывал, ощупывал каждую заклепочку, каждый винтик. И вот — восемнадцатого мая тысяча девятьсот тридцать пятого года — Серго стоял возле «Максима Горького» на Центральном аэродроме, черно завидуя окружавшим, которым выпало счастье подняться в воз-

дух на таком самолете и которые не на шутку вздорили между собой:

— Если бы мы не построили этот самолет, фиг бы вам было на чем летать! — неслось из одной очереди.

— Если бы мы его не спроектировали,— отвечали из другой,— шиш бы вам было что строить! Мы первые полетим!

— Нет, мы!..

Разве забудешь тот выходной?.. Было назначено два полета, после которых предполагали передать «Максим» из ЦАГИ в агитэскадрилью для эксплуатации по назначению. Воздушной прогулкой над Москвой премировали лучших сотрудников КБ и завода. Пока они препирались, выясняя, кто «первее», Серго с женой Туполева Юлией Николаевной поднялись по откинутой в виде трапа нижней части фюзеляжа в самолет. Как же здесь хорошо! Как пахнет свежими красками, эмалитовым лаком и клеем и еще чем-то, одной авиации присущим: аккуратностью, надежностью, совершенством.

Серго знал, что Юлия Николаевна не просто жена, но помощник и друг Андрея Николаевича. Не занимая никаких штатных должностей (муж ни в коем случае не допустил бы этого!), она, по сути, была сотрудницей ЦАГИ. В той же постройке «Максима» стала участвовать наверняка прежде многих других, вложила немало вкуса, души и характера в убранство спальных кают, кафе, пассажирских отсеков. С достоинством радушной хозяйки, показывающей дом, Юлия Николаевна говорила:

— Кроме семидесяти двух пассажирских мест есть у нас типография для выпуска листовок-молний... А здесь «Голос с неба» — громкоговорящая установка, может вещать на землю во время полета... Телефонная станция на шестнадцать абонентов...

Задумался Орджоникидзе: почему бы не привлечь жен инженерно-технических работников более активно к де-

лам мужей? Это ведь не малый резерв... Надо будет собрать жен ведущих хозяйственников — пусть посодействуют пятилетке, как Юлия Николаевна...

В пилотской кабине уже хлопотали румяные молодцеватые Журов и Михеев. Здоровяки, плотно обтянутые летными комбинезонами, с «небьющимися» часами на перчатках-крагах.

— А где Громов? — спросил Серго, поздоровавшись.

— Сегодня мы за него,— гордо улыбнулся Михеев. И, не стараясь скрыть удовольствие, стал расхваливать «Максим».— Надежная, на большой, на ять машина. Испытания прошла, как ни одна другая. Оснащена всем наиновейшим: навигационное оборудование, радиостанции — наши, советские, автопилот оригинальный, усилитель руля электрический...

Все, что рассказывали, Серго знал не хуже Юлии Николаевны, Журова и Михеева, вместе взятых, не впервые слышал и видел все это — от самой закладки ездил и ездил к Туполеву, помогал, радел, «болел». Но хотелось еще и снова слышать-видеть. Он так завидовал тем, кто полетит! Так про себя клял решение, запрещавшее членам Политбюро подниматься в воздух, особенно после гибели в авиационной катастрофе начальника ВВС Петра Ионовича Баранова.

Тем временем подкинутый двугривенный решил спор в пользу строителей самолета — и тридцать шесть отличившихся производственников скрылись в его чреве. А Серго остался на земле. Не прекословя, отошел в сторону, подальше от винтов. Трап наглухо захлопнулся. Взревели, не запнувшись, восемь моторов.

— Вот так же отсюда «Илья Муромец» взлетал, и «Святогор» стоял на этом самом месте,— заметил кто-то из пожилых авиаторов.

«Максим» тронулся, пошел, ветром приминая молодую, лоснившуюся под солнцем траву далеко позади

себя. Разбежался — быстрей, быстрей — тяжело, но изящно оторвался, нет, откоснулся от земли, словно руки Михеева — Журова бережно приподняли его.

Обязательный круг безопасности над аэродромом: в случае чего еще можно вернуться, спланировать. Слева к «Максиму» подстраивается «эр-пятый» с оператором кинохроники. Справа — истребитель для масштабности сравнения при съемках в полете. До чего ж красив самолет вообще, а такой в особенности, да еще в весеннем небе! Серго провожал его взглядом, пока он не скрылся за лесом. Прислушивался к удалявшемуся гулу моторов. Что может человек! Чего он не может?.. Поистине вся страна подняла «Максим Горький» — и теперь он поднимает и будет поднимать страну.

Радостные размышления прервал запыхавшийся заводской инженер. Прибежал с дочкой лет двенадцати:

— Говорил тебе, Расмочка, собирайся быстрей, опоздаем...

Девочка так плакала, что представители конкурирующей стороны сжалились, пообещали:

— Полетишь с нами, следующим рейсом.

Гул моторов стал нарастать — и возвращавшийся самолет показался над лесом. Но что это? Этого не может быть! Истребитель поднырнул под правое крыло гиганта, взмыл впереди, описывая мертвую петлю.

— Благин есть Благин! — неодобрительно вздохнули рядом.— В прошлый раз Громов наганом грозил этому лихачу...

«Как же могло случиться, что его послали вторично? Разве не ясно, что идущий в ад ищет себе попутчиков?» Ничего этого Серго не успел произнести, смотрел, точно заколдованный, не отводя взгляда — боясь отвести взгляд, боясь шелохнуться.

Истребитель со скоростью, умноженной силой тяжести, вышел из петли, настиг правое крыло «Максима» и...

врубился в моторную гондолу, взорвав шлейфом искры, пламя, черный дым. Крайняя гондола с куском гофрированной обшивки крыла, вместе с полыхавшим комом истребителя падали, оставляя клубившийся черный хвост, казалось, во все небо. Крыло «Максима» еще противилось, еще содрогалось, точно у подбитого орла. Мгновенье, другое... Громадный кусок его отвалился следом за гондолой и обшивкой. Корабль вертанулся по курсу, закувыркался, разваливаясь. Пыльное облако полыхнуло из лесу, взмыло, окутало, расплываясь по горизонту, верхушки сосен.

Все это случилось в секунды. Но Серго был уже в «паккарде» — и шофер, не дожидаясь команды, гнал к лесу. Точно из-под воды, сквозь оцепенение, доносились не то чьи-то, не то собственные слова: «Чего больше всего боится самолет? Грозы? Земли! Нет, глупости! Глупость — самое дорогое на свете. Эх, Благин, Благин! Да не оскверню тобой звание летчика!»

Отупев, угорев от горя, смотрел Серго. Вокруг по лесу, в который въезжали бесполезные уже кареты скорой помощи и пожарные машины, на сбритых соснах, в кроваво-тряпичных лохмах было разметано то, что лишь несколько минут назад называли самолетом с пассажирами, с Михеевым, Журовым и еще девятью членами экипажа. Куда-то, зачем-то спешила зеленая, фосфоресцирующая, стрелка, и чудилось, на весь мир тикали часы на обгорелой краге Михеева или Журова.

ПРОРЫВ, ИЛИ АМИРАНИ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Не выдержав перегрузок, свалился Серебровский. Еще позапрошлым летом Серго насильно возил его подлечиться в Кисловодск. А минувшей осенью отрядил на Урал, где Серебровский поднимал стахановское движение в золотой промышленности, одного из лучших докторов Крем-

левки. Алексей Дмитриевич Очкин, врач Сталина, неотлучно находился при Серебровском — на случай срочной операции. Спасибо, что пришлось ее делать все-таки уже в Москве. Оставив дела самые неотложные, Серго кинулся в больницу к другу.

После операции Александр Павлович туго приходил в себя, с трудом открывал глаза, осматривался: палата, светло, Серго сидит на стуле возле кровати, по обыкновению улыбается:

— Ну, молодец Очкин! Ловко тебя вызволил! Гамарджоба!

— А мне все тайга да рудники видятся, все строим, строим... Под Иркутском «фордишко» наш перевернулся, Александров и шофер успели выскочить, а я — нет: был в тулупе. Слышу, ходит мой шофер около машины, не могут они с Александровым приподнять ее. Вот шофер и говорит: «Царствие небесное. Должно, помер. Даже не ругается».— «А вы возьмите хорошую слегу и попробуйте приподнять машину, тогда я и восстану из мертвых...» Смешно, правда?

— Все отдаешь золоту — все, что можешь!

— Где там? Далеко еще не все. Если бы нам драг побольше!.. Главные препятствия — наше неумение, наша неорганизованность... Если бы всюду так работали, как, скажем, на Алдане или на Лене. На Алдане, в условиях совершенно невероятных, дерутся так, как никто не дрался. Потому что стали работать как следует, стали выполнять то, что давно следовало выполнять. И скажу тебе по совести, по душе, еще потому стали, что ты, Серго, крепко занялся золотом. Твои распоряжения, твой знаменитый приказ о старательской и золотничной добыче...

— Ну зачем это?! К чему ты?!

— Может, больше вообще никогда ничего не скажу...

— А вот этого я уж пуще всего не терплю!

— Нет, выслушай, пожалуйста! Прошу. После твоих приказов и закона тридцать четвертого года о старателях изменилось отношение к ним и первооткрывателям. Они делаются народными героями, а не предметом издевательства всяких берг-коллегий, как было при царе.

— О будущем надо думать, а не о том, что было. К золоту нам нужно подходить во всеоружии науки и в окружении лучших, наиболее образованных инженеров, техников, экономистов.

— Естественно... Ой!.. А все-таки вроде меньше болит, как подумаю, что лет через десять будет у нас..

— Неплохо и то, что уже сработали под твоим руководством. Если бы описать, как из кустарного промысла создали индустрию золота! А что?.. Возьмись, напиши, как все было. И о том напиши, как Ильич тебя ценил, как ты работал в чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии, как по мандату Ильича восстанавливал нефтепромыслы Баку — шесть лет председателем «Азнефти»! И как потом ездил в Америку, переквалифицировался во всесоюзного золотодобытчика.

— Боюсь, не успеть мне уже...

— Не слыхал от тебя таких слов! Не слышал! Все у нас с тобой впереди...— Так жаль распластанного, поверженного товарища, так хочется помочь и заплакать хочется. И свое больничное мытарство не забывается. И Киров погибший вспоминается.

Словно увидав его тоже, Серебровский, с трудом приподнимается:

— Знаешь, не могу забыть Мироныча. Помнишь, как мы все вместе тогда, в Баку?.. Молодые!.. Надо бы хоть за него еще пожить...

После катастрофы «Максима Горького» еще внимательнее, бережнее относился Серго к людям, нетерпимее, яростнее ко всему, что мешало.

Да, много новых заводов и хороших машин построи-

ли, многое не смогли, не сумели, но главному все же научились — жить на пользу делу, на благо Отечеству. Стахановцы золотой промышленности братья Пальцевы нашли под Свердловском самородок в пуд весом. Не словчили, не припрятали полумиллионное богатство — обнародовали, ко всеобщему ликованию.

Как только Серго получил самородок-рекордист, поспешил тут же с ним в Кремль — обрадовать товарищей по Политбюро. Конечно, до миллиграмма общеизвестен вес такой счастливой находки, но все же лучше один раз увидеть...

Достает из портфеля плоский слиток, похожий на небольшого ската. В две ладони, а тяже-ел! Одной рукой трудно держать. Ох, как хорошо, что трудно!

Сталин спрашивает:

— Как здоровье Серебровского?

— Поправляется помаленьку.

— Все в том же, перелицованном, костюме будет щеголять наш «золотой король»?..

Серго ласково, любовно гладит золото, смотрит не насмотрится. Ай, хорошо! Отдать бы этот самородок целиком на благо Академии наук!..

Сталин будто чувствует мысль Серго, чуть притопорщив усы в улыбке, вроде игру предлагает:

— Будь этот самородок ваш, товарищ Орджоникидзе, что бы вы с ним сделали?

— Будь моя воля — конечно, отдал бы ученым.

— А вы, товарищ Молотов?

— Я?.. В Швейцарии делаются станки, которых так не хватает часовщикам и приборостроителям... И еще купил бы станки для обработки корабельных винтов.

— Нет, я бы...— Сталин откладывает самородок, не снимая с него руки, смотрит на Серго: — Я бы — на авиацию. Кто в наше время силен в воздухе, тот вообще силен.

Двадцать второе июля тысяча девятьсот тридцать шестого года. Серго идет на работу. Ох, чертова лестница! Раз от разу делается выше. Сердце выстукивает, что пора бы в отпуск. Хорошо, что кабинет на втором этаже. Управделами предлагал перенести повыше: «Меньше народу будет толкаться».— «А я, дорогой, как раз для народу здесь посажен. Придут ко мне пожилые люди, а лифт откажет...» Слишком хорошо понимал он теперь пожилых, все больше сочувствовал им.

Красная дорожка недлинного коридора. Налево — зал заседаний коллегии, дальше — помещения помощников Шахназарова и Маховера. Перед самой приемной — дверь в кабинетик Семушкина. Обычно Серго начинал работать уже в приемной, где ждали директора заводов, стахановцы, академики. К каждому подходил, жал руку. Незнакомым представлялся. Знакомых участливо спрашивал: «Как живется в новой квартире?.. Жену из родильного дома забрал?.. А ты из Комсомольска? Особенно рад тебя видеть! Всегда рад помочь! Заходи, дорогой!..» Но сегодня — прямиком к Семушкину. Тот поднимается из-за стола с несколько виноватым видом. И Серго понимает почему:

— Зачем глобус утащил? — не скрывает радости от того, что для их общей работы карта уже тесна, глобус подавай.— Где?

В ответ Семушкин указывает на Камчатку:

— Пятьдесят три часа без посадки!

По-хозяйски забрав глобус, нарком уходит к себе. Обычный рабочий день? Рядовой прием? Нет и нет. Далеко — на другом конце света — сквозь непроглядную жуть над Тихим океаном летят три человека в молекуле алюминия и стали, оторванной силой воли и разума от земли, одолевающей земное тяготение. Каждый миг десятиметровые волны грозят их поглотить. Но... Не поглотили же волны Ледовитого океана, льды Арктики, цик-

лоны-антициклоны, обледенения? Пролетели над пашнями и лесами Подмосковья, над лугами и болотами Белозерья, над горами и водопадами Кольского полуострова. Миновали Баренцево море, Северную Землю, снега, тундры, безлюдье Якутии, Петропавловск-на-Камчатке... Летят!

Нет. Не молекула алюминия и стали. Сгусток, сплав гениальности и труда. Ключ от будущего. Ответ на вопрос: удалось или нет? Проживем сто лет за десять или не сумеем, не успеем, не сможем?

Со множеством замечательных людей сдружила подготовка полета, и прежде всего с Александром Александровичем Микулиным, Андреем Николаевичем Туполевым. Оба — не просто любимые ученики Жуковского, но воплотители его крылатого пророчества о том, что человек полетит, опираясь не на силу мускулов, а на силу разума. Оба выполняют важнейшее задание: летать выше всех, быстрее всех, дальше всех.

Туполев — основательный, капитально одаренный. В облике простака и увальня — натура, сочетающая пушкинскую увлеченность и рассудительность Ломоносова, демократичность и властность, бунтарство и покладистость, неукротимую работоспособность и умение отдыхать, сангвиническое жизнелюбие барина и аскетическую скромность батрака, глобальный размах замыслов и въедливую дотошность в отработке деталей. Туполев привлекает Серго и тем, что государственно мыслит, считает, мечтает.

Не счесть увлечений Туполева, точнее, все, за что берется, делает увлеченно. Фотолюбитель и книжник, рыболов и путешественник, не чурается дружеских застолий, не прочь поесть от души, послушать забавный анекдот, посмеяться громче и заразительнее других. От папаши, тверского нотариуса, унаследовал то, за что называют сугубо штатским, а не хуже любого военного разбирается в стратегии и тактике. Им бы, военным, так

остро заметить то, что он успел во время поездки по Германии Гитлера и преломил в свои замыслы, перспективы конструкторской работы.

Подбирая главного инженера авиационной промышленности, Серго отдал предпочтение Туполеву потому, что он сконструировал наши тяжелые самолеты, и — еще больше — за организаторские способности, талант находить оптимальные решения, подвижническую преданность делу. Но Туполев привлекает и чисто человеческими качествами.

Родился через четыре года после того, как флотский офицер Александр Федорович Можайский впервые поднял аппарат тяжелее воздуха в полет. Когда Андрюше сравнялось пять, мир потрясли известия о полетах немецкого инженера Лилиенталя на планере. А когда братья Райт пролетели над Америкой на аэроплане с бензиновым мотором, Андрею исполнилось пятнадцать. Но «хочу летать» проявилось не сразу. И главную роль сыграли не семимильные шаги прогресса, а настоящие учителя. О них Туполев часто вспоминал:

— Любовь к физике привил мне Николай Федорович Платонов, необыкновенно ярко и красочно рассказывал о ней на уроках. Не ограничивался курсом, организовал астрономический кружок, водил нас на экскурсии, ставил замысловатые и интересные опыты.

Не иссякали рассказы и о втором учителе. Конечно же в них ученый-конструктор выражал и собственное творческое кредо:

— Николай Егорович Жуковский был первым, кому удалось найти научное объяснение возникновения подъемной силы крыла. Соединив математическую разработку точной теории с опытными наблюдениями, продемонстрировал плодотворность новой методологии поиска.

Третий учитель... Портрет его рядом с портретом второго в тесноватом кабинете Туполева, оборудованном

скромной, но удобной мебелью еще с основания ЦАГИ. Большие кабинеты Андрей Николаевич не любит, считает, что хуже в них думается. Так объясняет близкое соседство Жуковского и Ленина:

— Нет возможности проводить параллели между человеком, взвалившим на свои плечи задачу социальной перестройки мира, и специалистом, решавшим частные задачи развития авиации. Однако мы вправе сопоставлять системы их мышления. И вот тут становится совершенно ясным, насколько гениальными были они каждый в своей сфере.

Основоположник отечественного металлического самолетостроения, Туполев очень «виноват» в том, что поставлено массовое производство, усовершенствованы приемы конструирования и технология постройки летающих машин. ЦАГИ стал научным центром нового типа — фундаментальные исследования оборачиваются прямой помощью производству. За шесть лет создано тринадцать опытных самолетов. За девять — всего лишь за девять месяцев спроектирован и выпущен двухмоторный АНТ-4, он же ТБ-1, о котором разные конструкторы в один голос говорят:

— Эта машина по своей компоновке явилась откровением для мировой авиации. Разместив в толстом крыле большое количество топлива, Туполев получил выдающуюся грузоподъемность и дальность полета... Нигде в мире признаки бомбардировщика не были столь полно и удачно объединены. По существу, самолет стал первым настоящим бомбардировщиком, прототипом всех последующих.

Серийный ТБ-1 назвали «Страна Советов» и отправили в перелет на двадцать с лишним тысяч километров. Экипаж во главе с Шестаковым пролетел надо всей Сибирью, Аляской и приземлился в Нью-Йорке. Сенсационный триумф туполевской машины вызвал разнос, кото-

рый западные газетчики учинили своим конструкторам, не сумевшим вовремя оценить перспективность цельнометаллической авиации и уступившим приоритет нам. Последнее детище Туполева — летящий сейчас над океаном АНТ-25. Его чаще называют РД — рекордная дальность, или рекорд дальности.

Микулин тоже выпестован Жуковским: единственный его племянник, сдружившийся с дядей в его подмосковной усадьбе, выросший в атмосфере научных исканий, изобретательства, дерзких открытий. Наблюдательный, думающий, Шура Микулин в одиннадцать лет сконструировал и построил котел с турбиной для подъема ведра из колодца. Турбина действовала, но котел однажды взорвался. Память о том — шрам на левом ухе и уверенность: человек все сможет, если захочет, сумеет, узнает. В девятьсот десятом пятнадцатилетний Микулин поразил знаменитого пилота Уточкина, потерпевшего аварию из-за отказа магнето, тем, что предложил установить вместо одного два. (Идея дублирования, широко используемая теперь для повышения надежности.)

Серго заприметил Микулина, еще когда не ладилось с первым авиамотором. Пригласил, расспросил, выслушал — да как хватит по столу:

— Варварство! Главный конструктор не бывал за границей!

Три месяца по командировке Серго Микулин присматривался, как работают ведущие моторостроительные фирмы: в Англии — «Роллс-Ройс», во Франции — «Испано-Сюиза», в Италии — ФИАТ, в Германии — БМВ.

Авторитетные специалисты советовали Серго ориентировать и дальше нашу авиацию на импортные моторы БМВ в шестьсот лошадиных сил. Ведь что такое авиамотор? Чудо века, вбирающее вершинные достижения науки и техники. Ничтожный кусочек металла — ка-

пелька! — вмещает сатанинскую мощь, поднимает под облака, за облака и себя и многие, многие тонны! Вряд ли мы сможем так скоро, при наших условиях... А Микулин дал свой, тогда еще не прославленный М-34 да не в шестьсот — в семьсот пятьдесят «лошадей». В жестокой — до ЦК — сшибке Серго поддержал. М-34 пошел в серию.

Вообще у Микулина не было недостатка в недругах. Поговаривали, будто не сам изобретает, а сотрудники. Отвечал не без ехидства: «Коль скоро у моих сотрудников есть, что взять, значит, я воспитал гениев и сам чего-то стою». Заметными были его влияние на инженерную молодежь, привлекательность жизненного примера. Он увлекался теннисом — и они увлекались. Он любил мотоспорт — и они любили. Он дружил с художниками, артистами, писателями — и они, молодые инженеры, старались... Он полагал, что секрет технического успеха в гуманитарной просвещенности, в умении думать по-государственному,— и учил их подражать ему в этом. Внушал, что удачно сконструировать двигатель — еще далеко не все, надо провидеть, представить его значение для блага Отечества, роль в истории: «Стармехом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

Подобно Туполеву, Микулин ревниво следил за всем, что делали конструкторы Гитлера. Они дали самолетный мотор в шестьсот лошадиных сил, Микулин — в семьсот пятьдесят. Они — в семьсот пятьдесят, он — в восемьсот. У них — девятьсот, у нас — тысяча двести...

Самые большие в мире машины Туполева летят выше всех, быстрее всех, дальше всех — на микулинских моторах. Когда неспокойно становится на Дальнем Востоке, туда на микулинских моторах перебазируют сто пятьдесят туполевских ТБ-3 — и агрессивный сосед поведет себя поскромнее.

Опять обыватели от науки, пошлые завистники мешают Микулину работать. И опять помогает Серго. Выберет время — и приедет в КБ. Выберет время — и позвонит по телефону:

— Приезжайте, пожалуйста. И не на мотоциклетке.

— Хорошо. Только долго будет — на трамвае.

— Ничего. Мне не к спеху. Потерплю...

Встречая, Серго выходит из-за рабочего стола, с удовольствием хлопает по литым бицепсам Микулина, торжественно вручает ключи от машины:

— Премия. Нет, нет! Не благодарите. Вам спасибо. И скорей давайте новый мотор. Чтобы сделать как следует, поезжайте с Туполевым на международную авиавыставку в Лондон.

Из окна Серго с удовольствием наблюдает, как рослый могучий Микулин, словно мальчишка к игрушке, подбегает к новенькому «газику», склоняет бритую голову, профессионально прислушиваясь к работе мотора, плавно трогает с места...

Снова нападки и неурядицы, да такие, что приходится собирать специальное заседание Политбюро. Небольшой овальный зал. Посредине длинный стол. Во главе — Молотов. По одну сторону — Серго, Ворошилов, военные и штатские специалисты. Вдоль другой расхаживает Сталин. У дальнего торца стоит Марьямов, директор моторостроительного завода, в синей форме летчика — грани трех «шпал» на петлице отражают свет люстры. У дверей — Микулин.

— Итак,— заключает Молотов,— за три года мощность не возросла ни на одну силу. В ближайшее время Гитлер нас обгонит... Почему не модернизируете двигатель, товарищ Марьямов?

— Пытались...— Вытирает затылок. — Бесперспективно...

Микулин делает некое движение, будто хочет ули-

чить Марьямова, но сдерживается. Серго понукает взглядом. Сам вмешивается:

— Не худо бы выслушать конструктора!

— Кстати, где он? — Сталин будто не видит Микулина.

Микулин отлепляется от двери, кланяется на манер кавалера-танцора. Сталин усмехается в усы, но тут же рябоватое лицо его вновь мрачнеет. Спрашивает, согласен ли Микулин с Марьямовым.

— Ммм... Ни в коем случае, товарищ Сталин! Резерв у мотора есть. Мотор нужно и можно модернизировать. И я знаю, как.

— Где же вы были до сих пор? Чем занимались?..

— Товарищ Марьямов запретил пускать меня на завод.

— Что-о? — Сталин словно взметнул взгляд.

Ох, не дай бог попасть под этот взгляд, как Марьямов попал. Все-таки выкручивается:

— Микулин работать не даст. Во все лезет!

— Из-за вас Красная Армия лишается мотора, который три года назад был самым мощным в мире.— Сталин отвернулся от Марьямова, подошел к Молотову, неспешно раскурил трубку, уперся взглядом в Серго, должно быть, припоминая недавние разговоры их о Микулине. Заговорил: — Микулин назначается главным конструктором завода имени Фрунзе. За модернизацию спросим в первую голову с него. И еще с Марьямова. С этим вопросом все...

И вот летит без посадки на Дальний Восток туполевский РД — с наимощнейшим, наисовершеннейшим микулинским мотором. Да, эти двое, Микулин и Туполев!.. К чему ни прикоснутся, все поднимают в новое качество, окрашивают в яркие тона, делают незначительное значительным, неинтересное — интересным. Отсутствие их

всегда заметно, а присутствие необходимо. Им Серго заведовал и завидует.

— Полетное время — пятьдесят три часа тридцать минут,— объявил вошедший Семушкин, будто Серго сам не следил за секундомером авиачасов, водруженных посреди стола! Будто в последние трое суток не звонил каждые полчаса Ворошилову в штаб перелета!..

«Наверное, им сейчас, над океаном, спать хочется не меньше, чем мне? Только не засните, ребята! Только не засните...»

За Семушкиным явился Иван Алексеевич Лихачев. Потомок тульских крестьян-умельцев. Большевик с июня семнадцатого. Чекист. Участник гражданской. Красный директор. Воспитанник Серго. Один из любимцев — за то, что талантлив, опытен, инженерски дерзок. За то, что, поздно начав учиться с азов, предан культуре, как только могут быть преданы люди, идущие из самых низов, собственным горбом вкусившие «прелесть» невежества, от всей души нетерпимые к нему. Может, как раз оттого на заводе Лихачева куда чище, чем на других, и автомобили лучше...

Типичный самородок, Лихачев к самообразованию добавил самосовершенствование в Америке, не хуже Форда разбирается в деле. А быть нашим Фордом в наших условиях куда сложнее, чем Форду в его, фордовских. К примеру, председатель Автотреста Сорокин заключил с американцами договор, по которому технология, инструмент, оснастка должны были поступать к нам из-за океана. Лихачев восстал: привязать себя намертво, закабалиться?!. Пока жив, не допущу, все, что можем, будем делать сами, а можем многое... На Политбюро Лихачев говорил вдвое дольше, чем было положено, но Сталин ни разу не перебил, назвал неплохим хозяйственником, а Сорокина — большой суетой: от Америки надо взять то, что нужно, а не то, что дают, реконструкцию завершить во что бы то ни стало.

На месте убогих мастерских Рябушинского поднялся автогигант. Трущобы Симоновки, Нагатинские пустыри, испокон слывшие бросовой землей, стали Выборгской стороной Москвы, как шутя величал Серго. Часто бывал там — любил бывать, любил сесть за руль новой, только что сошедшей с конвейера машины. Для грузина что может быть лучше автомобиля? Только автомобиль. Всегда принимал Лихачева без очереди, сам решал его проблемы, но сегодня... Перепоручает начальнику управления автотракторной промышленности Дыбецу, мысленно уносится к Дальнему Востоку. Но полетать там ему не дают. Возвращает Павел Павлович Ротерт — старый инженер. До революции строил железные дороги, потом консультировал в Госплане и создавал комплекс одной из самых больших в мире — Харьковской площади имени Дзержинского со знаменитым Домом промышленности, изучал опыт строительства плотин, небоскребов, метрополитенов Нью-Йорка, Парижа, Берлина. Во главе Метростроя Серго поставил его сразу по завершении Днепрогэса, где Ротерт был заместителем Веденеева.

Кто скажет, сколько сил отдано тому, чтобы Метрострой и метрополитен были? То и дело мелькает по участкам фуражка Серго со звездой, спецовка с «М» — подаренной нашивкой на рукаве. Все знают, что «из-за сердца» врачи запретили наркому спускаться в шахты, ан, поди ж ты! Все ему надо увидеть, потрогать, со всеми потолковать, обо всем позаботиться. Уже в тридцать пятом по оснащенности современным тоннельным оборудованием наш Метрострой обогнал все остальные. «Ай да ребята! — смеется Серго.— Ай да девчата! Наша правящая элита! Наша золотая молодежь!..» Часами может слушать, как удалось построить то, что лишь два десятилетия назад «отцы города» считали пустыми мечтаниями. Всегда он подходит к людям с радостной уверенностью, что каждый в какой-то области превосходит

тебя, и в ней ты готов, ты должен у него поучиться, но сегодня... Комкает разговор об ускорении совершенствования проходческих щитов до строго деловых пределов. Как там, над океаном? Что, если как с «Максимом Горьким»?..

В кабинете Осипов. Этого не спровадишь так просто: зам и дела государственной важности — синтетический каучук, бензин, минеральные удобрения — словом, химия-матушка... Бесспорно, цель образования, смысл образования — не знания, а действие. Привычное действие так захватывает, что Серго не замечает Семушкина:

— Расстояние до Америки перекрыто. Полет продолжается!..

— Никого пока не принимать! — В изнеможении Серго сваливается на кушетку в комнате отдыха. Стянуть бы сапоги, да сил нету. Не съездить ли пообедать? Зина уже напоминала... Это идея!..

От волнения он едва ли не впервые обедает вовремя. В голове мельтешит читанное когда-то: «Поступайте так, как если бы вы были счастливы, и это приведет вас к счастью... Всякий раз, когда выходите из дома, приосаньтесь, высоко поднимите голову, как если бы она была увенчана короной, дышите полной грудью. Пейте солнечный свет, приветствуйте улыбкой ваших друзей и вкладывайте душу в рукопожатие. Не бойтесь быть неправильно понятыми и не задумывайтесь даже на минуту о ваших недоброжелателях. Старайтесь сосредоточить мысль на том, что вам хотелось бы свершить...»

Так он и действует, продолжая прием. Прогоняет небритых, неопрятно одетых. С бережностью коллекционера отлепляет марки. (Сотрудники знают его слабость — передают почту с конвертами.) Помогает харьковчанам, сталинградцам поскорее осваивать гусеничные машины: мало того, что гусеничные мощнее, нужнее нашим полям,— гусеничный трактор почти танк. Торопит ленин-

градские гиганты энергетики, судостроения, приборостроения. Отдает под суд «насекомое», не делающее различия между собственным карманом и государственным, и премирует мастеров отрезами, патефонами, легковыми автомобилями. Но мысли — далеко отсюда. Лишь однажды по-настоящему оживляется: директор энского завода приносит образцы ширпотреба. Серго хватает детский велосипед, выбегает в сквер на площади: «Прекрасно! Прекрасно сработано! Какая радость детишкам! И, черт подери, если мы не будем делать хорошие игрушки, откуда возьмется любовь к машине, техническая культура?!» Не успокаивается до тех пор, пока резвящиеся «потребители» не оценивают новую «спецмодель» по достоинству...

В который раз входит Семушкин, но теперь... Нарком понимает все по его лицу. Кричит что-то обидное, срываясь, не помня себя от горя, будто из-за Семушкина прервалась связь с самолетом. Кидается к прямому проводу. Найти! Спасти во что бы то ни стало!

Сколько смекалки, дерзости, мастерства потребовал этот полет! На ЗИСе отшлифовали крылья до ювелирного сияния, чтобы уменьшить трение о воздух. Ведущие институты разработали особую технологию производства горючего и смазки. А средства против обледенения, самого страшного врага авиации?! А приборы, новейшее, сложнейшее радиооборудование?! Вершинное достижение науки и техники, самолет поднимал многие отрасли в новое качество. Недаром шутили, что он полетит от имени и по поручению всего народа... Кажется, все вложили, что могли, и сверх того, в этот полет. Пятилетки. Пленумы и съезды партии. Стахановское движение. Чаяния и надежды народа на мир. Мечту Ильича. Бездну остроумнейшей, хитроумнейшей изобретательности гениев. Сами жизни многих и многих людей. Да, к прискорбию, становление авиации — на крови, но человек не перестает

рваться ввысь. Вновь видится катастрофа «Максима Горького», трагическая гибель Петра Ионовича Баранова...

Теперь, кажется, все предусмотрели — до надувной лодки с неприкосновенным запасом продовольствия на случай вынужденной посадки. Но все предусмотреть невозможно... Еще в ходе подготовки не раз натыкались на глухую стену. Каков должен быть один-единственный мотор, чтобы не подвести в многодневном полете на тринадцать тысяч километров, чтобы оторвать от земли две трехтонные автоцистерны бензина, да самого себя, да самолет с экипажем — итого одиннадцать с половиной тонн? «Фирма» Микулина дала такой мотор, Туполев несколько облегчил задачу: впервые для взлета построили бетонную полосу со стартовой горкой.

Тем временем французские летчики установили новый мировой рекорд. И всю зиму пришлось доводить самолет. В сентябре тридцать четвертого экипаж Громова семьдесят пять часов летал без посадки по треугольнику Москва — Рязань — Харьков, намного обставив французов. Через сорок лет, в эпоху реактивной авиации, рекорды Громова, установленные на туполевском самолете с микулинским мотором, будут перекрыты лишь на тысячу с небольшим километров...

Но одно дело летать без посадки над своей территорией, где чуть не каждое поле — запасной аэродром, совсем иное — через полюс в Америку. А именно это собирался сделать один из героев челюскинской эпопеи — Леваневский. Год назад он, Байдуков и Левченко стартовали, но над Баренцевым морем погнало масло из мотора, в кабине появился угарный газ, едва вернулись. Леваневский отказался повторить полет. И тогда вызвался Чкалов, написав письмо Сталину. Однако решили пока через полюс не летать — опробовать самолет в Арктике, вдоль берегов Ледовитого океана. С Чкаловым полетели вто-

рой пилот Байдуков и Беляков, штурман, талантливый ученый.

Уфф... Какое жаркое, какое душное лето выдалось! Вспоминается Ильич. Лонжюмо, берег Иветты. Старинный самолет над головой — в те поры новейший... «Амирани двадцатого века»... Монтажник с Магнитки рассказывал: несли втроем стальную балку, передний и задний споткнулись, третий один удержал ее, чтоб не убила товарищей. Потом, в обычной обстановке, пробовал приподнять ту же самую балку — не смог оторвать от земли...

Люди тридцатых годов исполнены оптимизма, вдохновения, убежденности в правильности избранного пути, в правоте своего дела. Слова «надо» и «вперед» вторгаются в жизнь, заставляют жить по совести, а значит, прежде всего уметь предвидеть последствия поступков и отвечать за них, быть целеустремленными, жить половиной души в будущем, соизмеряя себя с ним теми же «надо» и «вперед», подчиняя, даже принося в жертву высокой мечте сиюминутные радости. Благо Отечества превыше всего, мы — его фундамент. Оттого, верно, скудная пайка черняшки вкуснее любых яств, а семисезонное пальтишко непродуваемо никакими ветрами.

Семь часов вечера... Восемь... Девять... Сбились с ног, но по-прежнему ни слуху ни духу о Чкалове. Эх, зря обидел Толю. Серго пошел к Семушкину. Тому еще тяжелее: он ученик Чкалова по аэроклубу. Не такой уж юный, не избежал повального увлечения молодежи небом. Хорошо, что подобные увлечения у нас прививаются. Семушкин встал из-за стола, ссадив с колен Вильку. Верно, и сынишка самолетом бредит, пришел отцу посочувствовать.

— Сиди, Анатолий, пожалуйста. Зря накричал на тебя. Извини.

— Разве не понимаю?.. Отыщутся...

Десять часов... Одиннадцать... Половина двенадцато-

го. Вместе с Гамарником, заместителем наркома обороны, Серго у прямого провода. На Дальнем Востоке уже рассвело. Серго просит командующего Особой Краснознаменной Блюхера как можно скорее бросить все на поиски самолета. Блюхер отвечает, что погода мешает подняться самолетам и выйти катерам. Серго злится: что, маршал только при солнышке воевать собирается? Но тут Хабаровск перебивает Москву: последние сведения от коменданта укрепленного района Николаевск-на-Амуре. Серго жадно смотрит на телеграфную ленту. До чего же лениво ползет! Как жаль, что не знаю азбуки Морзе!

— Скажи только: живы?

— Ажур! — улыбается телеграфист.— Сели на острове Удд. Спят.

— Спасибо, дорогой! Уф... Теперь через полюс — в Америку! Ах, какое славное лето выдалось! Теплое, свежее!..

Танки! Танки шли по Красной площади в вихре знамен, в полыхании ликующей меди. А он видел перед собой точно такие танки на улице испанского городка — обгорелые, со сбитыми навзничь башнями, с покореженной броней, с распростертыми гусеницами — и рядом обугливщиеся трупы танкистов, наших ребят, таких же, как мелькали мимо, пышущие здоровьем и довольством, торжественно застывшие навытяжку в раскрытых люках боевых машин,— таких же, как Петр Кривонос, Валерий Чкалов, Алексей Стаханов.

«Отдают мне честь... Стоит ли отдавать мне честь?..» Спрятал те, испанские, фотографии в сейф, но из сердца не выкинешь.

Девятнадцатая годовщина Октября. Слева, на трибуне прессы, вовсю старались поэты и дикторы. В лязге гусениц, в грохоте оркестра и реве моторов, туговатый как раз на левое ухо, он, конечно, не слышал, что говори-

ли в эфир, да и не старался прислушиваться — и так знал: броня крепка и танки наши быстры. Н-да-а... А танки шли и шли — «двадцатьшестерки», уже побежденные Гитлером.

Подошел к Сталину.

— Не годятся «двадцатьшестерки», снаряды пробивают броню.

— Но у нас на подходе котинский КВ.

— Хорош, не спорю, но слишком тяжел.

— Что ты кричишь?! — Сталин закрыл микрофон ладонью, другую руку поднял, привычно приветствуя демонстрантов.— Безусловно, будет война моторов, а наши машины пока хуже.

— Но есть же «сто одиннадцатый». А Кулик его даже в программу правительственного смотра не включает. Конечно, Кошкин высказал ему все, что о нем думал. Вообще, Кошкин — это фрукт, характер туполевский: тореадора и быка разом. Но гениям надо прощать. А Кулик...

Кулик, стоявший в ряду военных на другом крыле Мавзолея, видимо, услыхал что-то, насторожился. Но Серго продолжал громче:

— И фамилия подходящая: знай свое болото хвалит. Против автоматов выступал! Оружие полицейских, видишь ли! Шавыринское бюро, единственное у нас по минометам, упразднили под предлогом «ненадобности этого вида вооружения»! Глупому лучше помолчать, но кабы он знал это, был бы уже не глупым.

— Не смей так о моих маршалах!

— Я готов тысячу раз извиниться, даже облобызать, но от этого наши танки вряд ли перестанут гореть как свечки!

— Хорошо. «Сто одиннадцатый» — полностью на твое усмотрение. Ручаешься за доводку?

— Головой! Послезавтра поеду к Кошкину.

Но послезавтра у него случился сердечный приступ:

свалился прямо в Наркомтяжпроме. И все же еще вечером седьмого ноября не за праздничное застолье поспешил, а в рабочий кабинет, за рабочий стол. Что сделать, чтобы скорее наладить массовый выпуск новейших танков? Собрал на совет богов брони, как величал их и в шутку и всерьез — одобрительно, признательно. Тевосян, Завенягин, Бардин, Малышев, Бутенко... Жаль, что нет среди них и одного из тех, на кого Серго больше всего уповает. Макар Мазай, сталевар с Мариупольского завода имени Ильича,— последнее, самое сильное, самое большое увлечение Серго. И поделом — по делам. Еще в июне из Мариуполя пришла телеграмма. Такая же, как тысячи приходящих на имя наркома. Но Семушкин — вот чутье! — сразу выделил ее из общего потока. Сказать, что она взволновала Серго,— ничего не сказать. Он был потрясен, повторял про себя на родном языке:

Пусть никто не забывает:
Радость лишней не бывает.

В телеграмме начальника мартеновского цеха говорилось: назначая меня, вы, товарищ Серго, наказывали, чтобы в случае серьезных затруднений я обращался прямо к вам, что я теперь и делаю... Не желая рисковать, руководство завода маринует дерзкое предложение нашего сталевара — углубить ванну печи и снимать с каждого квадратного метра ее пода до двенадцати тонн.

Прежде всего Серго посоветовался с Антоном Севериновичем Точинским: «Возможно ли? Есть ли в мировой практике что-то подобное?» — «Пока нет, но думаю, предложение осуществимо, начальник цеха серьезный инженер, не прожектер, телеграммы зря слать не станет».

И Серго задействовал. Подумать только! Можем побеждать не за счет нового строительства, а за счет эф-

фективности, резкого повышения качества труда. Желанные шестьдесят тысяч тонн в сутки хотим получать, снимая с квадратного метра хотя бы по пять с половиной тонн, а тут!.. Предлагается по двенадцать — и... маринуют!

В двадцать три часа тридцать минут начальник цеха был вызван к аппарату «красной вертушки»:

— С вами говорит Орджоникидзе. Здравствуйте! Получил вашу телеграмму. Когда сможете приступить к реконструкции печи? Насколько уверены в успехе?

— Идем на технический риск, товарищ Серго. Вступаем в конфликт с некоторыми положениями науки. Они кажутся нам устарелыми.

— Действуйте смело! Наша поддержка вам обеспечена. А насчет науки помните: наука — не икона, при всем моем уважении.

— Сделаем возможное и невозможное, товарищ Серго.

— Как фамилия сталевара?

— Мазай.

— Это как у Некрасова — дед Мазай и... Он что, тоже старый? Дед?

— Нет, ему двадцать шесть, самый молодой сталевар в цехе, комсомолец.

— Отлично! Отлично, что вы, молодые, беретесь за настоящее дело. Желаю успеха.

Беспощаден Серго к тем, кто мешает: «Вы — директор, коммунист или неизвестно что? Почему не сообщили мне о предложении Мазая? Почему маринуете проект инженера Шнеерова и Мазая? Руководителей, не умеющих или не желающих помогать новаторам, будем устранять из нашей индустрии как вышедших в тираж. Это относится и к вам, товарищ бывший — да, да, с этого момента уже бывший директор, и к вам, также бывший главный инженер».

Новый звонок в Мариуполь:

— Говорит Орджоникидзе. Вы Мазай? Комсомолец? Как соревнование? Как ваша бригада? Помогает ли вам дирекция? Вы, наверное, стесняетесь говорить, потому что рядом директор. Не обращайте внимания, сталевар должен быть смелым. Говорите все как есть! Звоните мне каждый день после смены...

Следующую плавку Мазай закончил под утро. И снова телефонный разговор с Серго:

— Почему же ты не позвонил, Макар? Я здесь уже начал беспокоиться.

— Да ведь позднее время. Я думал, вы давно спите.

— С тобой уснешь! Чудак человек! Я ждал звонка...

И вот — для кого-то «вскоре», для кого-то «наконец» — есть двенадцать тонн с метра!

— Поздравляю, дорогой Макар Никитович! Только ты свои секреты не храни, учи других.

А вслед за тем — телеграмма Серго на завод:

— Комсомолец Макар Мазай дал невиданный до сих пор рекорд — двадцать дней подряд средний съем стали у него двенадцать с лишним тонн с квадратного метра площади пода мартеновской печи. Этим доказана осуществимость смелых предложений, которые были сделаны в металлургии. Все это сделано на одном из старых металлургических заводов. Тем более это по силам новым, прекрасно механизированным цехам. Отныне разговоры могут быть не о технических возможностях получения такого съема, а о подготовленности и организованности людей. Крепко жму руку и желаю дальнейших успехов комсомольцу Мазаю...

Как хочется повидать Мазая, пожать руку! Каков он? Рослый или коренастый? Житно-светлый или смуглый южанин? Не знаю. Знаю одно: благороднейший рыцарь, совершающий главный подвиг современности. Академики твердили, что больше четырех тонн нельзя, а он взял и ахнул по двенадцать. Да теперь уже двадцать пять раз

подряд. Нигде в мире не бывало, а у нас есть. И у нас очень часто говорят: ну, подумаешь, пойду я учиться у какого-то Мазая! Я сам с усами. Усы-то, может быть, у тебя большие, а вот у него — двенадцать, а у тебя — три топпы. Вот и ходи со своими усами сколько хочешь...

Всем этим жил Серго последние месяцы. Все это жило в нем, волновало его и сейчас, в праздничный вечер на совещании богов брони. Да, жаль, что не было Мазая, хотя дух его царил здесь. Допоздна просидели, намечая, как поскорее наладить производство снарядостойкой брони, танковых дизелей и орудий. И восьмое ноября посвятил Серго тому же. И девятое, пока не свалился.

Едва поправился — на Восьмой чрезвычайный съезд Советов. Разве можно не участвовать в нем — не принимать Конституцию? Разве можно не участвовать, если ты посвятил жизнь тому, чтобы эта Конституция родилась?! Разве можно не участвовать наперекор Гитлеру, который утверждает, что СССР — не государство, а лишь географическое понятие?

Наконец, в дорогу на танкодром. Замелькали путевые будки. Заспешили телеграфные столбы, щитовые заборы вдоль полотна. Лавочка на станции с размашистой надписью мелом на стене: «Карасину нет». Люди, одеждой иллюстрирующие злую шутку: каких только тонов ткани не выпускаем! — и черные, и серые, и цвета угля, кокса, чугуна... Из окон вагона не так уж много видно. Впрочем, смотря кому. Снега, белая пустыня до горизонта, изредка вспученная то запорошенными, то чернотальными грудами. Редко, ох до чего редко лежат: мало скота — мало навоза — мало хлеба — мало скота... Сказка про белого бычка — еще один, едва ли не основной заколдованный круг, из которого хоть умри, а вырвись. Как? На чем? На тракторе, конечно, прежде всего. Но маловато гусеничных следов на снегу. И те сколько крови стоили! Всем составом Политбюро выезжали на испытания под

Москвой. На опытном полигоне обсуждали, спорили, забравшись в кузов прицепа, который тянул один из первых гусеничных СТЗ—НАТИ. Глотали пыль, радостно шутили, что так удобно пока не заседали... Но сколько еще надо вложить в эти гектары Магнитостроев, Днепрогэсов! Хаты под соломой. Женщины с коромыслами, в сорок лет старухи. Коромысла — символ самобытности, говорят. Рыдать хочется. Недаром Ильич не мог спокойно видеть подобную символику.

А вот и полуторка у элеватора. Кумач над кабиной: «Хлеб — Родине!» Дети, женщины в цветастых платках, гармонист на мешках в кузове. Праздник! Слава тебе, полуторка — избавительница, просветительница! Сколько хлеба, металла, энергии добавишь! Сколько добра сотворишь!

Воистину, когда посадим СССР на автомобиль, а мужика на трактор, пусть попробуют догонять нас почтенные капиталисты, кичащиеся своей цивилизованностью... Как много сделали! Как мало!.. Недавно праздновали выпуск стотысячного легкового «газика». И как же не праздновать? Но что такое сто тысяч для такой страны? Где следы этих ста тысяч в заснеженной пустыне, открывающейся за окном вагона? Нетронутые снега, степь да степь, да березовые перелески. Вдали, по горизонту, трусит лошадка с розвальнями. И, должно быть, беспомощным кажется одинокому вознице поезд, натужно старающийся одолеть невозмутимо белую пустыню. Дымит и дымит паровоз, трусит и трусит лошадка. Чудится, будто и лошадка, и скирды соломы, набросанные кое-где, да и сам поезд вмерзли в залитую солнцем бесконечность, и не будет, никогда не будет предела этому дорожному томлению. Как щемяще дорого все, что видишь! Земля родная — поля и леса, города и веси... Поднять, отстоять, уберечь во что бы то ни стало! Где взять силы, чтоб надеяться? На кого положиться, чтобы верить и любить?

Наплывом, как в кино, сквозь снега проступает лицо Мазая. Представляется до мельчайших подробностей встреча с ним, ощущается в руке тепло его руки: «Устал, Макар?» — «Когда работается добре, не устаешь».— «Хм. Пожалуй, верно. Расскажи, как вы отдыхаете, какие книги нравятся, как семьи устроены.— И тут же к директору завода: — Почему бы не помочь Мазаю выстроить коттедж?» — «Не надо мне никаких коттеджей. Учиться хочу!» — «Поступишь в Промакадемию. Прекрасно!..»

На ком земля держится?.. Случись что, такие, как Мазай, не подведут... Доживи Серго до сорок первого, убедился бы, что не ошибается. Начнется война — и Мазай тут же оставит Промакадемию, вернется в Мариуполь — к своей печи. Потом пойдет сражаться в рабочем отряде. А когда родной город будет захвачен, станет подпольщиком, как когда-то Серго Орджоникидзе. Так же схватят его и будут мучить, томить в застенках. Будут уламывать и улещивать, грозить и златые горы сулить: «Либо смерть, либо давай нам сталь». Рановато и не хочется — ох, как не хочется! — умирать в тридцать один год... «Я — комсомолец Макар Мазай. Прощайте»,— нацарапает на стене одиночки. И... не станет к мартену, у которого так любил работать. Кто скажет, о чем будет он думать в смертный час? Может, встреча с Серго вспомнится? Может, жизненный пример наркома или слова его: «Сталевар должен быть смелым»?..

Снег — белая пустыня, хлесткая поземка. Не производим ни нужной стали, ни нужных дизелей, а танк... Вот он, «сто одиннадцатый», который скоро назовут «тридцатьчетверкой», а потом признают лучшим танком самой большой войны. В нем сплавлены воедино чаяния ученых, конструкторов, рабочих — и Серго, их судьбы и судьбы миллионов людей. А вот и его отцы-творцы воз-

ле своего детища: Кучеренко, Морозов, главный конструктор Кошкин.

С первой встречи Серго разгадал в Кошкине натуру недюжинную, поверил в него, когда конструкторское содружество переживало срывы и провалы. Не дал упасть Кошкину и кошкинцам, не дал свалить их никому. В свое время Кошкина рекомендовал Киров, а это для Серго, ох, как немало значило. Присматривал за молодым инженером, с улыбкой читал его личные дела: «Ваше отношение к Советской власти? — Бился за нее, не щадя крови. Пойду за нее на плаху... Родился 21 ноября 1898 года, а если настоящей мерой мерить, то 7 ноября Семнадцатого». Жизнью своей он доказывал, что не было тут щегольства громкими словами,— лишь еще одно подтверждение неоспоримости Ильичевой мысли о том, что революция рождает таланты, которые прежде казались невозможными.

Типичный интеллигент тридцатых годов, Михаил Ильич Кошкин вырос в полунищей семье ярославского крестьянина. В одиннадцать лет лишился отца и ушел на заработки в Москву, чтобы прокормить маманю с меньшими детьми. Стал мальчиком у кондитера. Когда Серго хотел представить детство Кошкина, вспоминал чеховского Ваньку: «А вчерась мне была выволочка... Нету никакой моей возможности...» На всю жизнь, с мозолями, въелась в Кошкина неуемная ненависть к самодовольству обожравшихся угнетателей, готовых затоптать слабого, почтительно склоняющихся только перед силой — будь она в облике дубины или червонца. Верно, оттого пошел добровольцем в Красную Армию, так яростно дрался на гражданской, так пламенно стремился защитить Родину. На фронте вступил в партию. Был ранен. Потом учился в комвузе имени Свердлова, «в порядке партийной мобилизации» пошел учиться в Ленинградский политехнический, он же индустриальный, институт. Спал

по три-четыре часа в сутки в тесно заставленной комнатке холодного, прокуренного общежития — как Вано Тевосян, Василий Емельянов, Авраамий Завенягин, как большинство студентов той поры. Ел не досыта — скудный, как в те поры у всех, паек. Учился самозабвенно, преданно, днем и ночью, наверстывая упущенное в юности, на войне, будто гвозди вколачивал в гроб мировой буржуазии. Да и как же иначе мог учиться он, призванный на учебу «в счет партийной тысячи»?

Блестяще окончил институт по специальности автомобили и тракторы. Несколько различных заводов сразу позарились на молодого инженера, но он выбрал то, к чему лежала душа, что считал наинужнейшим для страны. На Путиловском, ставшем Кировским, конструировал опытные образцы быстроходных и средних танков. Оттого — орден Красной Звезды на груди, но мало радости. Мечтал о большем, бился за свое в наркомате, на военных советах: пора отказаться от колесно-гусеничных, строить настоящие — чисто гусеничные танки. У них давление на грунт меньше, стало быть, выше проходимость. Она, ой, как пригодится, если воевать на наших пашнях и болотах!.. Но влиятельных противников у Кошкина больше, чем сторонников: не хотят ломать отлаженное производство, отрешиться от того, к чему привыкли. С большим трудом Серго перевел Кошкина в Харьков — на самостоятельную работу во главе группы перспективного проектирования танков. Любой промах в нынешней обстановке может слишком дорого обойтись Кошкину, но он не из пугливых: знай гнет свое, прет против течения, работает, как воевал, как в институте учился.

Одержимый и подвижник, одаренный редкой нравственной силой и чистотой, Кошкин живет в неизбывном поиске, в непрестанном горении, в нетерпеливом творчестве. Не только выдающийся конструктор — бесстраш-

ный боец за идею, за высокую цель в жизни. Как все истинные благодетели человечества, вырывающиеся далеко вперед, берет на себя основные нагрузки, шагает своей дорогой, никому не давая поблажек, всех истязая работой, не щадя ни близких, ни единомышленников, ни тем более себя самого. Энергичный и настойчивый, сплотил союзников, увлек своей мечтой: «Ребята! Чтобы сделать машину неуязвимой, приземляйте ее до предела, придавайте такую форму, чтобы вражеские снаряды отскальзывали, рикошетили. Побольше углы наклона брони! Поменьше сложности! Делайте проще, чтобы машина стала доступна любому механику...»

Когда Серго подъехал к опытному танку, стоявшему посреди полигона, Кошкин, в драном замасленном полушубке, в валенках, лежал на снегу и кувалдой подбивал гусеничные пальцы спереди, возле направляющего колеса — ленивца.

— Неужели больше некому?! — раздраженно заметил Серго.

Появление наркома, кажется, не произвело на Кошкина особого впечатления: только правым, свободным, плечом повел. Спокойно закончил работу, встал, отряхнулся, приподнял со вспотевшего лба танкошлем, по имени-отчеству представил товарищей и помощников, лишь после этого сам подал руку.

Серго смотрел на него виновато и с состраданием, точно знал, что этот танк будет стоить Кошкину жизни, что он, Кошкин, умрет вскоре сорока двух лет от роду, оставив тридцатилетнюю Веру — Верочку вдоветь с тремя детьми, умрет, не дожив ни до признания, ни до войны, став одной из первых ее жертв... Нет, не жертвой станет Михаил Ильич Кошкин. В первые дни войны, которую он выиграет до ее начала, харьковский крематорий будет стерт с лица земли фашистскими бомбами, не останется ни могилы, ни урны с прахом, ни бюста, по

сотни памятников Кошкину поднимутся над землей...

«Для его славы ничего не нужно, но для нашей нужен он,— словно себя самого укорял Серго.— Почему люди так беспощадно равнодушны к судьбам гениев? Тираним при жизни — увенчиваем в гробу. Неужели это органически присуще роду людскому? Почему, как допустили, чтоб Дантес ухлопал Пушкина, Мартынов — Лермонтова? Почему не восстали против пошлости жизни, не заслонили собой, не затоптали всех и всяческих дантесов? Почему, как я позволяю, чтобы сановные бюрократы мариновали мысль Кошкина, заставляли его обивать пороги, часами — бесценными, невозвратными! — просиживать в приемных?! Почему допускаю, чтобы Кошкин, трагически простуженный на испытательных маршах своего танка, жил с семьей в более чем скромной квартире, мало ел и спал, плохо лечился? Эпоха, говоришь, виновата. Я — виноват».

Стоя рядом с Кошкиным, Серго ловил себя на том, что ему вспомнился Георгий Димитров, с которым очень подружились во время отдыха в Кисловодске. Умом, стойкостью, пламенностью души Димитров со скамьи подсудимых Лейпцигского процесса сокрушал Гитлера. Михаил Ильич Кошкин делал то же самое по-своему, на своем рабочем месте.

«Как богата Россия хорошими людьми!»

Между тем Кошкин пригласил в кабину походной мастерской — летучки на гусеничном ходу. Отъехали туда, где стояли полевые орудия — наши, итальянские и немецкие, вывезенные из Испании, такие же, как те, что сокрушали там наши «двадцатьшестерки». Молодцеватый командир батареи, в полушубке, перетянутом ремнями, по-волжски окая, отдал рапорт, скомандовал:

— Бр-ронебойным!.. Пр-рямой наводкой!.. Пер-рвое...

Высекая фонтаны и веера искр, снаряды ударили в танк. Один, другой, третий. Четвертый пролетел мимо,

взметнул черноземный смерч. Комбат набрал воздуху, чтобы выругаться, но покосился в сторону высокого начальства, сдержался, скомандовал злее:

— Заряжай!.. Наводи с усердием!.. Залпом!..

Когда возвратились к танку, Кошкин первым выскочил из летучки с мелом в руке. Деловито помечая, стал осматривать повреждения. На башне, на лобовой броне обвел кругами несколько вороненых язвин, окаймленных обгорелой краской, на левом борту корпуса — окаленные вскользь шрамы-ссадины. Довольный, пояснял:

— Это — господину Муссолини наше почтение, это — Гитлеру хрен с кисточкой, а это — и наша спецболванка не взяла.

Серго обнял Кошкина, ощутив, какой он легкий, худенький — в чем душа?

— Вы на ходу, на ходу ее посмотрите! — с гордостью мастерового говорил тем временем Кошкин.— Ласточка! Легкость управления...

— Слушай,— произнес нарком просительно.— Хочу попробовать.

— Нельзя, товарищ Серго. Решением Политбюро вам запрещено...

— Запрещено автомобиль водить, а у тебя... Ты, надеюсь, понимаешь разницу?

— Здоровье ваше...

— Чудак человек! Твой танк для меня — лучшее лекарство. Дай-ка мне шлем.

Никто не удерживал Серго, даже Семушкин,— все понимали: удерживать его сейчас бесполезно. С великим трудом, но и не без ловкости он протолкал сквозь проем переднего люка полы бекеши, опустился в кресло водителя, осмотрелся в стылой тесноте, ограниченной сверху пятном плафона, спереди, под урезом люка, светящимися циферблатами часов и приборов. Потер ушибленную о рычаг ногу, нащупал сквозь подметки бурок холодные

упруго неподатливые педали. Та-ак... Наводчик, заряжающий уселись. Кошкин стоит на месте командира, позади всех, голова в раскрытом проеме башенного люка, валенки позади валенок наводчика, по запахам чувствуется.

— Командуй, дорогой.

— Эх, семь бед — один ответ. Люк на стопор! Заводи! К бою! — Последняя команда слышна только в наушниках шлемофона.

Гудит и дрожит все вокруг — и сталь, и воздух, и ты сам. Гусеницы — продолжение твоих рук и ног. Чувствуешь, как они стелются под тебя, как по ним несут тебя катки, оправленные каучуком. Тридцатитонная машина — твои чувства, твоя воля, твои мышцы: возьмешь на себя левый рычаг — подается влево, правый — принимает вправо... Удивление. Восторг. Раздумье. Как хорошо ощущать себя властелином покорной стали, могучей, разумной! Как хорошо вместе с Чоховым! Стоп! С каким Чоховым? Да, Кошкин — это Чохов сегодня. Правильно Кирыч говорил тогда... Кошкин и кошкинцы... Сколько их, Кошкиных — Чоховых уже встали на защиту Отечества! Так-то, господа гитлеры! На всякий холод есть тепло, на всякое зло есть добро. Эх, тройка, птица-тройка!..

Нет, не зря Иван Бардин называет Серго человеком наступления, танком прорыва. Вряд ли можно выдумать другую машину, которая была бы так под стать ему, с такой полнотой выражала суть его характера и характер судьбы. Нет, не по голому полю — прямиком в будущее едем: спасать, защищать, освобождать. Чтобы этот танк был, он, Серго Орджоникидзе, родился, жил, страдал и радовался, любил и ненавидел, изнемогал и надрывался, одолевал беды и саму смерть. Какой шаг решающий на пути к этому танку? Не тот ли, что сделан, когда Ильич учил тебя в Лонжюмо? Или когда вместе готовили Пражскую конференцию? А может, когда, за-

гнанный в Разлив, он показывал тебе, как верить в победу, работать на нее? Или в Октябре! Или когда вместе одолевали нищету, голод, страх и ненависть мечтой о свете над Россией?

Танк шел и шел — пер напролом. Иных слов не подберешь. С ходу, с лета размолотили проволочные заграждения, одолели овраг с топким незамерзающим ручьем, бетонные надолбы, рельсо-балочные «ежи», развалили кирпичную стену, затоптали, перемахнули окопы. На высотке — в молодом сосняке — Кошкин скомандовал остановить машину, изготовиться к стрельбе. Сочувственно посоветовал:

— Вы, товарищ Серго, рот открывайте на всякий случай.

— Ничего, не впервой...

Будто прокатный стан над головой грохнул и откатился — ушам больно, спасибо, шлем на голове — с наушниками. От четырех орудийных выстрелов танк наполнился едким, колющим глаза дымом. Кошкин, щадя наркомовы легкие, приоткрыл люк.

— Закрой немедленно! — сквозь кашель потребовал Серго.— Пусть все будет как в боевой обстановке.

И только расстреляв «вражескую» батарею, двинулись дальше.

— Орудие на корму! — командует Кошкин.

В вихревом гуде Серго различает зубчато-скребущее завывание над затылком: башня отворачивается. Впереди — бурелом, из него высится выстоявшая ураган сосна. Рука сама подбирает рычаг левого фрикциона, ногe хочется притормозить.

— Куд-да?! — яростно клокочет в наушниках голос Кошкина.— Вперед! А форсаж дядя будет включать?

Серго толкает рычажок до упора. Машина кланяется так, что в смотровой панораме исчезает горизонт. Снег, только снег в поле зрения. Поддав под спину, танк вы-

равнивается, словно на волне взмывает, приседая кормой. У-ух!.. Снег бежит навстречу быстрее, еще быстрее, летит. И сосна с ним. Жестко. Тряско. Но кажется, и ты летишь. Невесомость. Рев двигателя переходит в басовитый свист, в сплошной секуще-пронзительный выхлоп, в безмолвие. Нет, не безмолвие. Слышно дыхание в наушниках шлемофона. Чье? Кошкина? Или эфир набухает тревогой, эсэсовцы маршируют по Берлину. Гитлер произносит воинственные речи? Слышится? Видится? Это же технически невозможно. Технически — да, но..? Не видать, как машина сшибает сосну,— только брызги щепы застят белый свет. Миг — и развеяны. Нет, не щепа брызнула — сталь крупповская, гитлеровская не выдержала под Москвой, под Сталинградом, под Прохоровкой...

«Железом и кровью взять нас хотите? Вот вам железо и кровь! От Магнитки и Днепрогэса. От Леонардо да Винчи, давшего идею танка, от Андрея Чохова и Михаила Кошкина. Сталь на сталь, труд на труд, ум на ум. Как хорошо, уютно, когда ноги обуты такой сталью! Эх, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета...»

Говорите, плохо видно в смотровую панораму? Дудки! И судьбу свою видать, и всю землю разом, прошлое и будущее...

Через два года после смерти Серго, за год до смерти Кошкина их танк будет принят на вооружение — пойдет массовое производство в Харькове, Сталинграде. А когда там прекратится по причине войны — начнется в Челябинске на тракторном, в Свердловске на Уралмаше, в Горьком на «Красном Сормове»... Наши хлеб, металл, энергия в прах перемелют голод, нищету, страх и ненависть. От Урала до Праги памятниками доброте,

мудрости, любви, как чоховские царь-пушки, встанут на пьедесталы «тридцатьчетверки», опаленные — не сгоревшие в огне, поднятые из воды великих рек,— непобежденные. И не слишком расположенные к нам стратеги Запада скажут:

— Из всех видов боевой техники, с которыми столкнулись германские войска во второй мировой войне, ни один не вызвал у них такого шока, как русский танк «Т-34» летом 1941 года. Блестящий успех танковой кампании вермахта во Франции в предшествующем году укрепил старательно насаждавшуюся нацизмом веру в немецкое превосходство. Открытие, что «недочеловеки», как нацистская философия пренебрежительно называла русских, сумели создать танки, которые значительно опередили по боевым качествам их собственные, вызвало страх как в верхних, так и в низших эшелонах гитлеровской армии...

— Танк «Т-34» своим рождением был обязан людям, которые сумели увидеть поле боя середины двадцатого столетия лучше, чем смог это сделать кто-нибудь другой на Западе...

А Гудериан, танковый бог Адольфа Гитлера, едва не плененный «тридцатьчетверками» в первый же день великой войны, с горечью признает:

— Видные конструкторы, промышленники и офицеры управления вооружения приезжали в мою танковую армию для ознакомления с русским танком «Т-34». Предложения офицеров-фронтовиков выпускать точно такие же танки, как «Т-34», для выправления в наикратчайший срок чрезвычайно неблагоприятного положения германских бронетанковых сил, не встретили у конструкторов никакой поддержки. Конструкторов смущало, между прочим, не отвращение к подражанию, а невозможность выпуска с требуемой быстротой важнейших деталей «Т-34», особенно алюминиевого дизельного мотора. Кро-

ме того, наша легированная сталь, качество которой снижалось отсутствием необходимого сырья, также уступала легированной стали русских...

Так будет.

Да будет так. Вперед! Вместе с Кошкиным! С Кошкиными! «Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита!» Как жаль, что эта бешеная гонка вот-вот закончится.

Снег, снег, синяя бесконечность неба.

— Не замерзли, товарищ Серго?

— Что ты, дорогой?! Никогда еще не было мне так тепло.

Было это или не было? Просто приснилось предсмертной ночью?

Проснулся, когда сквозь открытую форточку донесся бой курантов... Два... Три... Эх, как трубы нужны! Как не хватает стране труб! А Сталинградский завод... Надо бы навести порядок... Немедленно... Так не хочется вставать! Тяжело. И настроение паршивое. Почему так долго не возвращаются Гинзбург и Павлуновский с Урала? Может, и впрямь, там вражеская рука действует, на вагонзаводе?

Ох, как трубы нужны!.. А может, на все наплевать? Может, не это главное в жизни? Старость накатывает. Не убежишь, не спрячешься. Старость оскорбительна — и больше всего, горше всего тем, что не вернешь уходящие силы. А Ленин? Разве ему легче было в его последние дни? При всем трагизме положения не променял бы свою судьбу ни на чью иную. Видится умирающий Ильич перед экраном, по которому проходят тракторы...

Так устал! Пригрелся к Зининому боку. Так тяжело!.. Вставай, не ленись. Если, еще не вступив в бой, ты уже кричишь: «Больно!» — грош тебе цена, преклони ко-

лена, сдайся. Моя левая рука — теплая, правая — сильная. Рраз... Вперед! Нет, не могу подняться, сил нету...

Превозмог себя, поднялся. Осторожно ступая, заглянул в комнатку дочери, подошел к ее кровати. В отсветах кремлевских фонарей и вьюжного сияния Троицкой башни было видно, что Этери улыбалась во сне чему-то своему, потаенному и прекрасному, отдельному от него, отца. Выходной день настает — в школу не идти, поиграет всласть, набегается. Ревниво позавидовал безмятежности дочери, независимой жизни.

Жить! До щемоты в груди, до ломоты в душе хочется жить, работать... Как дорого вы обходитесь людям, звездные часы человечества!

Плотно притворил дверь в комнату с телефоном, продиктовал дежурному по Наркомтяжпрому телеграмму:

— Сталинград. Красоктябрь. Трейдубу. Восемнадцатого, второго, тридцать седьмого. Три часа двенадцать минут. Отгрузка трубной заготовки январе феврале неудовлетворительная, обеспечьте прокатку отгрузку трубной заготовки полностью, не допуская просрочек точка. Впредь трубную заготовку прокатывайте, отгружайте первой половине каждого месяца, исполнение донести. *Орджоникидзе.*

Возвратился в спальню, лег и тут же заснул.

Жить оставалось четырнадцать часов восемнадцать минут.

Красильщиков В. И.

К78 Звездный час: Повесть о Серго Орджоникидзе.— М.: Политиздат, 1987.—431с., ил.—(Пламенные революционеры).

К $\frac{0505030103-120}{079(02)-87}$ 156—87 ББК 84Р7+66.61(2)8

ВЛАДИМИР КРАСИЛЬЩИКОВ

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

ПОВЕСТЬ О СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *Г. Е. Щербакова*
Младший редактор *И. А. Ляпина*
Художник *А. И. Сперанский*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Е. Ю. Тихомирова*

ИБ № 3238

Сдано в набор 15.01.87. Подписано в печать 15.04.87. А 00069. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 19,51. Усл. кр.-отт. 22,66. Уч.-изд. л. 19,00. Тираж 300 тыс. экз. Заказ № 60. Цена 1 р. 50 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Типография изд-ва «Уральский рабочий». 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.